ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
писателей России

Издание осуществлено на средства
Правительства Оренбургской области

Оренбург
2018

«Гостиный Дворъ» № 1 (5), 20 апреля 2018 г.
Журнал

Учредители:
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова»

Главный редактор Н.Ю. Кожевникова

Редакционный общественный совет:
председатель – **Е.В. Шевченко, министр культуры и внешних связей Оренбургской области**

С.В. Василенко (Москва)
Д.Е. Кан
П.Н. Краснов
В.Н. Кузнецов
В.А. Лабузов
А.В. Лигостаева
В.Д. Лютый (Воронеж)
Г.П. Матвиевская
В.М. Молчанов
П.Г. Рыков
Л.П. Сковородко
В.Б. Соколов
Т.В. Судоргина
А.Г. Филиппов
Т.М. Шабаренина (Уральск, Казахстан)
Н.А. Ягодинцева (Челябинск)

Почтовый адрес редакции: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10
Телефон 8-903-394-32-60
Телефон/факс (3532) 78-37-91
E-MAIL: Gdvor56@yandex.ru, editor@orenlit.ru. Веб-сайт: orenlit.ru

Почтовый адрес издателя: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10, ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова»
E-MAIL: Domliteratorov28@mail.ru
Телефон/факс (3532) 78-41-29

На первой и последней страницах обложки – фотоколлажи **В.Б. Соколова**
Художник – **В.В. Кожевникова** (г. Санкт-Петербург)
Компьютерный дизайн – **Ю.В. Стрельникова, Л.И. Потехина**
Компьютерный набор, корректура – **Ю.В. Стрельникова**

В спорных случаях оставляются стиль, орфография и пунктуация авторов, которые несут ответственность также и за достоверность фактов. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи

Сдано в набор 05.03.2018 г.
Подписано в печать 28.03.2018 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 22,5 печ. л.
Тираж 1112 экз.
Заказ № 7609
Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ56-00704 от 18 октября 2017 г. в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.

ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, дом №2ж
Федеральный номер для всех городов РФ: 8-800-300-16-00
ISBN 978-5-6040520-8-2
© Журнал «Гостиный Дворъ», 2018

«Русский народ обвенчался со Свободой. Будем верить, что от этого союза в нашей стране, измученной и физически, и духовно, родятся новые сильные люди.

Будем крепко верить, что в русском человеке разгорятся ярким огнём силы его разума и воли, силы, погашенные и подавленные вековым гнётом полицейского строя жизни.

Но нам не следует забывать, что все мы — люди вчерашнего дня и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма.

Мы выросли в атмосфере «подполья»; то, что мы называли легальной деятельностью, было, в сущности своей, или лучеиспусканием в пустоту, или же мелким политиканством групп и личностей, междоусобной борьбою людей, чувство собственного достоинства которых выродилось в болезненное самолюбие.

Живя среди отравлявших душу безобразий старого режима, среди анархии, рождённой им, видя, как безграничны пределы власти авантюристов, которые правили нами, мы — естественно и неизбежно — заразились всеми пагубными свойствами, всеми навыками и приёмами людей, презиравших нас, издевавшихся над нами.

Нам негде и не на чем было развить в себе чувство личной ответственности за несчастия страны, за её постыдную жизнь, мы отравлены трупным ядом издохшего монархизма.

Публикуемые в газетах списки «секретных сотрудников Охранного отделения», — это позорный обвинительный акт против нас, это один из признаков социального распада и гниения страны, — признак грозный.

Есть и ещё много грязи, ржавчины и всяческой отравы, всё это не скоро исчезнет; старый порядок разрушен физически, но духовно он остаётся жить

и вокруг нас, и в нас самих. Многоглавая гидра невежества, варварства, глупости, пошлости и хамства не убита; она испугана, спряталась, но не потеряла способности пожирать живые души.

Не нужно забывать, что мы живём в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного. Люди, которые не знают, чего они хотят, — это люди опасные политически и социально. Масса обывателя ещё не скоро распределится по своим классовым путям, по линиям ясно сознанных интересов, она не скоро организуется и станет способна к сознательной и творческой социальной борьбе. И до поры, пока не организуется, она будет питать своим мутным и нездоровым соком чудовищ прошлого, рождённых привычным обывателю полицейским строем.

Можно бы указать и ещё на некоторые угрозы новому строю, но говорить об этом преждевременно да, пожалуй, и нецензурно.

Мы переживаем момент в высшей степени сложный, требующий напряжения всех наших сил, упорной работы и величайшей осторожности в решениях. Нам не нужно забывать роковых ошибок 905-6 гг., — зверская расправа, последовавшая за этими ошибками, обессилила и обезглавила нас на целое десятилетие. За это время мы политически и социально развратились, а война, истребив сотни тысяч молодёжи, ещё больше подорвала наши силы, подорвав под корень экономическую жизнь страны.

Поколению, которое первым примет новый строй жизни, свобода досталась дёшево; это поколение плохо знает страшные усилия людей, на протяжении целого века постепенно разрушавших мрачную крепость русского монархизма. Обыватель не знал той адовой, кротовой работы, которая сделана для него, — этот каторжный труд неведом не только одному обывателю десятисот уездных городов российских.

Мы собираемся и мы обязаны строить новую жизнь на началах, о которых издавна мечтали. Мы понимаем эти начали разумом, они знакомы нам в теории, но — этих начал нет в нашем инстинкте, и нам страшно трудно будет ввести их в практику жизни, в древний русский быт. Именно нам трудно, ибо мы, повторяю, народ совершенно невоспитанный социально, и так же мало воспитана в этом отношении наша буржуазия, ныне идущая к власти. И надо помнить, что буржуазия берёт в свои руки не государство, а развалины государства, она берёт эти хаотические развалины при условиях, неизмеримо более трудных, чем условия 5—6 года. Поймёт ли она, что её работа будет успешна только при условии прочного единения с демократией, и что дело укрепления позиций, отнятых у старой власти, не будет прочно при всех иных условиях? Несомненно, что буржуазия должна поправеть, но с этим не нужно торопиться, чтобы не повторить мрачной ошибки 6-го года.

В свою очередь, революционная демократия должна бы усвоить и почувствовать свои общегосударственные задачи, необходимость для себя принять деятельное участие в организации экономической силы страны, в развитии производительной энергии России, в охране её свободы от всех посягательств извне и изнутри.

Одержана только одна победа — завоёвана политическая власть, предстоит одержать множество побед гораздо более трудных, и прежде всего мы обязаны одержать победу над собственными иллюзиями.

Мы опрокинули старую власть, но это удалось нам не потому, что мы — сила, а потому, что власть, гноившая нас, сама насквозь прогнила и развалилась при первом же дружном толчке. Уже одно то, что мы не могли так долго решиться на этот толчок, видя, как разрушается страна, чувствуя, как насилуют нас,— уже одно это долготерпение наше свидетельствует о нашей слабости.

Задача момента — по возможности прочно укрепить за собою взятые нами позиции, что достижимо только при разумном единении всех сил, способных к работе политического, экономического и духовного возрождения России.

Лучшим возбудителем здоровой воли и вернейшим приёмом правильной самооценки является мужественное сознание своих недостатков.

Годы войны с ужасающей очевидностью показали нам, как мы немощны культурно, как слабо организованы. Организация творческих сил страны необходима для нас, как хлеб и воздух.

Мы изголодались по свободе и, при свойственной нам склонности к анархизму, легко можем пожрать свободу, — это возможно.

Не мало опасностей угрожает нам. Устранить и преодолеть их возможно только при условии спокойной и дружной работы по укреплению нового строя жизни.

Самая ценная творческая сила — человек: чем более развит он духовно, чем лучше вооружён техническими знаниями, тем более прочен и ценен его труд, тем более он культурен, историчен. Это у нас не усвоено, — наша буржуазия не обращает должного внимания на развитие продуктивности труда, человек для неё всё ещё как лошадь, — только источник грубой физической силы.

Интересы всех людей имеют общую почву, где они солидаризуются, несмотря на неустранимое противоречие классовых трений: эта почва — развитие и накопление знаний. Знание — необходимое орудие междуклассовой борьбы, которая лежит в основе современного миропорядка и является неизбежным, хотя и трагическим моментом данного периода истории, неустранимой силой культурно-политического развития; знание — это сила, которая, в конце концов, должна привести людей к победе над стихийными энергиями природы и к подчинению этих энергий общекультурным интересам человека, человечества.

Знание должно быть демократизировано, его необходимо сделать всенародным, оно, и только оно,— источник плодотворной работы, основа культуры. И только знание вооружит нас самосознанием, только оно поможет нам правильно оценить наши силы, задачи данного момента и укажет нам широкий путь к дальнейшим победам.

Наиболее продуктивна спокойная работа.

Силой, которая всю жизнь крепко держала и держит меня на земле, была и есть моя вера в разум человека. До сего дня русская революция в моих глазах является цепью ярких и радостных явлений разумности. Особенно мощным явлением спокойной разумности был день 23-го марта, день похорон на Марсовом поле.

В этом парадном шествии сотен тысяч людей впервые и почти осязательно чувствовалось — да, русский народ совершил революцию, он воскрес из мёртвых и ныне приобщается к великому делу мира — строению новых и всё более свободных форм жизни!

Огромное счастие дожить до такого дня!

И всей душой я желал бы русскому народу вот так же спокойно и мощно идти всё дальше, всё вперёд и выше, до великого праздника всемирной свободы, всечеловеческого равенства, братства!»...

М. ГОРЬКИЙ «Несвоевременные мысли»
1917 г.

ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

10 **Константин Моргунов.** «Армия Правды» в действии. *О кровавой междоусобице 1920–1921 гг.*

18 **Дина Дельмухамедова.** «Запишите меня добровольцем…» *Из истории добровольческого движения в Оренбургской области*

ПУБЛИЦИСТИКА

22 **Пётр Краснов.** Русские в империи. *К вопросу о революциях начала XX века*

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

34 **Иван Веневцев.** Урал – быстра река. *Роман. Продолжение*

101 **Алексей Хальзунов.** «А на войне, как на войне…» *Стихи*

106 **Сергей Упоров.** Костыль. *Рассказ*

126 **Вера Аргольд.** «Я со степью, наверное, схожа…» *Стихи*

МИР ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

130 **Вячеслав Лютый.** Соединяя кровное и евангельское. *Юрий Кузнецов и его поэтические наследники*

133 **Марина Гах.** «Я научу вас мыслить…» *Стенограммы лекций Юрия Кузнецова*

НАША ГОСТИНАЯ

144 **Ян Бруштейн.** «Вальсок уходящего мая…» *Стихи*

151 **Александр Кердан.** Опять про это… *Стихи*

154 **Светлана Василенко.** Ёлка, или Прекрасный лётчик. *Рассказ*

161 **Виктор Брюховецкий.** «Я иду по лучу…» *Стихи*

169 **Сергей Пылев.** Матушка. *Повесть. Окончание*

192 **Елена Осминкина.** Бессмертная память. *Стихи*

196 **Александр Титов.** Старший сын. *Рассказы*

214 **Дмитрий Артис.** «Когда не станет смерти…» *Стихи*
218 **Дмитрий Воронин.** Миротворец. *Рассказ*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
222 **Андрей Расторгуев.** Русское поле 90-х. *О романе П. Краснова «Заполье»*
232 **Валерий Кузнецов.** Писатель действительности. *К 80-летию со дня рождения Г.Саталкина*

ОРЕНБУРГСКАЯ ДИАСПОРА
246 **Игорь Гергенрёдер.** Грозная птица галка. *Повесть*
271 **Владимир Флейшер.** «Неотвратимо вдохновенье…» *Стихи*
274 **Павел Кожевников.** Шолохов. *Эссе о писателе, и не только*

КАЗАЧЬЯ ЛИНИЯ
280 **Валентина Капустина.** Повелено: «школы в войске иметь». *О гражданском образовании в Оренбургском казачьем войске*

НАРОДНЫЕ МЕМУАРЫ
287 **Вадим Ангаров.** На краю Руси обширной. *Главы из отрочески-юношеских воспоминаний*

СВИТОК
316 **Антон Горынин.** Будем знакомы! *Беглые заметки о дебютах 2017 года*
328 **НОВЫЕ КНИГИ МОЛОДЫХ: Любовь Ки (Сухарева), Василий Миронов, Ирина Лаврина, Анастасия Уздяева, Александр Абрамов, Ирина Киселёва, Оксана Васильева, Катерина Ермолаева, Василий Денисов, Владислав Наумов.**

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
346 **Ольга Вонсович.** В музей, как на праздник! *Приглашение экскурсовода*

Константин МОРГУНОВ

«АРМИЯ ПРАВДЫ» В ДЕЙСТВИИ

Кровавая междоусобица 1920–1921 гг.

Константин Алексеевич Моргунов родился в 1972 году в Тольятти Самарской (Куйбышевской) области. Окончил исторический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Работал учителем в школе, преподавателем в Оренбургском государственном аграрном университете. В настоящее время – консультант управления внутренней политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Оренбургского государственного университета. Автор более 200 научных трудов по истории межнациональных и межконфессиональных отношений на Южном Урале, современной этноконфессиональной политике. Живёт в Оренбурге.

Политика «военного коммунизма»

Хозяйственно-экономическое положение в губернии, через которую прокатились волны гражданской войны, было очень тяжёлым. После окончательного утверждения в Оренбургской губернии советской власти на её территории началась реализация политики «военного коммунизма». В первую очередь были национализированы все крупные промышленные предприятия. 5 марта 1919 года оренбургским финансовым отделом был принят циркуляр об аннулировании всех местных денежных знаков. Компенсация возможных убытков населению предусматривалась в размере, не превышающем двухнедельного жалования. Это решение вызвало большую реакцию в городе, так как советских общегосударственных денег в городе было немного, и

в основном крупные купюры. У горожан скопилось значительное количество старых местных денег, так как сразу после вступления в город частей Красной армии все магазины и лавки были закрыты и взяты на учёт. Частная торговля в городе прекратилась. Скопившиеся старые деньги было потратить негде[1].

Проблема дефицита топлива была решена губсовнархозом путём уплотнения учреждений и жителей частных домов. Тем самым уменьшалась площадь отапливаемых строений, а ветхие здания шли под снос и использовались на топливо.

С осени 1919 года была введена и карточная система снабжения. В декабре 1920 года были национализированы все частные кустарные предприятия. Вследствие сокращения численности рабочих на немногих действующих предприятиях увеличилась безработица. Была введена всеобщая трудовая повинность. Дружины, в которые входили и так называемые «нетрудовые элементы», использовались для очистки железнодорожных путей от снега, строительства фортификационных сооружений, заготовки топлива и других общественных работ. Уклоняющиеся от работы могли быть помещены в концентрационный лагерь, располагавшийся в Илецкой Защите. Рабочим с лета 1920 года стали выдавать паёк, который первоначально составлял 1 фунт хлеба в день. Члены семей рабочих получали половину этого пайка. Сокращение пайка в ноябре 1920 года вызвало протесты работников Орской железной дороги, которые через три дня были прекращены с применением вооружённой силы[2]. Приближение голода становилось всё более ощутимым.

В сёлах и станицах губернии началось проведение продразвёрстки, которая в условиях дефицита промышленных товаров, необходимых для обмена, фактически превратилась в насильственное изъятие сельхозпродукции. Бедственное положение крестьянства и казачества усугублялось начавшимся голодом.

Продовольственная политика, проводимая советской властью, спровоцировала целый ряд крестьянских восстаний.

«Первая красная армия Правды» А.В. Сапожкова

Наиболее бедственное положение в годы голода сложилось в Бузулукском уезде тогда Самарской губернии. Именно эта территория стала зоной возникновения сразу нескольких восстаний. Причём проходили они под красным знаменем и с советскими лозунгами, а зачинателями повстанческого движения часто были отряды Красной армии. Красноармейцы, в большинстве своём бывшие крестьяне, остро чувствовали настроение жителей

деревни, слышали их жалобы на грубые и неправомерные действия продработников.

В июле 1920 года восстала располагавшаяся в районе Бузулука 9-я кавалерийская дивизия под командованием А.В. Сапожкова. Дивизия была сформирована из бойцов бывшей 25-й Чапаевской дивизии, перешедших на сторону красных уральских казаков. Слабая дисциплина и антисоветские настроения бойцов дивизии, пьянство их командира послужили предлогом для снятия Сапожкова с его должности. Сообщив комсоставу о своём отстранении, Сапожков предложил выступить с вооружённым протестом. 13 июля 1920 года это предложение было поддержано. На следующий день, во время митинга в с. Погромном, Сапожков зачитал свой приказ № 1, которым дивизия была переименована в «Первую красную армию Правды»[3]. Восставшие требовали перевыборов советов, отмены продразвёрстки, возвращения к свободной торговле.

Повстанцам без особых затруднений удалось захватить Бузулук и станцию Погромную, которые они удерживали два дня. На красном знамени, с которым они вошли в Бузулук, сверху мелкими буквами было написано «Рос. Сов Социал. Респ.», а ниже, более крупно «Долой яйца и масло, да здравствует соль!»[4] 16 июля Сапожков оставил город, в который снова вошли красные отряды, объединённые, для того чтобы противостоять повстанцам, в Бузулукскую группу войск. Разделившись, сапожковцы двинулись к Оренбургу, рассчитывая на поддержку оренбургского казачества, и в Бугурусланский уезд, попутно проводя агитацию под лозунгами «свободной торговли».

Несмотря на незначительный срок сапожковского мятежа он породил целую волну крестьянских бунтов, которые прошли в уездах Самарской и Саратовской губерний.

Лозунги сапожковцев, которые быстро нашли отклик у трудового казачества и крестьянства, свидетельствуют о том, что в народе было распространено мнение о перерождении советской власти, превращении её в нового, куда более жёсткого и непримиримого эксплуататора. Местные советские работники были напрямую ответственны за дискредитацию советской власти в массовом сознании.

«Народная Армия Правды» Охранюка-Черского

В апреле 1921 года бойцы 49-го кавалерийского дивизиона, дислоцированного на ст. Сороки Бузулукского уезда Самарской губернии, отказались участвовать в подавлении крестьянских выступлений и сформировали «Народно-революционную армию». Возглавил восставших командир

дивизиона Охранюк, сменивший впоследствии свою фамилию на Черский. Повстанцы ставили своей задачей защитить народ от коммунистов.

Занимая станицы и сёла, повстанцы двинулись на Новосергиевку, захватив которую, перерезали железнодорожное сообщение между Оренбургом и Самарой. Везде по пути следования они расстреливали отдельных коммунистов и советских работников, а захваченный на складах и ссыпунктах хлеб раздавали населению. Переправившись через реку Салмыш, мятежники углубились на территорию Башкирской АССР.

В конце апреля 1921 года «Народная Армия Правды» Охранюка-Черского подошла к границам Ток-Чуранского кантона. О том, насколько запутанной была в тот период политическая ситуация, свидетельствует тот факт, что около двадцати человек из руководства кантоном перешли на сторону Охранюка. В условиях, когда местные власти были полностью деморализованы и не смогли организовать защиту населения, за решение этой проблемы решили взяться самостоятельно жители с. Габзалилова (ныне с. Канчирово Александровского района) братья Курбан и Садык Габзалиловы. В короткие сроки ими был собран отряд численностью в 250 человек. Соединившись с подоспевшим на помощь шарлыкским отрядом, Габзалиловым удалось рассеять Армию Правды и вытеснить её за пределы кантона. После этого братья решили взять власть в кантоне в свои руки и решительно навести порядок, наказав контрреволюционеров, засевших в кантисполкоме. Но очень скоро отряд Габзалиловых превратился в организованную банду, терроризировавшую и грабившую местное население (причём среди потерпевших были и башкиры, и русские, и татары, и немцы)[5].

Жители села Нижняя Павловка Оренбургской губернии у агитационной повозки курсантов 18-й Оренбургской пехотной школы командного состава им. КирЦИК. 1921 г.

В кантоне установилось двоевластие, шла кровавая междоусобица. При этом братья находили полную поддержку и понимание со стороны органов власти Оренбургской губернии, которые были крайне заинтересованы в поддержании порядка на этой территории. В случае необходимости габзалиловцы всегда могли укрыться в Шарлыке или Оренбурге, где их считали настоящими коммунистами. Летом 1921 года отряд Габзалиловых, снова получив поддержку из Шарлыка, разгромил и вытеснил из кантона вторгшиеся туда повстанческие отряды Аистова и «Маруси».

Руководство Башреспублики было вынуждено направить в Ток-Чуранский кантон кавалерийский отряд для ликвидации незаконного вооружённого формирования Габзалиловых. На суде, который состоялся в Уфе в марте—апреле 1924 года, были осуждены 51 габзалиловец, в том числе 4 человека были приговорены к расстрелу (Курбан, Садык и Назмутдин Габзалиловы и Тахаутдин Габитов)[6].

В Башкирии войска Охранюка сосредоточились в районе Ермоловка — Мраково, пополняя свой состав за счёт добровольцев. 9 мая 1921 года повстанцами был занят Преображенский завод, где к ним присоединилась дивизия башкирских повстанцев во главе с Ф. Магасумовым и Х. Унасовым. Но после этого Охранюку пришлось прорываться на территорию Челябинской губернии.

24 мая 1921 года повстанцы стремительной атакой захватили станицу Кизильскую, но удержать надолго её не смогли и были вынуждены отступать в сторону казахских степей. Народармейцы прошли посёлки Кизель, Обручевский, Полоцкий, Могутовский, Варшавский, Полтавский. 28 мая был занят посёлок Новинский, на следующий день — посёлок Бреды, затем, продолжив движение в направлении Орского уезда, 1 июня ими был захвачен п. Адамовский. 3 июня у этого посёлка произошёл бой, в ходе которого отряд Охранюка потерял убитыми около 400 человек и отступил. В плен попало около 600 пехотинцев и 970 кавалеристов. Башкиры, вошедшие в состав войска, вернулись в район Баймака. Сам Охранюк-Черский с небольшим отрядом сумел оторваться от преследования. 12 июня 1921 года он занял город Темир в Казахстане. Выйдя из города 13 июня, остатки Народной Армии приняли бой в 54 верстах от Темира и вновь с потерями вынуждены были отступать. Одну из групп народармейцев красные настигли в х. Чилик у Илецкого городка. Небольшой отряд, возглавляемый Охранюком, захватил 18 июня село Покровское, 20 июня — станицу Озёрскую. Дальнейшая

судьба Охранюка-Черского неизвестна.

В 1921 году в Оренбургской губернии и прилегающих территориях действовало большое количество других мелких повстанческих групп, которые перемещались по территориям различных губерний в пределах Урало-Поволжского региона и Северного Казахстана. Иногда эти отряды объединялись и действовали сообща. Так, в апреле 1921 года начали совместно действовать отряды Сарафанкина и Сафонова, которые 1 сентября объединились с отрядом Аистова. В октябре 1921 года ряд разрозненных отрядов объединился с армией «Воли Народа» Серова[7].

Действия десятков отрядов повстанцев тяжким бременем ложились на плечи местного населения, которое вынуждено было не всегда на добровольной основе обеспечивать повстанцев пропитанием и находилось под постоянной угрозой мобилизации. В условиях разрухи и голода отряды мятежников всё больше воспринимались местным населением как бандиты и грабители. Потеряв социальную поддержку в лице крестьянского и казачьего населения, к концу 1921-го — началу 1922 года повстанческое движение постепенно прекратилось.

События революции и гражданской войны свидетельствуют о том, что население в большинстве своём занимало выжидательную позицию, не желая участвовать в непримиримом вооружённом противостоянии и индифферентно относясь к воюющим сторонам. Это подтверждается теми трудностями, которые возникали как у красных, так и у белых при проведении мобилизации, а в военных действиях на начальном этапе гражданской войны участвовали незначительные воинские силы.

Оренбургские казаки, сохраняя нейтралитет, неоднократно высказывались о необходимости враждующим сторонам договориться миром. Православное духовенство Оренбургской епархии, хоть и поддержало в конечном счёте Учредительное собрание, также призывало к национальному примирению. Местные власти и буржуазия пытались договориться со всеми политическими силами. Лидеры башкирского и казахского национальных движений также декларировали свой нейтралитет.

Причина отказа большинства социальных сил от участия в гражданском конфликте видится в гигантской усталости народа от той политики, которую проводила прежняя власть, от войны и революционных потрясений.

Переход к политике красного и белого террора буквально взорвал ситуацию в регионе. Оставаться нейтральными в этих условиях больше было невозможно. Вполне ожидаемо террор

возымел обратное действие, заставляя людей включиться в борьбу. Между тем на фоне периодического обострения положения на фронте и повсеместного ухудшения экономического положения террор только усиливался. Карательные отряды как с одной, так и с другой стороны расправлялись со всеми заподозренными в симпатиях к противнику.

Идеологически большевики оказались более умелыми и циничными политиками. В частности, они предложили более привлекательные для народных масс лозунги, проявили большую политическую гибкость и поддержали автономистские устремления казаков, башкир и казахов, перетянув значительную часть из них на свою сторону. Белое движение же так и не смогло преодолеть внутреннюю разобщённость, найти для себя объединяющее начало, и проиграло.

Но окончательное утверждение в Оренбургской губернии советской власти не принесло спокойствия. Укрепления диктатуры пролетариата и осуществление социалистических преобразований методами «военного коммунизма», голод и хозяйственная разруха привели к масштабному крестьянскому и казачьему протесту. Но разрозненные вооружённые выступления изначально были обречены и к началу 1922 года постепенно сошли на нет.

Гражданская война, без всяких сомнений, является одним

Участники торжественного собрания, посвящённого 4-й годовщине Октябрьской революции. Оренбург, ноябрь 1921 г.

из важнейших и наиболее трагических событий отечественной истории. Последствия губительной гражданской конфронтации и сегодня ощущаются в политической, экономической и духовной сферах жизни нашего общества. И в год столетия начала этих трагических событий очередное обращение к истории гражданской войны позволяет сделать попытку по-новому осмыслить её уроки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Судоргина Т.В. Оренбургские деньги // Оренбургский край. — 1994. — № 1/2. — С. 53-54.

2. Сафонов Д.А. История Оренбургского края: экспериментальное учебное пособие. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2006. — С. 234-235.

3. Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и Южный Урал. — Оренбург: «Оренбургская губерния», 1999. — С. 142.

4. Гражданская война в Поволжье. — М., 1974. — С. 305.

5. Сынтимер «Естественные борцы за социализм» братья Габзалиловы // Гостиный Двор. Альманах. — 2005. — № 16. — С. 214-217.

6. Сынтимер «Естественные борцы за социализм» братья Габзалиловы // Гостиный Двор. Альманах. — 2005. — № 16. — С. 222-225.

7. Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и Южный Урал. — Оренбург: «Оренбургская губерния», 1999. — С.203.

Дина ДЕЛЬМУХАМЕДОВА

«ЗАПИШИТЕ МЕНЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ..»

Из истории добровольческого движения в Оренбургской области

Дина Нажиповна Дельмухамедова родилась в Оренбурге. Закончила исторический факультет Башкирского государственного университета. С 2013 года работает в Оренбургском государственном архиве социально-политической истории (до сентября 2017 года – Центр документации новейшей истории Оренбургской области): главным архивистом отдела справочно-поисковых средств к архивным документам, начальником отдела публикации и научного использования документов.

Добровольная помощь нуждающимся существовала всегда, на всём протяжении человеческой истории.

Понятие «volontaire» возникло во Франции в XVII веке и первоначально означало человека, добровольно идущего на военную службу. Изменение понятия «волонтёр» и возникновение волонтёрства как социально-организованного движения произошло в 1920 году во Франции, когда впервые был реализован проект по восстановлению территории, разрушенной в период Первой мировой войны.

Одна из самых ярких страниц в истории добровольческого движения в России связана с периодом Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Тысячи людей по всей стране, в том числе и в Оренбургской, тогда Чкаловской, области с первых дней войны записывались добровольцами на фронт. Многие из этих

заявлений сохранились в фондах Оренбургского государственного архива социально-политической истории. Так, например, заявление Фёдора Петровича Попова заведующему военным отделом обкома ВКП(б) от 26 июня 1941 года: «Я знаю свою Родину, я знаю своих русских полководцев. Александр Невский, Минин, Пожарский, Пётр I и герои полководцы Гражданской войны т. Фрунзе, Чапаев, Щорс, Котовский, которые били врага, не щадя своей жизни, за свою Родину, за свой русский народ. И я, прежде всего, Русский человек. Я помню традицию своего русского народа. Прошу немедленно послать в действующую Красную армию против германских фашистов»[1].

Или заявление Яна Яновича Сидоровича комиссару Дзержинского военкомата г. Чкалова от 10 июля 1941 года: «Прошу Вашего разрешения зачислить меня в ряды Красной армии добровольцем. Буду бить гитлеровский фашизм, не щадя своей жизни. Я обижаюсь, что я до сего времени сижу в тылу, а не на фронте. Я рождения 1912 года. Я согласен пойти на фронт и защищать наши священные межи. Я согласен погибнуть на священной границе нашей страны социализма за дело партии Ленина-Сталина»[2].

Широко известен тот факт, что Великая Отечественная война стала самой женской войной за всю историю человечества. Сохранились также заявления девушек, выразивших желание добровольно пойти на фронт. В Чкалове, Орске, Бузулуке, Медногорске медицинские сёстры целыми дружинами добровольно уходили на фронт. Более 15 тысяч женщин области были призваны на военную службу, многие из них находились в действующей армии. Сохранилось заявление Анны Денисовны Кобозевой комиссару Дзержинского райвоенкомата г. Чкалова от 23 июня 1941 года: «Прошу зачислить

Молодые рабочие завода им. С.М. Кирова г. Чкалова пишут заявление о добровольном вступлении в ряды Красной армии. Июнь 1941 г.

меня добровольно в ряды Красной армии. Я хочу защищать свою Родину от нападения бело-фашистской банды. Я хочу вместе со всем народом встать на защиту советских границ и бороться до полной победы за нашу партию, за наше правительство, за любимого Сталина. Убедительно прошу не отказать в моей просьбе»[3].

Также буквально в первые дни войны было написано заявление студентки Оренбургского государственного педагогического института Лидии Фёдоровны Дементьевой в райвоенкомат г. Чкалова от 23 июня 1941 г.: «Прошу зачислить меня в число добровольцев на защиту нашей Родины. У меня погиб брат на финляндском фронте, и я поклялась во что бы то ни стало отомстить кровожадным врагам. Хочу заменить своего брата и быть хоть сколько-нибудь полезной Великой стране Социализма. Прошу не отказать в моей просьбе»[4].

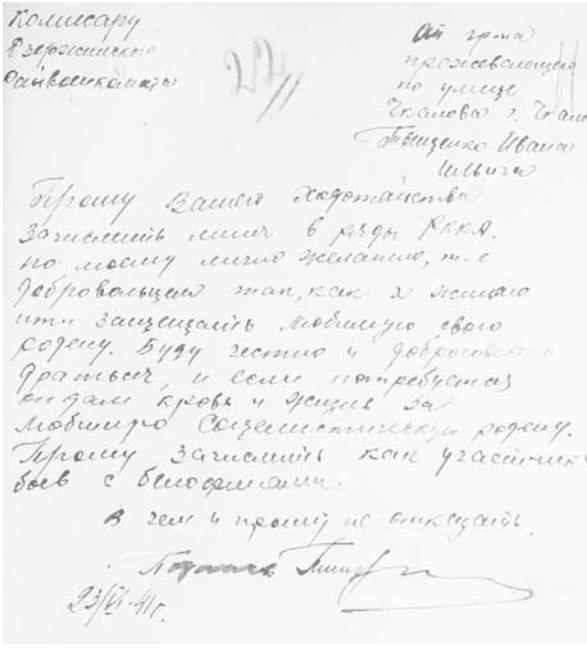
Женщины добровольно уходили на фронт, добровольно брали на себя помощь раненым, находящимся в оренбургских госпиталях, помощь детским домам, эвакуированным в нашу область из осаждённых и захваченных территорий. Так, в информации Домбаровского районного комитета ВКП(б) в отдел пропаганды и агитации Чкаловского областного комитета ВКП(б) от 21 июня 1942 года говорится о шефстве домохозяек района над детьми, эвакуированными в домбаровский детский дом из г. Мурманска: «...Первая забота домохозяек о детях выразилась в сборе ниток и пошиве до 200 штук белья [...] Домохозяйки взяли на себя заботу о детях, а дети дали обязательство закончить на отлично и хорошо учебный год [...] Женщины-домохозяйки начали сбор средств, продуктов, белья и т. д. За несколько дней они собрали среди домохозяек 4000 рублей деньгами, 80 кг муки, 320 яиц, масло, молоко, детское бельё, тетради, карандаши, игрушки, столовую посуду, материал для вышивания и вышивальные нитки. Из собранного они частью помогли эвакуированным

Группа молодёжи Чкаловского района Чкаловской области, призванная в ряды Красной армии. Июнь 1941 г.

многосемейным матерям, а часть, как то: материал, вышивальные нитки, карандаши, тетради, столовую посуду — передали детям домбаровского детского дома. К выпускному вечеру по окончанию учебного года воспитанниками детского дома они приготовили гостинцы, 320 яиц и до 50 кг печенья»[5].

В дни ожесточённых боёв под Сталинградом в Чкаловской области широко распространилось движение «тысячников», то есть тех, кто перевыполнял дневную норму на тысячу и более процентов. Так, токарь завода № 47 г. Чкалова (в настоящее время — ПО «Стрела») Алексей Михайлович Дышлевский объявил октябрьскую вахту и посвятил выполнение задания защитникам Сталинграда — 1231% дневной нормы. Он сделал рекордное количество норм за смену — 49[6]. Зачинателем движения «стотысячников» стал колхозник сельхозартели «Свободная жизнь» Тоцкого района Чкаловской области Иван Прокофьевич Болотин, который вместе с женой внёс 170 тысяч рублей на строительство самолёта. Два сына супругов Болотиных, лётчики, воевали на фронте.

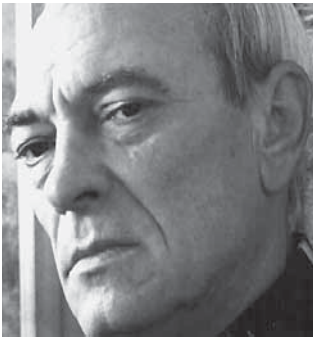
Общей чертой всех описанных выше случаев является искреннее и бескорыстное желание оказать помощь ближним, подкреплённое общим патриотическим порывом советского народа в борьбе против фашистских захватчиков. И невольно встаёт вопрос: была ли возможна победа в этой страшной войне без таких самоотверженных людей?



Заявление И.И. Тыщенко в военный комиссариат Дзержинского района г. Чкалова с просьбой направить его добровольцем на фронт. 23 июня 1941 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 5. Д. 507. Л. 2.
2. ОГАСПИ. Ф. 1803. Оп. 1. Д. 405. Л. 7.
3. ОГАСПИ. Ф. 1803. Оп. 1. Д. 405. Л. 14.
4. ОГАСПИ. Ф. 1803. Оп. 1. Д. 405. Л. 25.
5. ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 6. Д. 237. Л. 9 — 9 об.
6. ОГАСПИ. Ф. 8021. Оп. 1. Д. 593. Л. 116.



Пётр КРАСНОВ

РУССКИЕ В ИМПЕРИИ

Пётр Николаевич Краснов родился в 1950 году в селе Ратчине Шарлыкского района Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, Высшие литературные курсы в Москве, работал агрономом, сотрудником многотиражной газеты. Известный прозаик, секретарь Союза писателей России. Лауреат Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу, Большой литературной премии России, всероссийских литературных премий им. И. Бунина, им. Александра Невского, им. Д. Мамина-Сибиряка, им. Льва Толстого «Ясная Поляна», Пушкинской премии «Капитанская дочка», губернаторской премии «Оренбургская лира», региональной литературной премии им. П.И. Рычкова и др. Награждён дипломом ЮНЕСКО за выдающийся вклад в мировую культуру. Живёт в Оренбурге.

После публикации моей статьи «Лимиты» революции» (Наш современник №8\2017 г., День литературы №10\2017 г., Гостиный Дворъ №2(2)\2017 г.) стали поступать ко мне отзывы и вопросы читателей по существу нескольких положений, высказанных в ней. И потому возникла необходимость некоторых дополнительных разъяснений и уточнений её, статьи, посылов, по возможности не повторяя уже сказанного в ней.

Так сложилось в отечественной историографии, что поднимать вопрос о полном «онемечивании» в XVIII веке царской династии Романовых не было ни возможности до революции 1917 года, ни особой политической необходимости после неё. В силу существовавшей в этом отношении жёсткой цензуры историк В.О. Ключевский смог только констатировать, что после неудавшегося и во многом «антинемецкого» восстания декабристов из-за укрепившегося недоверия

династии к русским «кончается политическая роль русского дворянства... В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря...» Да и вывод этот, чрезвычайно значимый для нашей истории, он сделал и записал как бы «на полях» своих трудов, в надежде, что будущие историки получат наконец-то возможность развить эту тему, детально исследовать все её мало сказать — драматические «последствия»...

Но до сих пор этой исторической проблемы, насколько я знаю, никто из историков впрямую не ставил, так и осталась она, по сути, «белым», а вернее донельзя мутным пятном в нашем прошлом. Правда, сама возможность этого появилась после Октября, но в её реализации у новой власти уже не было какой-либо идеологической нужды: угнетателей-эксплуататоров, как и угнетаемых, не делили по признаку национальному, а только по классовому. Проблематика национальности тех и других и сейчас является официально табуированной, толерантность (в одном из значений этого слова — потеря иммунитета) и мультикультурализм здесь у россиянского политикума образцово-показательные, вплоть до ликвидации этой графы в паспортах и отсутствия русских, как народа-нации, в ельцинской Конституции РФ — тогда как в конституциях национальных республик в её составе субъектность этих «титульных» народов прописана... Политически, а значит и социально нас, национального большинства России, как субъекта с соответствующими правами попросту нет — и всё это, разумеется, для сокрытия крайне значимых диспропорций и неравенства по этническому признаку в населении нашем, экономике и статистике, где самые бедные, обделяемые в финансировании, в социокультурных и прочих планах области — исконно русские...

Как я уже писал, православная обрядность Двора не делала «Романовых» русскими, и не было допущено ни одного случая женитьбы очередного наследника престола на русской; в любовницы — это, как говорится, всегда пожалуйста, но не более того. Кровь «немецкая», а с ней и все многочисленные и многосмысловые связи с западноевропейским Vaterland береглись пуще зеницы ока, и рискнувший жениться на русской, хотя бы и рюриковых кровей, женщине член династии лишался какого бы ни было шанса на престолонаследие. Ползучий, однако очень быстрый по историческим меркам захват ими верховной власти в Империи имел огромное, нами ещё, повторю, до сих пор не осознанное значение в её дальнейшей судьбе. Бироны-минихи-остерманы работали в этом направлении, надо признать, весьма эффективно, искусно отводя аборигенам роль исполнителей своего целеустремлённого дела.

Первостепенным по замыслу здесь, судя по всему, стало «дарование» Петром III (сиречь Карлом Петером Ульрихом) в 1762 году дворянству вольности, освобождения от обязательной даже в мирное время 25-летней военной и гражданской службы, а также и других весьма значительных привилегий, послуживших своего рода социальным и политическим подкупом «немцами» дворянского сословия (подтверждённых потом «жалованной грамотой» Екатерины II в 1785 году). И совсем не зря дворяне в порыве эгоистичной сословной благодарности собирались поставить этому горе-императору золотую статую; правда, когда он сдал Фридриху II все завоевания Семилетней войны, дворяне ещё имели силу свергнуть его, подсадив на престол его жену Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую. Каковая и стала основательницей уже, считай, не замутнённой славянской кровью новой династии «Романовых»...

Всё это разрушило прежнюю, именно русскую систему государственной повинности, накладывавшую сравнительно соразмерные и потому более справедливые доли державного тягла и на дворянство, и на крестьян. Уже по смерти Петра I в мутную «эпоху дворцовых переворотов» правящей дворянско-немецкой верхушкой ускоренно велось закабаление, окончательное закрепощение основной части русского населения — крестьянства, и даже по сравнению с мобилизационными отягощениями петровских реформ степень эксплуатации помещичьих и заводских крепостных возросла к концу XVIII века, по некоторым утверждениям историков, в разы.

Землю и крестьян на ней, которыми ранее наделяли дворян для должного несения ими государевой службы, они теперь получили в полную личную собственность и распоряжение вместе с правом судебно-полицейской и хозяйственной опеки над ними, сбора подушных денег-податей, определения и исполнения наказаний вплоть до отправки в Сибирь, а работников навечно прикрепляли к заводам и прочим промышленным предприятиям. И если в Европе того времени дело постепенно шло к какому-никакому освобождению крестьянства от феодальных пережитков и улучшению их условий жизни, то в России феодализм приобретал, наоборот, всё более жёсткие, крайние формы и уже мало чем отличался от рабства колониального толка.

Разрыв между верхним меньшинством и самым нижним подавляющим (и подавляемым) большинством окончательно принял цивилизационный характер, весьма чётко обозначив себя и в языковом плане, не говоря уже о социально-имущественном. Французский и немецкий в высшем свете вытеснили аборигенский русский, и даже наша национальная героиня, пушкинская

Татьяна, «выражалася с трудом на языке своём родном...» «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, — писал А.С. Грибоедов, — он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые ещё не успели перемешаться обычаями и нравами...»

Нет, успели так радикально разделиться, разойтись, что казались порой выходцами из совершенно разных народов.

Этот цивилизационный разрыв и является едва ли не главным признаком как классического вообще, так и «внутреннего» колониализма в России XVIII — XIX веков — вместе с утверждаемой Ключевским утратой «политической роли русского дворянства», русской элиты, а фактически ведь и потерей субъектности, независимости её, с отстранением от принятия важнейших, а подчас и судьбоносных для страны и народа решений. Потеряв верховную власть, отдав её в чужие руки, она утратила вместе с нею и стратегическое, проектное мышление, саму возможность постановки и достижения своих, русских долговременных целей, то, что называют прозревающей в грядущее «длинной волей». Это и стало началом длительного её и бесславного конца.

Гораздо раньше Ключевского в этом убедился сполна Ф.И. Тютчев, посвятивший российской дипломатии всю свою жизнь, с великой горечью видя «непостижимое самодовольство официальной России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и необходимого (то есть которого нельзя обойти — **П.К.**) противника, но старалась только служить ему подкладкой» и «только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих...» И отмечал в ближайшем окружении династии «черту, самую отличительную из всех — презрительную и тупую ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального...»

Да всё это и немудрено было: ещё до Екатерины II императорский Двор стал «проходным двором» всей Европы, для всех и всяческих интернациональных проходимцев, слетевшихся «на ловлю счастья и чинов», чего стоила одна драма жизни и борьбы М.В. Ломоносова. Хотя несомненно, конечно, что некоторые «иностранные специалисты» привнесли немалый вклад в развитие самых разных сторон научной и общекультурной жизни, делясь богатым опытом и знаниями Европы.

Но ведь именно наличие взыскательной и целеустремлённой

«длинной воли», выражающей главные чаяния и домостроительные принципы своего народа, и делает из его верхов истинную элиту. Державная традиция первых Романовых прервалась-переменилась уже на Петре Великом, и само государственное устроение России всё более становилось искусственным, навязанным со стороны, несообразным и не отвечающим многим запросам и нуждам, интересам и даже религиозно-идеологическим установкам общерусского бытия, Царство русское сменилось на Империю «вообще». Онемеченную династию уже мало что родового, тем паче родного связывало с управляемой ею страной, разве что «графья» Бобринские; зато Европа была полна самыми близкими, алчными и весьма требовательными родственниками, что не могло не ввязывать «Романовых» во все европейские склоки и разборки, самой России чаще всего не нужные, а то и противопоказанные и ничего не приносящие, кроме беспрестанных и значительных трат в средствах, силах и жертвах. Та же Екатерина II, свергнув с помощью дворян негодного мужа, тем не менее продолжила его политику сдачи Пруссии всех результатов Семилетней войны, куда как дорого обошедшихся русским; да и могла ли поступить по-другому дочь прусского фельдмаршала? Надо сказать, она очень умело, чисто по-женски подчас и весьма щедро — за счёт казны, разумеется, — подкупала расположение к себе и преданность русских аристократов, что завещала и своему потомству.

Но вопиющая несправедливость «дворянской вольности» с попутным лишением крестьянства последних прав вызывали законное возмущение народа, и ей пришлось уже в первые годы правления жестоко усмирять около 100 тысяч помещичьих и 50 тысяч заводских невольников, не говоря уж о грянувшей позже Крестьянской войне, пугачёвщине. А все внешние, даже самые успешные завоевания при ней и её потомках никак, считай, не сказывались на положении подавляемого большинства народа, и как тонула большая часть русской деревни в нищете, схожей порой с какой-нибудь индусской, в середине века восемнадцатого, так и продолжала тонуть в начале двадцатого...

Дармовая «вольность», сверхизбыточные привилегии исторически сыграли с русской аристократией недобрую шутку — как, впрочем, и реформа 1861 года, о роли и грозных последствиях которой я уже писал. Землевладельческое дворянство в продолжение XIX века всё более впадало в системный кризис, обусловленный у нас, в первую очередь, экономическим иждивенчеством, а вернее прямым паразитизмом на крестьянстве, эксплуатацией дармового тоже рабского труда — который, как известно, развращает господ куда больше, чем рабов. Всё меньше занималось оно

собственно хозяйством сельским своим, перепоручая его хватким посредникам, корыстным старостам-приказчикам, переселяясь в города или вовсе за границу, с попустительства верховной власти мало заботясь о коренном улучшении его, а уж тем более жизни своих крепостных, отдавая их под бесконтрольный произвол управляющих имениями, и толстовские «константины левины» встречались, увы, всё реже, замещаясь больше «облонскими»...

Избавившись от какой-либо ответственности за своих бывших крепостных и получив при «освобождении» 1861 года гигантскую по тем временам сумму прямых выкупных платежей за землю в один миллиард рублей (а косвенных было, по некоторым прикидкам, раза в два-три больше), дворянство не потратило, не инвестировало хотя бы половины её в «подъём сельского хозяйства» своего, по-нынешнему говоря, а попросту «проело» в привычном барском потребительстве, а то и роскоши. Только в 1882—1901 годах русскими «путешественниками» было вывезено на Запад 1,37 миллиарда рублей — сполна напоминая этим сегодняшнюю, тоже массовую «четвёртую волну» эмиграции своим отношением к Родине, к своему национальному делу и долгу.

Результатом стало повальное разорение «дворянских гнёзд», обернувшееся форменной драмой того времени, но ни немецкая династия, ни служилая русская аристократия в силу своего недалёкого классового эгоизма не сумели, не смогли предпринять ничего рационального, действенного, чтобы усовершенствовать хозяйственные и социальные механизмы и вывести из кризиса всю земледельческую экономику, а не цепляться до последнего за свой шкурный интерес и отжившие сословные, едва ли не кастовые отношения в расколотом обществе. Как не могли по-настоящему поднять и технологический уровень промышленности, угодив в ростовщическую кабалу Запада, полностью утратив финансовую независимость.

Почему мы должны брать западные кредиты, спрашивал тогда исследователь экономики генерал А.Д. Нечволодов, чтобы на собственной земле, своими руками и материалами построить железную дорогу?.. С Ельциным и его, прости Господи, «элитой» посредством «Вашингтонского консенсуса» повторили извне тот же мошеннический трюк, что и с Николаем II при навязывании «золотого рубля». И эти же заунывные мантры об «иностранных инвестициях» мы слышим от правительства компрадоров и сейчас, что яснее ясного говорит о нашей финансовой несамостоятельности, а значит, и о державной несостоятельности тоже. И видим третий десяток лет то же отсутствие «длинной воли» во внутренней политике, какого-либо значимого и понятного народу проекта, кроме ненасытной

корысти продажной олигархии и пресловутого «выживания» для низов, обрекающего нас на вечное отставание и, вместе с тем, на деградацию — а вот она-то всегда конечна...

Одновременно с этим переживало острейший и всё нарастающий безвыходный кризис и крестьянство, составлявшее более восьми десятых всего человеческого ресурса Империи. Рождаемость была высокой и с перебором «съедала» жалкие приросты производительности труда и урожайности, население стремительно росло, а пашни, сельхозугодий на душу его становилось всё меньше, как и рабочего и прочего другого скота. Агротехника в основном оставалась самая примитивная, ещё зачастую с сохой, и прироста хлеба на выпаханной без должного удобрения земле почти не давала. К тому же во второй половине и ближе к концу XIX века из-за провального внешнеторгового баланса правительством всё усиливался так называемый «голодный экспорт» зерна и всякого другого продовольствия под чиновничьим циничным посылом «не доедим, но вывезем», царская «продразвёрстка» работала вовсю, не озабочиваясь пропитанием самих землепашцев, и Александр III даже запретил в официальных документах слово «голод», заменив его «недородом»...

Между тем, по статистике тех лет, хроническое недоедание крестьян в среднем на треть ниже самой минимальной нормы (около 20 пудов зерна в год на человека) было, по сути, постоянным ф о н о в ы м г о л о д о м в деревне. А при неурожае, случавшемся каждые 4-5 лет, а то и чаще, страшный голодомор охватывал сразу десяток-другой губерний и десятки миллионов людей с неисчислимыми, в прямом и переносном смысле, жертвами-смертями, с тифом и цингою, не говоря уж о массовом разорении дворовых хозяйств... Всякий желающий знать может набрать в поисковике интернета работу А.Д. Нечволодова «От разорения к достатку», другие материалы на эту скорбную тему и получить исчерпывающие сведения, статистику, факты. Сравнение же питания, не поминая условий жизни вообще, с сельским населением Европы и Северной Америки было просто убийственно позорными для России, где дело дошло уже до физического, телесного вырождения русского сельского населения...

Кое-как организованное и без действенной государственной поддержки проводимое переселение на свободные земли Сибири и Туркестана не могло решить проблему малоземелья и даже покрыть прирост населения, то есть положение его продолжало лишь ухудшаться. Бедствия переселенцев были подчас неимоверными, а «столовых (для них — **П.К.**) от Пензы до Маньчжурии только шесть», писала газета «Русское слово» в 1907 году, тогда как лишь за февраль в Челябинском переселенческом

управлении было зарегистрировано около 20 тысяч беженцев из голодных губерний... Каковы были пути-дороги в Сибири, мы имеем представление от Гончарова, Чехова и других писателей наших. Столыпин, пытавшийся найти выход из крестьянского «чёрного тупика», успел сделать сравнительно немало, но решить проблему постоянного голода и массового разорения на селе в принципе не мог, потому что она в «периферийном капитализме» романовского образца имела системный, неотделимый от него характер. Уже в разгар столыпинских реформ при сильнейшем голоде 1911 года за границу было продано 53 % собранного товарного хлеба: фигурально выражаясь, десяток-другой пароходов с российским зерном шло на Запад, а навстречу в Россию один пароходик милосердного Красного Креста с прокормом для голодающих русских землепашцев...

Этим сдвоенным кризисом верхов и низов (при сравнительно слабом промышленном производстве, вдобавок большей частью контролируемом, как и банки, из-за рубежа) и была подорвана «становая жила» Российской Империи, её реальная, а не показная мощь, которая в любом государстве может быть обеспечена только независимым и успешным, экономически гармоничным развитием промышленности и сельского хозяйства. Крайнюю запущенность всех этих не только экономических, но и политических, социальных, военных диспропорций большевикам пришлось преодолевать и выправлять ради спасения страны и народа в кратчайший предвоенный срок и самыми жёсткими, подчас жестокими мерами, иных выходов из всего «наследства» Империи просто не оставалось: «иначе нас сомнут...» Вопросом жизни и смерти стало получить путём навязанной, а то и насильственной коллективизации государственный контроль над «хлебом насущным», иначе армию и город не прокормить, и ускоренной индустриализацией (с переброской на неё избыточных рабочих рук из деревни) создать оружие защиты.

Надо умудриться сейчас, с нашим-то историческим опытом, «не понимать» всей грозности той ситуации, причём в условиях послевоенной разрухи и враждебного внешнего окружения, и жёсткой невозможности других решений — разве что сдаться и стать уже безусловной колонией многочисленных хищников вокруг. И сорок первый, несмотря на все трагические перехлёсты тех мер, подтвердил единственность этого пути.

Ведь ещё в 1918 году американский конгресс официально объявил, что России как государства больше не существует, а её территория, подразумевалось само собой, становится зоной «свободной охоты», международного раздела-разбоя, — очевидно, в благодарность за помощь

русского флота Штатам, тогда ещё разъединённым, в их гражданской войне в 1863 году... И тут же вместе со всеми прочими интервентами высадили оккупационные войска на Русском Севере и во Владивостоке, попутно дочиста грабя и вывозя всё ценное. «Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских, — не стал скрывать позже Черчилль. — Напротив того, русские белогвардейцы сражались за НАШЕ дело...» А переформатировать оккупационные зоны в «страны СНГ» — дело недолгое. И в этом смысле нашу Гражданскую войну можно с полным правом считать антиколониальной, а значит и отечественной — пусть со строчной, в память о всех павших с обеих сторон, буквы...

Всеохватный кризис государства, напрямую связанный с двухвековой утратой русской аристократией «длинной воли», с разложением и упадком ответственности за народ в национальной элите и привели к «внутреннему колониализму» в отношении к большинству населения России. Но это сказалось и на других сословиях, на всём строе той государственной и общественной жизни, и потому даже идейный монархист, известный публицист М.О. Меньшиков задаётся возмущённым вопросом: «Чьё государство Россия?» — так и назвав свою статью в 1908 году. И приходит к выводу, что русские в массе своей лишены даже элементарного равноправия с другими национальностями в собственной стране, что «коренной русский народ до самого последнего времени был опутан целой сетью затяжных бессмысленных ограничений — при основной и тяжкой повинности нести на себе всю ответственность за громадное, раскинувшееся на два материка государство... Для начала хотя бы уравняли нас в правах с господами покорёнными народностями! Для начала хотя бы добиться только пропорционального распределения тех позиций власти, богатства и влияния, что при содействии правительства захвачены инородцами. Если немцы, которых 1 процент в Империи, захватили кое-где уже 75 процентов государственных должностей, то на первое время смешно даже говорить о русском «господстве»... И описывает, в том числе и в других статьях своих, широко распространённую практику утеснения и вытеснения русских во многих областях политической, деловой, социальной и культурной жизни, говоря даже о «тяжёлом засилье инородчества» — впрямую перекликаясь с ситуацией нынешней.

Надо сказать, что и советская, к середине тридцатых годов в большинстве своём русская по национальности номенклатура во многом переняла этот «интернационализм за счёт русского народа», куда больше зачастую заботясь о национальных окраинах

под политически недалёким самооправданием: «свои поймут и потерпят», дескать... Именно грубые ошибки в определении и поддержании должного статуса русского народа в стране (с разделением на союзные республики, в том числе, а не на губернии), недальновидность в решении «русского вопроса» и стали одной из самых главных причин распада Советского Союза. И задача восстановления русского самоуправления, «самодержавия», суверенитета во всей полноте этого понятия и сейчас стоит перед нами как категорическое, в императив возведённое требование нашего народа.

Вообще же, это «при содействии правительства» дорогого сто́ит в устах убеждённого монархиста... Меньшиков видел, конечно же, что немецкая династия на российском троне не могла не бояться русского большинства и всячески разбавляла его более сговорчивыми инородцами, ограничивала его как могла во власти, влиянии, инициативах, в распоряжении своим национальным достоянием. Весьма показательным здесь является настороженное и мало сказать — неприязненное отношение «немецкого самодержавия» к идейному движению славянофилов Аксаковых, Хомякова и других выразителей русского самосознания, всяческие запретительные цензурные и прочие санкции, закрытие журналов и даже аресты — более чем странные, казалось бы, в родном Отечестве... И если позже правящая верхушка поспешно поддержала, отчасти сама организовала возникшее в начале нового века патриотическое черносотенство, то лишь из-за страха перед надвигавшейся революцией.

А она становилась всё неизбежней, поскольку давно и намеренно унижена была и оскорблена сама «народность» из пресловутой уваровской триады «Православие, Самодержавие, Народность», где впали в системный кризис все её составляющие, в том числе и синодальный, издавна лишённый патриаршества клир. И тютчевское грозное предчувствие «дыхания Бога — дыхания бури» жило и в Меньшикове, чутко выразившем тогда критическое, предгрозовое самочувствие самого русского духа: «Я думаю, что столь глубокий упадок чувства народности — накануне восстановления её или смерти. Одно из двух...»

Народ и восстановил своё попранное достоинство, свою «самость» и историческую значимость тем способом, какой был ему доступен — свержением власти, которая не исполняла возложенных на неё Богом и нацией обязанностей. Большевики, как раз обладавшие «длинной волей», смогли достаточно убедительно сформулировать свой проект, в перспективе решающий главные проблемы бытия народа, и тот согласился на него, поддержал и принял его к осуществлению.

Крайним же выражением антинациональной политики «Романовых», а по сути предательства

ими высших интересов России стало ввязывание страны в Первую мировую, поистине империалистическую войну в качестве «пушечного мяса» Антанты, западных ростовщиков-заимодавцев, своих хоть сколько-нибудь истинных, жизненно важных целей и причин на то не имея. То есть, по Тютчеву, чтобы в который раз «служить подкладкой» чужих и чуждых интересов, влезая вдобавок в огромные дополнительные долги перед «союзниками» и неся в ней беспримерные человеческие и территориальные потери.

К раскрученной накануне её военной истерии в стране, кстати, вдруг как по команде подключилось большинство российских газет (какие сам же Меньшиков в открытую называл «еврейскими» и считал сугубо антирусскими), поднявших нежданно-негаданно прямо-таки ура-патриотический вой в поддержку войны «за Царя, за Отечество»... На этот раз ему, видно, не хватило проницательности понять, что команда-то была из всё тех же недр Антанты (как, впрочем, и на убийство эрцгерцога в Сараево) с целью втянуть русских в эту бойню, и сам он тоже увлёкся воинственной риторикой «войны до победного конца»...

Все эти факторы вместе и предопределили закономерный во многом крах царизма и самой Империи. И нынешние попытки навязать некий религиозно-публичный культ последнего царя по меньшей мере антиисторичны и противоречат всему огромному массиву данных, документальных свидетельств слабости, неукоренённости в народе этой лже-романовской династии и её неспособности работать на истинное благо нации и страны. Простительно даже, что нынешние радетели монархизма сочли «исконной-посконной», автохтонной и безальтернативной колониальную администрацию «Романовых»: достаточных целенаправленных исследований этого феномена в нашей исторической науке действительно нет, опереться в ней особо не на что, и заблуждаться на этот счёт можно, наверное, вполне искренне. Но поражает, как они, радетели, бесчувственны, по-барски пренебрежительны к многовековым тяготам и издевательствам, к полнейшему бесправию большинства нашего народа, крестьянства и работного люда вообще. Понятно, что не радетелей же этих продавали оптом и в розницу, и что — простите за грубость — не их матерей заставляли откармливать грудью легавых щенков...

Куда как показательно, что белогвардейское дворянство так и не почувствовало, не признало никакой исторической вины своей во всём происшедшем, считая себя жертвой «взбунтовавшегося хама», сваливая все грехи свои и огрехи на народные низы и тем пытаясь оправдывать свой «социальный расизм» (С. Кара-Мурза), что так нагляден, например,

в «Окаянных днях» И.А. Бунина... Похожим образом ведут себя и «ревнители» Николая II, вынося за некие скобки все его «вольныя и невольныя» проступки и прямые преступления как несущественные, — за какие такие скобки? Своего беспамятства и равнодушия, своего монархического ража? И требуют не менее чем «всенародного покаяния» перед ним — в унисон, кстати, с «либеральной» люмпен-интеллигенцией, требующей того же и за всё семидесятилетие советской власти.

Между тем, поспешная и под давлением отнюдь не церковных кругов канонизация его вызывает немало вопросов и сомнений, уж очень явны политиканские причины или, если хотите, «мотивы вины» Ельцина, сравнявшего с землёй Ипатьевский дом, и церковных верхов, помнящих о торопливом отречении иерархов РПЦ от своего «помазанника». И более чем убедительна позиция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, а с ним и митрополита Нижегородского Николая, что, по слову последнего, «сбежавший под юбку Александры Фёдоровны» и тем самым предавший страну бывший царь никак не может встать рядом со святыми Александром Невским и Дмитрием Донским...

Всё это говорит не только о том, что исторические уроки этими властными, околовластными и просто «любительскими» кругами никак не выучены. Симптоматичная смычка «поклонских» монархистов и прозападной «либерасни» впрямую работает на интересы россиянской олигархии, которую вполне бы устроило, как вариант, «самодержавие» романовского толка с его разнузданной свободой корысти, рвачества, нещадной эксплуатации людских и природных ресурсов России.

Ко всему прочему, приходится делать вывод, что «хрустобулочники», рьяные почитатели «России, которую мы потеряли», если и читали, то, похоже, очень поверхностно «святую русскую литературу» (Т. Манн), в том числе второго-третьего ряда от Радищева до Писемского и братьев Успенских. Она, горькая и родная, и является полным «сводом доказательств» того, что в двух статьях моих лишь обозначено как предмет дальнейших исследований и трезвого осмысления всеми, кто неравнодушен к поискам правды в нашей сложнейшей истории.

Иван ВЕНЕВЦЕВ

УРАЛ – БЫСТРА РЕКА*

Роман

Иван Степанович Веневцев (1896-1974) родился в посёлке Благословенском станицы Оренбургской (современное село Благословенка Оренбургского района Оренбургской области). Вместе со старшим братом Василием вступил в войско атамана Дутова. После разгрома белой армии был осуждён на два года тюрьмы, затем, в 1941-м на полтора года, и в 1943-м – за антисоветскую агитацию – на 10 лет. В Карагандинском исправительно-трудовом лагере написал автобиографический роман с авторским названием «Михаил Веренцов». В 1960 году был реабилитирован. Скончался в пос. Долинка, месте своего поселения, так и не повидавшись с родиной. Журнальный вариант романа мы публикуем в литературной обработке Валерия Кузнецова.

4

К следующему приезду Дмитрия из Оренбурга Мишка выздоровел и вполне мог ездить на коне. Дмитрий приехал верхом. Красивый конь был под новым, казачьим седлом. Брат собрался покататься с Мишкой по степям. Они вдвоём выехали в поле. Ехали и шагом, и рысью, скакали в карьер, разговаривали, подшучивая друг над другом, несколько раз вели коней в поводу. Мишка обсуждал с братом приёмы джигитовки, которых показать пока не мог по нездоровью. Дмитрию все эти номера были известны ещё с действительной службы, он их отработал в учебной команде, иначе его не выпустили бы урядником...

Они выехали на возвышенность. Внизу виднелись камыши и тростники, с обеих сторон обступившие речку Бердянку. За ними расстилалась равнина,

---

* Продолжение. Начало в журналах «Гостиный Дворъ» № 3, 4

усеянная юртами — группами и по одной. Меж юртами мелкие, чёрные точки, как будто рассыпан мак. Это пасся скот.

Вдалеке дымилась юрта Кулумгарея. Мишка остановил коня, сам по себе повернулся и конь Дмитрия. Мишка указал нагайкой в сторону киргизских далей:

— Смотри, Митя, какая красота. Всё поле — сплошное селенье, все трубы салютуют дымами по утрам. Ты ведь давно не ездил к ним, не говорил с ними. Давай поедем. Здесь кибитка Кулумгарея. Помнишь, ездил к нам со старой женой, а теперь женился на другой, та у него, кажется, умерла.

Дмитрий о чём-то думал, он как будто очнулся ото сна, сказал:

— Ну всё равно, давай поедем поскорее.

Они перешли на рысь и скоро по вязкому броду переехали Бердянку.

Дмитрий хорошо говорил по-киргизски, любил гостить в аулах, принимать у себя, умел даже сидеть на полу, по-киргизски складывая ноги. Не только в первом, но и во втором, и в третьем аулах знали Дмитрия и любили его за казачью лихость и знание их языка.

От Бердянки долго ехали молча, каждый думал о своём.

— Митя, расскажи, как теперь управляется наша империя, лучше или хуже будет без царя? — нарушил молчание Мишка. — Говорят, законы изменятся, а как изменятся — я не знаю.

Дмитрий усмехнулся, он не знал, что ответить. Офицеров не посвящали в тайны политики, считали это вредным для них.

— Когда пойдёшь на службу, сам всё узнаешь, а я сейчас ничего тебе не скажу, я сам ни черта не знаю. Другому бы я этого не сказал, постыдился бы, а тебе вот говорю, — признался Дмитрий. — У нас всё сейчас так замкнуто, что в десять раз хуже, чем у рядовых. Там говорят обо всём открыто, а у нас о самых обыкновенных вещах говорят шёпотом. Для нас, казачьих офицеров, вновь испечённых капризами войны, настало время свободной неволи и невольной свободы. То есть свободно и дёшево мы получили эту неволю, называемую свободой, и невольно получили свободу, которой абсолютно не добивались и не имели в ней никакой нужды... О государственном аппарате я знаю только то, что вначале был комитет, во главе которого стоял Родзянко, а потом — Временное правительство, возглавляемое князем Львовым. После июльских событий правительство возглавляет Керенский. Вот и всё. В правительстве постоянные трения и разногласия. Что до царя, то без него дело может пойти гораздо лучше, чем при нём, если в правительстве будет единодушие...

— Я ездил в город, — сказал Мишка, — там на каждом переулке митингуют. Влазит какой-нибудь

сморчок на мусорный ящик или на кадушку и кричит во все стороны, как петух на плетне. А когда его столкнут, то он опять лезет и опять кричит. Какой-то тип в мещанской шапчонке кричал во всё горло: «Только Учредительное собрание спасёт страну, а это правительство не хочет вводить реформы, долой это правительство». Его схватили, куда-то потащили, а на его место залез другой. Я ушёл, конь не дал мне послушать — боится толпы. Но вот какие реформы, в чём они состоят, я не знаю.

Дмитрий обещал объяснить брату об этом дома, так как уже подъезжали к юрте.

Кулумгарей давно заметил всадников, приложил руку ко лбу, старался определить — русские это или киргизы. Когда он понял, что это русские едут со своей степи, он позвал Балкуныс, та бросила месить лепёшки на сале, которые пекла пресными на жару, вложив между двумя сковородами. Она вышла из юрты, когда всадники были в версте. Балкуныс бросилась назад в юрту с криком: «Мишка, Мишка!» Восторга своего она не скрывала. Да разве Кулумгарей будет обижаться на то, что она любит Мишку? И иногда сидит с ним наедине? Ведь Кулумгарей и сам не меньше Балкуныс любит его, всегда бывает очень рад его приезду. Да и как не любить его? Кто может его не любить?

Она вбежала в юрту и стала приводить себя в порядок, забыв о лепёшках.

Радуясь приезду Мишки, Кулумгарей знал, что жена неравнодушна к этому юноше. Он был бы рад, если бы и жену любил такой хороший русский джигит, он бы гордился этим... Зачем он будет мешать их любви? Они молодые, пусть забавляются. Ведь Балкуныс не видит в жизни никакой отрады. Да и если есть между ними какое молодое дело, оно не разрушит их семью. Балкуныс заслуживает радость...

Навстречу Мишке Кулумгарей шёл с протянутыми руками, а когда узнал Дмитрия, прибавил шагу.

— Митька, Митька, сапсем гаспадинь остался! Сапсем здрастуй, пожалуста, Митька! Сапсем, пожалуста, джигит!..

Затянутая в офицерский мундир фигура Дмитрия поразила Кулумгарея. Светлые погоны подчёркивали красивое лицо под аккуратной фуражкой с голубым околышем и офицерской фарфоровой кокардой. Тёмно-синего кастора[1] с широкими голубыми лампасами брюки были забраны в светлые шевровые сапоги, облегающие ноги, как чулки. Братья как будто соревновались в красоте и грации. Если бы не Балкуныс, Кулумгарею никогда бы в жизни не видеть у себя таких гостей.

Балкуныс никогда не видела и не знала Дмитрия, но по лицу

определила, что это — Мишкин старший брат.

Казаки спрыгнули с коней, Дмитрий прошёл в юрту, а Мишка повёл коня к коновязи. Кулумгарей тянул Мишку за руку в юрту, как будто боялся, что он уедет обратно.

С нагайкой, надетой на руку, Дмитрий вошёл в юрту, часто произнося киргизские слова. Он перешагнул через ребро доски, изображающей порог, заговорил по-русски:

— Ого, Кулумгарей, когда же это и где ты нашёл себе такую жену? Это же ведь твоя жена, если не ошибаюсь? Ну вот, — Дмитрий вышел из юрты, кричал Мишке: — Иди сюда, Миша, посмотри, что Кулумгарей имеет.

— Да я знаю, видел уже несколько раз, — ответил тот.

Дмитрий опять вошёл в юрту.

— Мой марджа сапсем джигит, — с гордостью говорил Кулумгарей, — мой марджа сапсем Мишку любит.

Дмитрий поинтересовался:

— Так кто же кого любит, я не понял: марджа Мишку или наоборот?

И тут же перешёл на киргизский язык. Дмитрий говорил и смеялся. Балкуныс живо ему отвечала.

Смеялся и Кулумгарей. Наконец хохочущая, покрасневшая от стыда и радости Балкуныс пулей вылетела из юрты.

Мишка медлил, не входя в юрту. Он догадывался, что брат говорит с этой проказницей о нём.

Кулумгарей вышел из юрты, взял Мишку за руку, тянул к Дмитрию.

Тот с улыбкой спросил:

— Я думаю, ты в восхищении? Ну ладно, дело не моё. А где же эта звезда? — И стал звать её сквозь стену юрты.

Балкуныс вошла, закрыв лицо руками, смеялась, потом села к Дмитрию спиной. Постепенно успокоилась.

Дмитрий сказал, обращаясь к брату:

— Да если эту сдобнушку ввести в культурное общество, она и без косметики такое произведёт впечатление, что городские красавицы от зависти губы покусают. Ты заметь, они очень быстро приобретают восхитительную грацию. Я знаю в Оренбурге одну татарку Валидову, от неё все наши офицеры с ума сходят. Ну а эта перещеголяет ту.

Чай ещё не выпили, а Балкуныс уже начала варить мясо для бешбармака.

Гости собрались было уезжать, но Кулумгарей заявил, что сейчас будет готов обед, не угостив которым, он отпустить гостей не может. Пришлось остаться...

Никогда Балкуныс не была в таком расположении духа, как сейчас. Она бегала, всему радовалась.

Когда казаки поехали, она долго шла рядом с конём Дмитрия, держась за уздечку. Кулумгарей стоял около юрты,

махал рукой гостям, а потом ушёл в юрту.

Обратно Балкуныс шла спиной к юрте, не отрываясь, смотрела на отъезжающих...

— Ну как ты себя чувствуешь? — спросил Дмитрий брата.

— Откровенно говоря, Митя, мне не хотелось уезжать так скоро...

— Вот что, Миша, — энергично сказал Дмитрий, — ты должен будешь приехать ко мне в Оренбург. Тяте я сегодня скажу, что ты мне там нужен, и он отпустит. Свожу тебя в офицерское собрание, познакомлю с некоторыми офицерами, это тебе нужно будет... Да, — вернулся он к Балкуныс, — эта способна закружить голову. Я посмотрел на неё — просто прелесть. А ты знаешь, каких-нибудь лет сто назад мы и они были бы самые непримиримые... Мы бы сейчас не разъезжали вот так по их полям, а сидели где-нибудь с кремневыми ружьями в камышах около Бердянки и караулили бы вот таких Кулумгареев. Он нас сегодня так радушно угощал. Не боялся. А тогда ведь сколько они нашего брата, вот как ты да я, на тот свет спровадили, у-у-у, не пересчитать. А теперь многие из наших казаков с ними большие дела делают: и торговые, и скотоводческие, и не обижаются на них. Да, без сомнения, они очень хорошие люди; простые, гостеприимные, у них хитрости нет. Они мне очень нравятся, я от них, кроме хорошего, ничего не видел.

У Веренцова двора братьев ожидали, их общество любили — шутников, песенников и танцоров. Мишка же, кроме всего, прекрасно играл на гармошке, без которой веселье — не веселье.

И снова всё завертелось колесом в этот вечер. А на рассвете Дмитрия Степановича проводили в город, не укладывая спать...

5

Мишка ещё спал. Мать подошла к кровати и сообщила, что к ним на квартиру поставлен какой-то молодой казачий офицер. Сейчас он ушёл в правление, сказал, скоро придёт.

Вскоре на пороге появился обмундированный с иголочки хорунжий.

Из глубины зала Мишка шёл ему навстречу. Офицер приостановился, в упор посмотрел на Мишку, подавая руку: «Саша Ситников».

— А какой вы станицы? — представившись, спросил Мишка.

— Станицы Бердской.

— Так вы, наверное, знаете моего брата, Веренцова Дмитрия? Он до августа прошлого года обучал казаков в вашей станице.

— Ох, нет, я только что окончил юнкерское училище. В прошлом году и перед этим два года домой не ездил, не пускали, — сказал Ситников.

— А по какому делу приехали? — поинтересовался Мишка.

— Проверить кое-какие данные по выборам в Учредительное собрание. Хотя эта кампания

будет проводиться только в ноябре, подготовка уже ведётся...

Ситников и Веренцов понравились друг другу. Расставаться не хотелось, и они пошли в рощу пробовать два новых револьвера, привезённых хорунжим.

— Я замечаю, вы женатый? — обронил Ситников.

— Да, обкруженный, — усмехнулся Мишка.

— Какая легкомысленность! Жаль. Образование имеете?

— Экстерном готовился за шесть классов гимназии. Экзамена ещё не держал. Экзаменатор советует не беспокоиться.

— Я уверен, что в осенний набор вас примут в наше юнкерское училище. Ну а что женат... время военное...

— Это же обещает мне и брат. Я вчера был у него в Оренбурге, ходили с ним к атаману отдела — тот осмотрел меня со всех сторон, как коня на базаре, и сказал, что пропустит в юнкерское. А потом стали с братом что-то шёпотом разговаривать.

Приятели возвращались домой берегом Урала. У самой кручи стояла пожилая дама, из городских, и пристально вглядывалась в них, а когда они прошли мимо, пошла вслед. Около своих ворот Мишка невольно оглянулся: дама остановилась и подала ему какой-то знак.

«Мать Гали!» У него часто застучало в груди: он жестом попросил её обождать, а сам, проводив Ситникова в дом, вернулся на берег. Дама, застывшая в неловкой улыбке, ждала.

— Вы не Галечкина ли мама? — с неожиданным для себя радостным волнением спросил Мишка.

Дама утвердительно кивнула головой и движением руки попросила идти с ней:

— Вы тот, кого мне хочется видеть?.. — полувопросительно-полуутвердительно сказала она.

— Я Веренцов Михаил, вы не ошиблись.

— Во-первых, здравствуй, Миша, во-вторых, привет от Гали, в-третьих, привет от Бориса Васильевича, в-четвёртых, это вот тебе, — она подала Мишке свёрток.

Мишку ошеломило это доверительное обращение барыни на «ты».

— Вот что, Миша, я завтра уеду, я здесь уже четыре дня. И видела тебя уже три раза. Видела твою маму в церкви, даже беседовала с ней. Хотелось увидеть папу, но не удалось. Если верить тому, что мы читаем в твоих письмах, то обстоятельства нас вынудят в рождественские каникулы перебраться в Оренбург. Галя уже договорилась о переводе с первого января в оренбургскую гимназию. Оренбург мне понравился, и мы не возражаем против решения Гали.

— То, что я пишу вам, это далеко не всё, что хочется сказать, — медленно и твёрдо говорил Мишка. — Я слов на ветер не бросаю, да и нет причин

отказываться от Гали, если, конечно, она не откажется от меня. Я прошу вас передать ей вот что: в ноябре я буду держать экзамен в юнкерское училище, уже есть согласие атамана отдела. И в знаниях своих я уверен.

Они пошли по крутому берегу Урала. Обычно живая, энергичная Мария Павловна сейчас молчала. Молчал и Мишка, переживая нахлынувшее прошлое. Но вот Мишкина спутница вобрала его долгим, испытующим взглядом:

— Ну, хватит, Миша. Иди домой... Не забывай Галю... Если так получилось... И так решили.

Мишка, в душе удивляясь себе, поцеловал Марии Павловне руку:

— Прощайте.

На следующий день Мария Павловна уехала домой, в Калугу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

События совершались своим чередом.

Ввиду некоторых политических соображений Дмитрий Степанович в ноябре не рекомендовал брату держать экзамен. Он приезжал в дом отца грустный, взволнованный, задумчивый. В Оренбурге начались беспорядки. Писал с фронта брат Пётр, что русские солдаты отказываются идти в наступление, что лозунг Керенского «Война до победного конца» фронтовиками не поддерживается, что этому лозунгу противопоставляется другой: «Мир без аннексий и контрибуций, долой войну, вся власть Советам», что русские братаются с немцами и австрийцами, что керенское наступление поддержано одними только женскими батальонами, сформированными в семнадцатом году под названием «Батальоны смерти». Когда эти батальоны пошли в наступление и прорвали три линии неприятельских окопов, то русские солдаты не только не оказали им помощи, но и обстреляли из пулемётов с тыла и фланга. «Батальоны смерти», попавшие под перекрёстный огонь, были скошены, как трава. Верховная ставка разбилась на несколько течений, а бежавший из австрийского плена генерал Корнилов с какой-то группой войск двигается на Петроград. На Дону образовалось какое-то самостоятельное правительство...

Мишка ничего не понимал в этих запутанных событиях, и не было человека, который разъяснил бы ему всё это.

В начале октября в станицу приехал казачий офицер, назвавшийся Чундеевым, на Мишку он произвёл невыгодное впечатление — не то что Саша Ситников, который так и стоял в глазах. Чундеев привёз множество листовок с крупно отпечатанными номерами, означающими различные партии.

На собрании, где присутствовали, к великому удивлению

всех, даже женщины, Чундеев объяснил, что казакам нужно голосовать за номер второй:

— Этот номер наш, казачий, нашей отдельной партии. Мы посылаем на Учредительное собрание генерального штаба генерала, атамана Оренбургского казачьего войска Александра Ильича Дутова.

Повторив несколько раз «номер второй», Чундеев предостерёг:

— Если уж кто ошибётся и вместо второго номера проголосует за какой-либо другой номер, то всё ещё не так страшно. Но если проголосует за номер восемь!.. Этот номер самый вредный для нас, этот номер — большевистский. А большевики — это такие люди, которые хотят уничтожить казачество, уничтожить церкви, уничтожить религию, уничтожить частную собственность и семейность. Ну, в общем, чтобы все жили на одном дворе и в одном бараке, мужчины — отдельно, женщины — отдельно, и чтобы никто не знал своих детей и супружества; чтобы всё было общее: жёны, дети, одежда, пища и прочее...

Многие хохотали, некоторые задавали такие вопросы о распределении жён, что докладчик на них не отвечал, а задавший вопрос прятался за других. Некоторые женщины, закрыв лицо руками, бегом бежали с собрания домой, а некоторые в сенях, во дворе пережидали, когда перестанут об этом говорить.

Мужчины как будто ждали такого собрания, чтобы досыта насмеяться.

— Ну, башлыки[2], молодцы, — кричали некоторые, — они знают нашу нужду. Мне бабу давно уж сменить надо, подносилась, холера... Вот раздолье-то будет.

— Нет, мы не жалам, на черта вы нужны, старые черти, — шутили молодые, — меняться будем. Чур, каждый к своей пойдёт.

Чундеев призывал к порядку станичников, отвлёкшихся от основного вопроса, потом провёл голосование.

За некоторыми убежавшими женщинами ходили на дом по два-три раза.

Как ни предостерегал Чундеев от восьмого номера, а в результате подсчёта голосов оказалось, что семь человек проголосовали за этот номер. И двое — за анархистов. Чундеев уехал...

2

Тем временем австро-германский и турецкий фронты рассыпались. Всё чаще стали возвращаться оттуда казаки. Приходили они как бы крадучись, долго не появлялись на улицах, стыдились. Вновь появившегося старики высмеивали, иронически спрашивали: «Ну что, отвоевался? Сколько орудий сменял немцам на табак? Вояки, навоевали, вашу мать...» — сплёвывая со злостью в сторону, отходил старик, не прощаясь, а встречался — не здоровался. Бежали казаки и в одиночку, и группами. Бежали

и из-под Петрограда, разбитые в армии Корнилова Петроградским гарнизоном, бежали из гвардейских частей и из «доблестного, непобедимого» 4-го Оренбургского казачьего полка.

Пробывших более трёх лет на передовых позициях, поседевших, постаревших, чудом спасшихся от смерти родных и знакомых встречали недружелюбно. Даже ближайшие родственники не только не устраивали никаких встреч, но и разговаривали с ними насмешливо, укоряюще.

Если сосед лукаво спрашивал: «Никак сынка, кум, дождался с фронта?» — тот отрицал новость, а сыну запрещал появляться на улице, и сын никуда не ходил, даже к тёще в гости, чтобы не засмеяли из-за него и отца...

Заметно было, что фронтовики всем были противны, станица разбилась на два лагеря: на стариков, к которым примкнули молодые, не служившие в армии, — на одной стороне и фронтовых людей — на другой. Офицеры и антибольшевистски настроенные фронтовики поддерживали стариков.

Уже шёпотом стали передавать друг другу, что со стороны Самары какие-то большевики идут на Оренбург, и фронт прошёл уже Бузулук. Большевики идут уничтожать казаков под дугу. А казаки из Оренбургского гарнизона против большевиков не идут. Фронт держат только офицеры, кадеты, гимназисты да реалисты. Со всего видно, что нам, казакам, приходит конец за то, что мы всегда в огонь и воду лезем, защищаем Россию, а большевики-то ведь за немцев, у них солдаты — только евреи да каторжники. А ихние главари от немцев деньги получили, чтобы Россию ослабить, ну а они и ещё грабят.

Грань меж домашними и фронтовиками тем более резко обнажалась ещё и потому, что большинство пришедших с фронта были, как говорили, большевистски настроены. Они говорили, что при переходе через фронт, около Бузулука, большевики их радушно встретили, накормили и сказали: «Если хотите, то вступайте в наши ряды, будем вместе у буржуев и офицеров брать Оренбург, а не хотите, ступайте через фронт домой под честное слово, что не присоединитесь к белым против нас». «А когда мы им ответили, что война уже надоела, ни к кому присоединяться не будем, кроме как к своей бабе, то большевики посмеялись и нас отпустили, тепло попрощавшись».

Фронтовики уверяли, что большевики совсем не собираются уничтожать казачество, кроме помещиков да фабрикантов, передав их богатство народу, то есть фабрики и заводы — рабочим, а земли, леса и все недра — крестьянам, что трудовой казак или крестьянин не рассматривается «эксплуататором», против которого только и идут большевики, что солдаты у них не евреи и каторжники, а чисто русские

— фронтовики или рабочие и крестьяне, вошедшие в Красную гвардию добровольно.

— Ни чёрта не пойму, — говорил сосед Веренцова, — сын пришёл с фронта, дак расхвалил этих самых башлаков чёрте как, инды пальцы оближешь, а зять пришёл — на все корочки их чепушит, что я уж хочу вилы брать, да бежать на Оренбургский фронт, Дутову помогать. И сын врать не будет, и зятю я всегда верю. Вот теперь как хочешь, Степан Андреевич, так и рассуждай.

— А я никому не верю, как только одному сыну Мите, — печально заключал Веренцов. — Он умный, рассудительный, это каждый скажет. Он прямо говорит, что большевики — шарлатаны, обманщики, вруны. Они всё отберут и у богатых, и до бедных доберутся, и никому ничего не дадут. Они, как змеи, извиваются, а политика у них: ограбить, расстрелять. Казаков они как чёрт ладан ненавидят. Сперва, может быть, и отпустят подпруги, а потом как подтянут, что задохнёшься. Вот и весь сказ.

— Ну уж я теперь ни ялды не пойму, — безнадёжно махнув рукой, уходил от Веренцова сосед.

Перед самым Рождеством народ шёпотом передавал друг другу новость: ночью, когда стихает шум, в северо-западном направлении от Оренбурга слышны орудийные выстрелы. В газете прошло сообщение о том, что фронт уже около станции Платовка. Через несколько дней выстрелы можно было слышать и днём.

3

Мишка подходил к дому. В прихожей горел свет. Мишка вошёл в избу и увидел беседовавших стариков: отца и свата. Вначале старики смутились, но Мишка, догадавшись о теме разговора, вставил несколько замечаний о Дутовском фронте. Тогда Степан Андреич подал знак свату.

— Дак вот, Степан Андреич, — продолжал сват, — я своими мозгами так думаю: не может быть, чтобы эти башлаки так делали, как нам про них говорят в городе купчишки. Им ведь, сват, никак нельзя верить. Они боятся, что у них магазины отберут, а нам с тобой чего бояться? Ведь у нас магазинов-то нет.

— Нет, сват, ты сам уж совсем, я вижу, в башлаки записался, — заметил, смеясь, Веренцов, — я уж как-то немного рад, как ты станешь так говорить, будто и на сердце не так тяжело. Что правда, то правда, казаки не должны бояться, ну а всё-таки, сват, я боюсь. Как ни утешай себя, сват, но они несут горе.

— Да нет, ничего, что будет, то будет, — махнув рукой, встал сват. — Ну, я засиделся, пойду, наверно, уж часа два есть. Мы вчера у нашего Василия сидели чуть не до петухов. И всё про это, и всё про это. Где ни послушаешь — всё про этих башлаков

проклятых. Ни дна им, не покрышки. Ну, прощевайте!

— Вот что, сынок, время нехорошее настаёт, — сказал вкрадчиво Степан Андреевич, как только за сватом закрылась дверь, — сколько ни утешай себя, а я прямо скажу, что много будет горя. Коня надо подкармливать. Тебя могут, как с полки, сразу выдернуть на фронт. А на фронте для казака конь — это всё. Конь может жизнь спасти и может жизнь погубить. Теперь твою верховку запрягать не будем, пусть гуляет. Может быть, ей с тобой вместе много горюшка придётся хватить... Вот Митя у меня как камень на сердце лежит. Где он теперь, милый мой сыночек, мой красавец, может быть, и живого уж нет. Вот сейчас сват говорил, что он от надёжного человека слышал в городе, что Митя на фронте под Бузулуком кадетами и гимназистами командует, а они, говорят, все молодые, прямо мальчишки. Ну что с них возьмёшь? Ты сам посуди. Но вот Митя, наверное, во все опасные места сам и лезет. Ох, Боже мой, Боже мой. Ведь только подумать, о нём уж третью неделю ничего не слышно...

Мишка вышел во двор, дал коню овса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

На первый день Рождества, когда всё было приготовлено к празднованию, обедня началась, как всегда рано, как будто для того, чтобы не отнимать день у веселья. В этом случае дня всегда не хватает.

Церковь битком набита народом. Если в последние годы собирались лишь женщины да старики, то теперь в станице появилось много казаков средних лет, много их пришло сегодня сюда, некоторые в военной форме с крестами до полного банта и с медалями.

В церкви уже царили какое-то успокоение и радость.

Несмотря на то, что женщинам полагалось быть врозь с мужчинами, жёны прибывших с фронта не хотели отдаляться, стояли рядом с мужьями, как под венцом. Будто чувствовало сердце, что скоро придётся расставаться вновь.

Детишки цеплялись со всех сторон за руки отцов, беспрерывно заглядывая в глаза родителям. Свои казались красивей и милей всех других. На друзей-счастливцев завистливо смотрели не дождавшиеся отцов. Таких было немало, их милых родителей оплакивали мамы, когда появлялся в станице новый «походный», прижимали к себе головки своих малюток, причитывали горькие, душераздирающие слова...

В храме прошло движение. Фронтовики и старики передавали шёпотом какую-то весть. Лица грустнели и строжали. Каждый хотел скорейшего окончания обедни. Люди переминались с

ноги на ногу, беспокойно оглядывались по сторонам.

Наконец стали прикладываться к кресту, после чего в обычное время поздравляли друг друга, предварительно приглашали в гости, хотя после обеда каждый посылал за гостями специального гонца. Но сейчас не до гостей было тревожным жителям.

У церковной ограды собиралась толпа вокруг остановившегося там атамана. Он ждал, когда все выйдут из церкви.

Атаман взошёл на крыльцо церковной сторожки, указал жестом казакам обождать. В ожидании приговора не уходили и казачки. Атаман снял шапку, в волнении перекладывал её из одной руки в другую.

— Господа старики, — сказал он, — как вам всем известно о фронте, который уже почти у стен нашей казачьей столицы Оренбурга, вчера, 24 декабря, фронт продвинулся ещё ближе. Большевики идут напролом, им скорее хочется овладеть городом, разграбить церковное добро, надругаться над религией, надругаться над нашими жёнами и детьми, а нас уничтожить. Истинные сыны Родины и казачества истекают кровью на Оренбургском фронте, они отстаивают каждую пядь казачьей земли от озверелых банд красных большевиков. Наш славный атаман Александр Ильич, генерал Дутов[3], передал просьбу всем верным нашим сынам и братьям: взять меч и встать на защиту нашего казачества, на защиту Оренбурга. Повторяю, лучшие наши сыны истекают кровью, — он взглянул на строгое лицо Степана Андреевича, имея в виду Дмитрия на фронте, — они просят вашей помощи. Так вот, станичники, сегодня, как только разговеетесь, все мужчины, способные носить оружие, в ком бьётся кровь казака, собирайтесь к правлению и поедем в город, в распоряжение нашего войскового начальства. Атаман Дутов сегодня на фронте, его замещает другой, он скажет, что нам делать: на фронт идти или пошлёт нас домой. А долг нами будет выполнен. Сейчас разговляйтесь и скорее седлайте коней.

В некоторых рядах шептались, почти все фронтовики без слов направлялись домой. Их жёны кричали: «Пусть повоюют те, которые не воевали, наши навоевались».

Старики шли домой хмурые, злились на фронтовиков, которые, как видно, не хотели помогать Дутову. Желание стариков помочь своему атаману поддерживала всегда воинственно настроенная молодёжь, пока вокруг не свистели пули, быстро гасящие пыл храбрости.

В это Рождество из-за прибывших с фронта близких, с которыми не виделись более трёх лет, нужно было ожидать сумасшедшего празднования, но после обеда не слышно было не только песен, но даже гармошек — всегдашнего начала веселья вольной, беззаботной молодёжи. Всех

захватила невзгода, все чувствовали надвигавшуюся катастрофу, не знали только, какую.

Через час после обеда к станичному правлению стали съезжаться подводы, больше на санях по трое-четверо казаков. Добровольцы — слишком зрелые и слишком молодые. За редким исключением фронтовое казачество не поехало.

Фронтовики сидели в хатах, пили самогон, на улицу не показывались. Было грустно, печально, жутко. С фронта доносились частые, глухие орудийные выстрелы. Станица казалась полумёртвой.

2

Нескончаемая вереница саней и верховых направилась к Оренбургу. Через два часа колонна въехала в город, заворачивая к правлению первого округа Оренбургского казачьего войска. Там получили предписание разместиться в пустом здании духовной семинарии и ждать распоряжений. Вся орава ввалилась в одну из огромных комнат, где и началась попойка по случаю праздника Рождества.

Помещение понемногу наполнилось песнями и плясками, потом стали мазать друг друга сажей, распоряжений же всё не было. Войсковое начальство, видимо, забыло о поступившем подкреплении из Благословенной или уверилось, что всякая помощь теперь бесполезна. Почти весь отряд был без оружия. Вооружены были лишь те, у кого в хозяйстве оказалась винтовка, полученная с фронта от родственника.

Мишке было не до смеха. Он всё думал о Дмитрии. Ему казалось, что это он там, на фронте, около станции Гамалеевка, стоит у орудия и стреляет — голодный, озябший, похудевший, обросший. Когда слышались выстрелы, Мишке хотелось бежать туда, сменить брата, встать на его место, дать ему отдохнуть, научиться стрелять самому, научиться быть офицером, научиться воевать. Хотелось, чтобы Митя был здесь, вместе с другими, чтобы видеть его веселье, слушать его шутки. Но Мити нет и будет ли он вообще когда-либо... Слёзы подступали к горлу, Мишке хотелось плакать, он сидел в углу, смотрел на всех и ничего не видел.

Отряд решил вторично послать представителей к войсковому начальству, чтобы договориться о месте на фронте и вооружении.

Заметно уже было, что приехавшие на помощь Дутову в такой великий день пьянства заскучали по своим домам и не находили ничего приятней, как ускользнуть сейчас восвояси. С таким настроением и отправилась делегация. Не дожидаясь её, некоторые стали потихоньку запрягать коней и под предлогом съездить напоить их удирали домой, беспрерывно оглядываясь, как бы не увидели их «военный пыл».

Вернувшиеся делегаты объявили, что они поскандалили с начальством из-за вооружения, и сказали, что колонна помогать фронту не будет и сейчас уедет домой.

Не дослушав их до конца, бравые вояки во всю мочь закричали: «Домой, домой!» — и бросились к коням.

Через несколько минут все в несколько рядов скакали по улицам Форштадта к выезду на свою дорогу. Горе встретившимся с этой дикой скачкой людям, животным — всё попиралось в прах. Исступлённо кричали и ругались с теми, кто появился на пути и мешал ездить людям, проливающим кровь...

Мишка был недоволен таким оборотом дела. Сегодняшний случай, по его мнению, был сорван оставшимися дома фронтовиками.

Это они, мерзкие, сдружившиеся на германском фронте с большевиками, не дали возможности Мишке быть в сформированном сегодня полку, это они не хотят помогать брату Мите, с которым Мишка мечтал встретиться на фронте. Злой, убитый горем, он не заехал даже к сестре, а тихо, нога за ногу, поехал по дороге к своему дому в станицу, но ехал будто не домой, а из дома.

Надвигались сумерки. На полпути он увидел скачущих навстречу пьяных на двух санях. Они громко, беззаботно пели и балагурили. Подъехав вплотную, во всё горло закричали: «Миша, Миша, садись с нами, поедем назад в город, гулять!» Схватили Мишкиного коня за повод. Мишка молчал, испытующе смотрел на сельчан, наконец спросил, почему они не поехали на призыв Дутова. Те ответили, что они от большевиков не намерены отстреливаться ничем, кроме, как вот этой штукой — и показали бутылку с самогоном. Мишка побледнел, демонстративно вырвал повод коня и поскакал по дороге к станице.

Друзья долго смотрели Мишке вслед, а потом молча сели в сани и без песен, как-то стеснённо, тихо поехали своей дорогой в гости. Им была понятна Мишкина злость, как понятно и то, что теперь придётся иметь неприятности со всеми Веренцовыми...

3

В ночь под пятнадцатое января украдкой приехал домой Дмитрий. Дома ему сказали, что с фронта вернулся брат Пётр, живёт с женой у отца. Пока никуда не ходит, видно, стыдится людей.

Небритый, осунувшийся, с диким, затравленным взглядом, Дмитрий рано утром, когда было ещё темно, пошёл к отцу. Его не видели уже шесть недель. Степан Андреевич жарко здоровался с сыном. Только от него он мог узнать настоящую правду. Неведение личного будущего, положения казачества грызло Степана Андреевича с тех пор, как стал доноситься грохот орудийных выстрелов — с тех пор

Веренцов не знал покоя. Он несколько раз ездил в город, чтобы от хороших людей узнать, что делается на фронте, что ожидает казаков, если большевики займут Оренбург. «Хорошие знакомые» — купец Илья Петрович Ефимов и есаул Василий Петрович Прытков — рисовали самыми чёрными красками картины, если город будет сдан большевикам. Но положение на фронте Платовка—Гамалеевка—Новосергиевка, мол, не так уж и безнадёжно. Если бы вы, казаки, взялись дружно, то, мол, Оренбурга большевикам как ушей своих не видать.

Из Оренбурга Степан Андреевич приезжал чернее тучи, отказывался от еды, от самогона. Он знал, что Митя на фронте отстаивает родной город от каких-то пришельцев, которые хотят казачество уничтожить, скотину согнать на один двор, сундуки вытряхнуть в один амбар, всех баб в один дом, мужчин — в другой, ребятишек — в третий, и все эти дома закрыть на замки и отгородить друг от друга колючей проволокой.

Степан Андреевич был рад, что сын Митя держит Оренбургский фронт. Если бы ему сказали, что сын убит, то отец весь век гордился бы этим — мол, сын погиб за безопасность и непоруганность отца и матери, жены и детей, казачества и религии. Погиб за такое дело, за которое никто ещё в истории не погибал.

От пришедшего с фронта среднего сына он ничего толком не добился. Пётр стал расхваливать большевиков и успокаивать отца так, что Степан Андреевич больше расстроился. Теперь он чувствовал, что сшит с обеих сторон, как иглами: с одной стороны — печаль о старшем сыне, с другой — злоба на среднего, который не беспокоится за казачество, превратившись на германском фронте в большевика. Теперь утешения ждать только от Мити.

И вот сегодня рано утром, внезапно он увидел своего сына, Митю, на пороге родного дома. Отец чуть не до слёз обрадовался этому милому, дорогому гостю, будто не рассчитывал уже встретиться с ним. Приближение выстрелов означало, что большевики движутся к Оренбургу, а раз так, то они, может быть, уже перешагнули через труп сына. Ведь не такой Дмитрий, чтобы отступать, не таковы Веренцовы.

Но вот Митя на пороге дома. Отец недоумевающе смотрит на сына, радость смешалась с испугом. Измученный вид Дмитрия кольнул отца в самое сердце. Степан Андреевич долго не мог выговорить ни слова, смотрел на улыбающегося, не проходившего вперёд от порога сына. Дмитрий мял в руках заиневевшую офицерскую папаху, потом тихо сказал:

— Здравствуй, тятя! Здравствуй, мама!

— Здравствуй, милый мой сыночек! — тихо заплакала Елена Степановна.

— Здравствуй, Митя! — тихо,

чуть не шёпотом, сквозь слёзы сказал Степан Андреевич, озираясь по сторонам, будто их разговор могли подслушать. — Ну как же, сынок, эти большаки, идут, штоль? — спросил он.

— Да как же они не будут идти, если никто не хочет защищать наш родной казачий Оренбург? Вот эти оборванцы-то, вроде нашего Петра, бегут с фронта: и тот бросили, и на этом воевать не хотят. Даже офицеры не идут против них, этих красных. Эти офицерики, из родовитых семей... Пришли к нам на позицию, дали им участок, а они воткнули винтовки в снег и ушли в Оренбург. Да я бы на них на всех одного кадета или гимназиста, которыми командовал, не поменял. Вот как они поддались агитации большевиков. А те пройдут, всё равно с них шкуру спустят, сегодня или завтра большевики будут в Оренбурге.

— Боже мой, Боже мой! Ведь они же, сыночек, побьют вас, постреляют, — тихо голосила мать.

Пришибленный, разбитый, разом ослабший Степан Андреевич сел на нары, опустил бороду на грудь.

Дмитрий был жесток, зол, неумолим. Как видно, не на одном десятке красногвардейских голов он уже пробовал свою шашку и револьвер-кольт и теперь чувствовал надвигающуюся расплату — глаза были дикие, страшные, озирающиеся.

— Уж видно, что Бог даст, — сказал он, — будем на Бога надеяться. А где же этот вояка-то, там, в той избе, штоль? — спросил он родителей. Степан Андреевич утвердительно кивнул головой и махнул рукой в сторону горницы с другим ходом, через коридор. Дмитрий криво усмехнулся и быстро, решительно вышел из комнаты.

Мишка лежал на кровати, ему не хотелось вставать, хотелось понежиться — помогать отцу по двору выходил в эти дни Пётр. Тот в это время уже собирался, а его жена оделась помогать Елене Степановне.

Дмитрий вошёл в горницу, не взглянув в сторону Петра и его жены, равнодушно сказал: «Здравствуйте» — и прошёл вперёд.

Услыхав голос Дмитрия, Мишка вскочил, перешагнул через Наташу, торопливо оделся на полу около кровати в спальне, наблюдая за Дмитрием сквозь стеклянные двери.

Дмитрий прошёл два раза поперёк зала, стал смотреть на давно известные ему фотокарточки, как будто видел их в первый раз. С братом Петром он будто виделся только вчера и поговорить с ним было не о чем.

Наконец со злобой, дрожащим голосом Дмитрий спросил:

— Ну как дела, братан? Как же вы это фронт бросили?

— Да я с фронта-то и так чуть не последний ушёл, — тихо, с расстановкой ответил Пётр.

— Ну, а Оренбург, свой родной город, почему не хотел защищать?

— От кого защищать? Здесь ни германцев, ни австрийцев нет.

— Как «от кого»? А эти супостаты-то идут, враги человечества? — спросил брат.

— Какие враги? — иронически, с улыбкой говорил Пётр. — Они нам не враги. Они враги буржуям, золотым и серебряным погонам. Пусть защищает тот, кто порохового дыма не нюхал, да тот, против чьих интересов большевики, а я не буржуй и не офицер...

Напряжённые за последнее время нервы кидали Дмитрия на все стороны, ноги дрожали, рот кривился в язвительную гримасу, он ходил по комнате, не мог говорить, несколько раз хватался за бок, где всегда был кольт, злился, что оставил его дома — он сейчас бы разделался с братом.

— Подлецы, негодяи, кто так думает, и ты подлец, негодяй, мерзавец, изменник. Проснётесь, мерзавцы, но будет поздно. Нас выбьют, пострелляют, это я знаю наверняка, но и вам, негодяям, тем более, казакам, житья не будет, и вас уничтожат. Вы — предатели, вы предаёте нас, своих братьев, предаёте казачество, предаёте самих себя, — дрожащим голосом говорил Дмитрий. — Миша! Где ты там? Я к тебе пришёл, мой милый брат, я соскучился о тебе, ты у меня один брат остался, наш брат нас покинул, предал нас, он передался нашим врагам.

Пётр продолжал невозмутимо одеваться и улыбаться.

Мишка негодовал на брата Петра. Он, как и всегда, поддерживал Дмитрия. Он выскочил из спальни, крепко обнял брата. Они несколько раз расцеловались. Дмитрий долго держал Мишку в объятиях.

— Миша, может быть, в последний раз видимся, — сказал Дмитрий, — уберёшь скот, приходи ко мне — там выпьем, поговорим кое о чём.

Пётр прошёл мимо них во двор.

В крепкий узел завязалась меж кровными братьями тяжкая рознь. Катастрофу нужно было ожидать со дня на день...

Отец, Пётр и Мишка ходили по двору, молчали. Чувствовалось непоправимое.

4

Через два дня приехавший из города сосед, не отпрягая коня, робко вошёл во двор Веренцовых, прошёл в дальний сарай к Степану Андреевичу и дрогнувшим голосом сообщил, что вчера в Оренбург вступили большевики. Веренцов побледнел, деревянная лопата выпала из рук. Новость сейчас же передали Дмитрию, и он в ту же ночь выехал.

Позднее Степана Андреевича уведомили, что его сын около Орска вместе с атаманом Дутовым.

Весть о занятии Оренбурга Пётр встретил совершенно равнодушно. О Дмитрии ему не сообщили.

Несколько дней казаки ближайших к городу посёлков и

станиц не ездили с продажей в город, а посылали своих жён:

— Ты там всё разузнай: посмотри, какие они, правда ли, что все они русские или какие нехристи, как говорят. Съезди к собору и к монастырю, посмотри, не закрыли ли эти храмы Божии да не сняли ли кресты. Да не вздумай сказать, что ты казачка, а то они живо загонят на общий двор, наделаш тогда делов, язви те. Ну, поезжай с Богом, — провожая, напутствовал муж.

Вступившие в Оренбург советские части почти ничем не отличались от самых обыкновенных, всем известных солдат русской армии. Красногвардейцы в большинстве своём были те же солдаты с австро-венгерского фронта. И лишь когда Красная гвардия стала пополняться местными жителями, появились люди в штатской одежде с винтовками вперемешку с солдатами-фронтовиками. Они ходили по городу, несли какую-то внутреннюю службу.

В оренбургской печати замелькали фамилии нового городского начальства: Каргины[4], Кобозев[5], Коростелёв[6], Цвиллинг[7].

Ни новые власти, ни войска из города не выезжали, поэтому станицы и посёлки жили обособленной от него жизнью. По предложению фронтовиков в некоторых казачьих станицах были образованы комитеты во главе с председателями, в некоторых — сельские советы, в третьих — избраны атаманы из бедных, в четвёртых — и атаманы, и председатели, в пятых — ни председателя, ни атамана, ждали директив из города. В общем, получилась неразбериха, трудно было понять, где какая власть.

Вернувшиеся из города женщины говорили, что там всё спокойно, никто не спрашивает проезжающих, откуда он, казак или не казак, будто власть не менялась.

Благословенцы тоже решили переизбрать атамана. Прежний — из зажиточных — сам требовал того.

— На сходку идите, атамана выбирать! — кричали огнёвщики[8]...

В школе, где уже привыкли собираться, было как в пчелином улье. Шутки, смех, острые слова по адресу некоторых, впервые появившихся на казачьих сходках женщин, казалось, не переслушать за неделю.

Темой разговора и острот опять-таки был вопрос об общих дворах для женщин и мужчин. Наконец у стола встал атаман, призывая к порядку и тишине, которая никак не могла водвориться среди бушевавшей толпы.

— Господа старики! — с обычных слов начал атаман. — Большаки бедным людям велят управлять казаками, а богатых, что ни на есть, к чёртовой матери. Я уж боюсь в город ехать, чтобы там ухо не приклеили, язви их в рожу. Дак вот, надо атамана какого победнее выбрать. Вот и давайте, кого хотите.

— А может, они и тебе вязы не свернут, останься, а? — кричали с парт. — Они только, говорят, генералов да помещиков, да купцов из шкуры вытряхивают, им черева выпускают, а казаков, бытты, не трогают, можа, послужишь? А?

— Нет-нет, господа старики, ради Бога, ослобоните, у меня и так инда рубашка трясётся, не могу, не останусь.

— Ну кого же, господа старики? Давайте, раз уж так просят. Сильничать человека не надо, — сказал кто-то.

Сидящие за партами стали группами советоваться о кандидатуре и тут же вступали в спор меж собой или с тем, кого выдвигали. Из-за парты встал казак, выступление которого всегда считали авторитетным.

— Моё мнение такое, — сказал он, — надо и атамана, и председателя сделать. Если Дутов приедет, то мы атамана подсунем, а если большаки явятся да скажут: «А ну, покажь нам свою власть на селе», то мы атамана-то спрячем, а покажем председателя. А?

— Нет, нет, не жалам так, — кричали от порога, — ежели у нас будет атаман, большаки ничего не скажут, мы скажем, что не знали, что к чему и как. А вот ежели Дутов с Митрием Веренцовым нагрянут, да прихватят нас с эфтим присядателем, то мы и требухой не разделаемся. Вот как.

— Знамо, знамо так, — кричали с мест, — не жалам двух. С чеблаками-то ишша как-нибудь докалякаемся, а уж ежели Дутов, то хоть сёводни в поминанье записывайся.

Со всех сторон кричали: «Правильно!» Первого оратора никто не поддержал. Не менее часа атаман сидел за столом, ждал, когда люди успокоятся и остановятся на ком-либо, но некоторые уклонились от основного вопроса, перешли на другую тему и скалили зубы с разомлевшими от жары и стыда бабами, не успевшими сбежать домой. Атаман уж было задремал, но вскочил, стукнул кулачищем по столу и заорал во весь бас так, что все притихли, как в зверинце, когда заревёт лев:

— Дак вы что, холеры, дождусь я вас альбо нет? Вы дело делать альбо зубы скалить? Вы чё, сёдни дрыхнуть не хотите? До третьих петухов ошшеряться будете?

Встал за партой один пожилой казак. Все повернули к нему головы.

— Моё мнение, — сказал он, — надо Митрия Титыча атаманом посадить. — Он показал пальцем на красивого мужчину с чёрной как смоль бородой.

Тот злобно блеснул угольными глазами на непрошеного избирателя и отвернулся в сторону, шептал ругательства.

— Митрий Титыч не жалат, — заметил кто-то.

— Выберем, дак будет служить, никуда не денется, — поправил его сосед.

— Ну тогда ево, так ево. Титыча! Титыча! — кричали со всех

сторон. — Знамо, хороший мужчина, хороший атаман будет, кого ещё искать? Жалам ево, он славный казак, вот только водку почти не пьёт, вот это как-то не того, — смеялись некоторые.

— Чёрт с ним, научится, под старость пригодится и это, — говорили другие.

Всё школьное помещение снова гудело. Некоторые уже опять перешли к вопросу об общих дворах и кричали, что, мол, нужно выбирать здорового и красивого атамана на случай, не дай Бог, если когда-нибудь придётся ему, бедняжке, одному отдуваться за всех на общем бабском дворе. Шутники знали, что Титович не любил пригреваться около женщин, поэтому старались подчеркнуть, что, мол, и этому ремеслу необходимо научиться новому атаману, язви ево.

Едва ли в таких случаях считались с несогласием избираемого, сход постановил — и закон, но Дмитрий Титович всё-таки встал, поднял руку, потом опустил её, снял обеими руками треух, повернул голову направо и налево: чёрные кудри упали на чистый лоб; шапку он держал перед собой.

— Дак вы чё, господа старики, — мать-перемать, — крепко и спокойно ругался Титыч, — вы чё, трибуналу меня отдать хотите? Да разве можно в едыкое время служить? Вы чё, хрен вам в лёбры, с ума сошли?

— А чё особенного? Ну не понравится, дак кинешь эфту работу, другова выберем, — кричали с мест, — а может, башлыки-то ничего, вон сказывают, они тоже хорошие ребята. Соглашайся, Митрий! Ну не супротивничай, Титыч, тебя ведь всем обчеством просим! Ну пожалей нас, чёрта бы тебе в зубы!

— Ну ладно, заткнитесь! Чё разорались? — согласился кандидат. — А уж если в случае чё, то тогда и в правление из дому не пойду, сами управляйтесь.

— Ну, то-то и оно, давно бы так, вот и спасибо, — кричали ему, — ха-ха-ха, поманили ево опчим бабьим двором, сразу согласился, вишь, сидит и облизыватца. Кому не захотится на бабах-то покататца — кааажному.

С дальнего ряда кто-то громко крикнул: «Титыч! Ты смотри, если моя баба попадётца, дак ты не сильно жми, пожалей — кума жа!» — Поднялся оглушительный хохот. Новый атаман смеялся, грозил кулаком в сторону друзей-насмешников...

Начался магарыч. Задымились самогонные аппараты, подставляли рты под капающий самогон, ложась на спину. «Обмывали» нового атамана. А через неделю, проспавшись, Титыч поехал в город. Вечером вернулся обратно и, не отпрягая коня, быстрыми шагами пошёл в станичное правление.

Через час школа была полна народом, собранным туда на какой-то позарез экстренный сход.

Обеими руками поднял атаман лежавшие на столе карандаш,

ручку и лист бумаги, посмотрел на все стороны, запальчиво сказал: «Вот вам хомут и дуга, я вам больше не слуга, пошли от меня к протакой...» — надел треух, невозмутимо ушёл домой.

Свистели, смеялись, кричали ему вслед, но атаманить всё же пришлось старому атаману, законному, утверждённому войсковым кругом.

5

Вскоре после прихода Красной гвардии в Оренбург Мишка с матерью собрались туда с продажей, чтобы посмотреть большевиков. Степан Андреевич энергично уговаривал сына не ездить, пусть, мол, немножко успокоится время, зачем лезть на рожон — недолго пропасть.

— Мишка, ведь тебя любой узнает, что ты казак: и по шапке, и по рылу, и кушак у тебя голубой, — уговаривал отец. — А разве долго им тебя к стенке поставить? Если они идут против казаков, как говорят, что они всех казаков хотят уничтожить, то им когда-никогда, а убивать нас надо, — жалобно, с болью говорил постаревший за эти дни отец. Мишка отмахивался, не слушал, собирался. Веренцов шептал жене, чтобы она там не отпускала Мишку никуда.

— Возьми вон лучше Петра, он наденет свою шинель, ну, солдат, да и только, — уговаривал Степан Андреевич — да он и говорить-то с ними знат как. А этот ведь дурак дураком, тут же насупротив попрёт. Как тогда: я же был виноват, пьяный городовому оглоблей в спину заехал, а когда городовой назвал меня пьяной харей, он стал с городовым драться. А потом ускакали на Деевскую площадь.

В городе, на зелёном базаре Мишка увидел группу вооружённых людей в военной и гражданской одежде с винтовками, карабинами и охотничьими ружьями. Мишка подбежал поближе. Их было восемь человек, направлялись они по Инженерной улице. Мишка поравнялся с ними, стал заглядывать сбоку в лица. Военные обратили внимание, как видно, такое было не впервые.

— Ну и этот смотрит, как на волков, — заметил один.

— Это правда, — сказал Мишка, — я для этого и из деревни приехал, чтобы посмотреть и передать там о вас. А то там всякое говорят.

Красногвардейцы приостановились, шутили с Мишкой. Они ему понравились, не казались опасными. Он вернулся к бледной матери весёлый и довольный. А дома рассказал об этом только своим семейным, с посторонними не делился, чтобы не посчитали «большевицки настроенным»...

Отъехавшие из ближайших к городу станиц жители стали потихоньку, робко возвращаться домой. Через неделю вернулся и Дмитрий Веренцов.

Подавленное вначале настроение стариков теперь повеселело, подбадривалось фронтовиками,

уверявшими, что они были правы, говоря: большевиков бояться не нужно, с ними можно жить так же, как и при любой власти. По просьбе старого атамана он всё же был заменён, на всякий случай, более бедным. Всё пошло хорошо.

Офицеры и казаки, энергично выступавшие на собраниях против большевиков или боровшиеся с ними на Дутовском фронте, стеснялись ходить по улице. Дмитрий Степанович избегал встречи с братом Петром — неудобно было за недавнюю ссору. Офицеры станицы говорили меж собой: «Если бы большевики нам простили и призвали в армию, с удовольствием бы к ним пошли. Ведь нам здесь делать нечего, мы — военные, хозяйства у нас нет. Пошёл бы к ним даже и Дутов, один бы он без нас не остался. Оказывается, большевики совсем не такие, как нам говорили, и как мы думали сами». Но некоторые уверяли: «Подпруги нам отпустили временно — их скоро подтянут»... То же доказывал и Дмитрий Веренцов.

Из Оренбурга вдруг поступила директива: атамана быть не должно, выбрать председателя. Это озадачило станичников, стали собираться группами, шептаться: сперва, мол, атамана не надо, а потом и нас всех под спуд. Фронтовики уже советовались со стариками и офицерами: «А не на самом ли деле так получится, что казачество ликвидируют?»

Шёпотом вдруг стали передавать друг другу: в Оренбурге расстреляли казачьего генерала Хлебникова. А он якобы совсем и не воевал против большевиков на Оренбургском фронте. Вот что они сделали, такие-сякие, ругались казаки.

Но всё это забылось бы. Ну, расстреляли ведь генерала, а не казака... Но как гром при ясном небе: разрушена статуя казака в Оренбурге на Форштадтской площади — казак на коне в полном боевом вооружении выехал на пригорок, всматриваясь в даль.

Это событие встряхнуло всех. Рушились радужные ожидания совместной, мирной жизни с большевиками. Засобирались, зашептались злобно: «Казака не надо, разломали, разбросали, значит, им всех нас не надо? Правду говорили офицеры, что они идут уничтожать нас...»

Офицеры и все противники новой власти повеселели, шутили над фронтовиками: «Ну как, поедем к своим друзьям-большевикам в Оренбург чай пить?» Всколыхнулось казачество, стало сливаться в один дух, рознь как клином вышибло, с часа на час ждали вспышки.

Разрушение статуи, мелочь на первый взгляд, заставило казаков-фронтовиков согласиться с непримиримыми станичниками: молодёжью и стариками, пересмотрели фронтовики свою позицию «не сопротивляться большевикам». Останься она, казачьи

посёлки и станицы, где ведущую роль играли фронтовики, никогда не поддержали бы Дутова, а потом и Колчака.

Вокруг Илецкой Защиты уже шли какие-то бои, но кто с кем дрался, нельзя было понять и проверить — тоже. Лежали глубокие снега. Всё ещё продолжали идти с фронта казаки и солдаты, лояльные к большевикам, но дома их сейчас же разубеждали, и они присоединялись к общему настроению.

Ехавшие с продажей в город мимо разрушенной статуи казаки злобно отворачивались и сплёвывали, как будто видели там призрак разрушителя казачьей традиции. Встретившись в городе с красногвардейцами, скрипели зубами.

Дмитрий стал ходить к отцу. Он уже разговаривал с Петром наедине. Уже и шутили порой. В довершение дружбы стали и выпивать, но политических тем старались не трогать. Дмитрий был уверен, что брат понял своё заблуждение и разделяет его взгляды, а больше ничего не надо, лишь бы, при случае, не оказаться в противных лагерях...

Слухи о том, что верхушка в станицах, возглавляемая офицерами-фронтовиками, разбежавшимися из Оренбурга, агитирует против Советской власти, родили спущенную в сёла и станицы директиву о выдаче всех офицеров и реакционно настроенных. Директива эта окончательно обозлила казаков — они, а с ними и все стали собираться вокруг офицеров и георгиевских кавалеров, в которых теперь видели опору в борьбе с нарушителями их традиций, посягателями на существование казачества.

Набаты и собрания до глубоких ночей чередовались беспрерывно. Горячие велись споры. Приходили к убеждению, что мирно прожить с большевиками не придётся, рано или поздно, а столкновения не миновать, нужно быть настороже и живым в руки не даваться. Офицеров в станице было около десяти. Георгиевские кавалеры, имеющие полные банты, присоединились к ним, а значит, и к их политической участи...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В ночь на двадцать второе марта[9] 1918 года Пётр и Мишка спали на своих постелях. В школе ещё шумело какое-то собрание фронтовиков, куда ни Пётр, ни Мишка не ходили. Около полуночи в горницу из прихожей вбежала Елена Степановна и тревожно принялась будить сыновей:

— Сыночки, вставайте, что-то сильно забили в набат, уж не случилось ли что. Боже мой, Боже мой, ну что это за жизнь настала! Где же теперь Митя-то. Вы ступайте, сыночки, уж поскорей, узнайте — не приехали ли эфти большаки собирать офицеров. Митю-то, Митю скорее найдите,

да скажите ему, чтобы он спрятался!

Мишка и Пётр быстро вскочили, наскоро оделись. Звон большого колокола был такой явственный, как будто звонили во дворе. Братья шли на площадь, волновались, каждый думал о Дмитрии. Пётр теперь признавал своё заблуждение — кровно он обидел тогда старшего брата по своей слепоте...

Около школьного здания столько народа, что казалось: все вышли из домов на площадь. От набата ничего не слышно. У крыльца школы привязаны какие-то чужие, осёдланные, заиневевшие кони. Школьное помещение битком набито народом. Набат прекратился, приехавшие казаки молчали, свои фронтовики стали объяснять собравшимся:

— Станичники, большевики посягают на жизнь казаков, на их неприкосновенность! Расстреляли генерала Хлебникова ни за что, сбили и раскидали статую казака, а теперь уж и за нашими офицерами присылают, с которыми мы в окопах сидели, вшей кормили, нужду и горе пополам делили. И вот они офицеров требуют, чтобы их в городе расстрелять, а за офицерами, скажут, богатеньких давай, а потом георгиевских кавалеров, они тоже у них на горле сидят, а у нас больше половины казаков — кавалеры. Они так никогда не наедятся: овечку сожрут, потом коровку, потом лошадку, а потом и за старухой придут.

Вот верхние станицы идут брать Оренбург, выгонять большевиков и устанавливать там нашу, казачью власть. Отряд казаков верхних станиц движется по Орской дороге, он вступил уже в Нежинку, вот оттуда представители. Мы уже посылали туда своих, они приехали обратно: отряд большой, командует им войсковой старшина Лукин. Он уже выступил на Оренбург, нам надо скорее собираться и ехать туда же.

Толкотня, разговоры, крики, споры сливались в тревожный гул.

— Священника, батюшку, попа давайте, — кричали с разных парт стоящие на них старики, фронтовики, подростки, — молебну служить надо да и ехать!

Кто-то кричал: «Панафиду служить надо», не имея о том понятия.

— Может быть, наши братья в городе уже кровь льют, а мы будем здесь чухаться. Нас и так уже Дутов в большевики записал за то, что отказались на Оренбургский фронт идти, а теперь, если казаки займут город, и мы не поддержим, то нас казаки верхних станиц пострелляют, как изменников, да и следует тогда стрелять.

За священником побежало человек двадцать. Мишка и Пётр увидели Дмитрия с офицером Крыльцовым, они о чём-то вполголоса беседовали. Веренцовы, как будто целую вечность не видели брата, кинулись к нему.

— Ну что здесь творится, куда собираются казаки? — задали братья в сотый раз слышанный и известный уже всем вопрос.

— Да вот видите, собираются ехать Оренбург брать, — ласково, по-братски, но без радости и жара ответил Дмитрий. Крыльцов стоял в стороне, курил и молчал. Видно было, что они только что разговаривали об этом.

Дмитрий объяснил братьям положение в Нежинке и решение благословенцев поддержать атакующих город. Подчеркнул, что, мол, наше дело — повиноваться и ехать, чтобы не оказаться изменниками и не понести кару, если атакующие овладеют Оренбургом. На вопрос братьев, можно ли ожидать положительного исхода всей этой затеи, Дмитрий, не стесняясь Крыльцова, ответил:

— Нет. Хотя этот проект исходит от самого атамана Дутова, но я и вот Алексей не разделяем его.

Тем временем с улицы на площадь табуном высыпала толпа. Тянули за руку и толкали в спину упирающегося, протирающего сонные глаза попа. Тянули его к школе, а он уговаривал толпу зайти в церковь, чтобы взять там необходимые принадлежности, без которых не полагается отправлять богослужение. Необыкновенное шествие время от времени останавливалось, происходила торговля: те — звали к школе, этот — к церкви.

— Время военное, а ты будешь там по церквам расхаживаться, а там тебя тысяча человек ждут. В башлыки, штоль, с этих пор записался, язви те в лёбры, не хочешь нам эти свои панафиды служить?

Несколько человек подбежали к атаману:

— Господин атаман! Да поп там упёрся на углу как бык, и тянет нас в церкву. Тут надо скорее, а он какие-то там потрохили хочет собрать.

— Я ему вот, сукину сыну, дам потрохили. Насекайте ему под бока да тащите прямо суды, — распорядился атаман.

Через минуту толпа с попом подступила к школе. Несмотря на отсутствие епитрахили, тот на ходу загорланил: «Благословен Бог наш», и служба началась.

С хохотом Пётр и Мишка пошли домой собираться к отъезду, как будто они ехали куда-то в гости.

2

Каждый казачий двор имел какое-то оружие. Все четыре года войны с фронта слали родным оружие противника: австрийские и германские винтовки, карабины, револьверы. А когда фронт рухнул, многие возвратившиеся принесли русские трёхлинейные винтовки. Как будто чувствовали, что оружие пригодится, да не знали, что оно принесёт горе и нужду, страдание, смерть. В довершение всего атаман Дутов, эвакуируя Оренбург, раздал населению оружие из городских оружейных складов. Веренцовы тоже были вооружены.

Елена Степановна приготовила сыновьям поесть, старалась побольше натолкать каждому в карман сдобнушек.

— Ладно, пусть пост, Бог простит. Это у меня от Масленицы осталось, — говорила она. — Ну а как же вы там, аль воевать придётся? Ну а Митя-то что говорит?

— Митя твой, наверное, трусит, — заметил Пётр, — я уж вижу, что ему хоть бы и не ехать, дак он был бы рад. Кто бы ему власть отвоевал, а он бы погоны прицепил да приехал в город. Ну а может быть, он знает, что ни черта не выйдет, его ведь сам чёрт не поймёт.

Елене Степановне не нравились такие отношения между сыновьями. Какая-то кошка всё-таки пробежала меж ними, как говорила она. Но Пётр уже не был в раздоре с братом, а только заподозрил его в трусости, сам полностью поддерживая набег на Оренбург.

Мишка, как всегда, защищал Дмитрия:

— Ну уж ты не дури, —- сказал он Петру, — твой ум да моих два едва дотянут до Митина ума: что он сказал, так и будет.

— Да, оно, пожалуй, действительно так, — согласился Пётр.

Братья вышли на улицу, остановились, прислушались: из Оренбурга отчётливо доносилась дробь двух-трёх пулемётов и отдельные винтовочные выстрелы. Братья дуплетом выстрелили из двух винтовок вверх и пошли на площадь. Там уже тянулись подводы одна за другой. Каждые сани битком набиты казаками всех возрастов — от внуков до дедов. Со всех сторон кричали Верецовым, звали к себе в сани. Братья отговаривались: «Да у нас там свой конь запряжён, туда идём к нему» — выбирали, с кем бы веселее ехать.

Дмитрия не было нигде. Как оказалось после, он далеко опередил их. Пётр и Мишка расселись на разные сани.

Дорогой Пётр несколько раз соскакивал со своих саней, разыскивал Мишку. Он всякий раз просил брата не отбиваться друг от друга в городе — на случай ранения или окружения. Вкусивший все прелести войны, Пётр знал, куда они едут и что их там ожидает.

А из Оренбурга всё чаще и явственнее доносилась стрельба. Встречались по дороге люди, не казаки, они ехали в свои сёла и хутора домой, мирно и равнодушно смотрели на эту войну русских с русскими. Роняли, что в Оренбург едва ли нужно ехать, город уже весь занят казаками. Но из перестрелки следовало, что овладение городом далеко не закончено.

Опасения и предостережения брата Мишка считал излишними. Никого, мол, там не окружат и не ранят, всё это чепуха, просто Петя струсил, и всё. Большевики, наверное, уже все убежали из города, а стреляют просто им вдогонку, думал он.

Положение же в Оренбурге было таково. Организованный по заданию Дутова набег планировал атаку города с трёх сторон — от станиц Нежинской, Сакмарской и Павловской. Все станицы и посёлки были уведомлены своевременно и секретно. Станице же Благословенной открывать намерение набега не рекомендовалось, она считалась большевистски настроенной, могла выдать секрет и сорвать дело. Поэтому её уведомили только тогда, когда отряд со стороны Нежинской уже выступил в направлении на город, то есть около двенадцати ночи. Посылая депешу в Благословенную, командующий правобережной группировкой войсковой старшина Лукин строго приказал проследить за поведением благословенцев на собрании: примут ли предложение о поддержке. Обо всём немедленно докладывать ему, Лукину.

Отряд из Нежинки выступил на Оренбург. Уже в дороге Лукин получил несколько донесений: «Благословенная согласна поддержать набег»; «Благословенная собирается к выступлению»; «В Благословенной на площади идёт молебен о даровании победы»; «Она выступила».

Точного времени набега Оренбург не знал, но всё ж был уведомлён об этом. Ночами в двух верстах за Форштадтом выставлялся усиленный караул на Нежинскую дорогу.

Отряд Лукина остановился верстах в пяти-семи от Форштадта — вперёд были посланы сани с огромной плетёной корзиной для подвозки мякины. В ней, покрытой брезентом и не привязанной к саням, сидели вооружённые казаки, сбоку около коня шёл казак, как бы везя в город продажу.

Каждого проезжающего караул останавливал и обыскивал. Сани с плетёнкой поравнялись с постовой землянкой. Из неё — в тридцати шагах от дороги — вышли шестеро, и, бряцая в темноте оружием, направились к саням.

— Что везёшь?

— Мякину![10]

Караул подошёл к саням вплотную, чтобы заглянуть в плетёнку. Через мгновенье он полёг весь — зарубленный, зарезанный, задушенный выскочившими казаками. В землянке уничтожили без выстрела остальных.

Подъехал отряд, торопливо двинулись к городу. В первых кварталах Форштадта беспощадно уничтожили штаб караулов для связи с центром города. Вот Форштадт уже позади — оставленные там казаки шныряют по домам, ищут большевиков и сочувствующих.

Главные силы отряда проникли в город. Преодолев слабое сопротивление красноармейских частей в Форштадте, казаки ринулись в городской центр. Смерть хватала всех без разбора...

3

Колонна из Благословенной въехала в город уже часов в десять утра. На площади, отделяющей

Форштадт от города, пахло пороховым дымом, кровью — там лежали убитые и раненые, их было очень много. Некоторые из них бесчеловечно изрублены, другие просили о помощи. Кто они, понять нельзя: красные или белые, просто ли городские обыватели. Почти все в штатской одежде, все русские.

Мишка спрыгнул с саней, побежал смотреть убитых, первый раз в жизни он видел их. Колонна остановилась около здания Оренбургской станицы. Подъехал верхом на коне Лукин, поблагодарил за поддержку.

Без всякой команды казаки группами уходили в глубину города, откуда раздавались оглушительные выстрелы.

Пётр и Мишка держались вместе в группе человек из двадцати. Их подвели к зданию семинарии, приказали стрелять в окна с середины улицы. От выстрелов некоторые стёкла вылетали вовнутрь, в некоторых пуля сверлила дыру, как буравом. Из здания никто не отвечал, оно было пусто. Группа направилась дальше. Встретились незнакомые казаки, гнавшие пленных «большевиков». Мишка пристально смотрел на пленных, он увидел таких же, как и он сам, людей. Казак из Мишкиной группы вышел вперёд, подняв руку, остановил конвой, вывел за руку одного пленного, конвойным же сказал:

— Я этого типа знаю, он казак линейных станиц, я с ним служил вместе, он — ярый большевик. Этих ведите, а он будет рассчитываться здесь.

Конвой подал знак пленным следовать дальше, а обречённый на смерть большевик остался. Казак-белый деловито-равнодушно, без запальчивости воткнул штык ему в бок, как в чучело на учении. Штык вышел на четверть из другого бока.

В предсмертной агонии раненый судорожно схватился за ствол винтовки и тихо повалился на бок. Убийца вырвал винтовку. Упавший вниз лицом раненый потянулся и повернулся с живота на бок. Из толпы вышел казак с большой рыжей бородой, добивая, выстрелил в лежащего. Тот тряхнулся всем телом и потянулся в последний раз. Группа направилась дальше, а казак-большевик остался лежать на снегу большой птицей, убитой так, мимоходом — пробуя ружьё или проверяя меткость.

В первый раз Мишка видел, как люди встречают смерть, которую, может быть, не ждали и полчаса назад, а днём раньше — тем более. Тогда человек собирался жить много лет, строил планы, хотел любить, быть любимым... Мишка ещё раз оглянулся на бездыханный труп. «Ах, так вот оно что, — думал он, — вот как убивают, вот как умирают. Оказывается, и то, и другое так просто и так легко, что напрасно так много ведут разговоров о жизни и о том, как лучше устроить её. А ведь подумать только: чик — и жизни нет. Или хвороба какая

вязы человеку свернёт, или люди помогут, вот и собирайся долго жить, да ещё — хорошо жить. В общем, надо беречь жизнь другого, её защищать от смерти, это легче, чем уберечь свою, за неё не удержишься, когда люди захотят этого. А вот делается как-то наоборот: каждый старается уничтожить другого и гибнет сам»... Мишка шёл и упорно думал о том, что так потрясло его.

Зашли в какой-то двор казармы, там помещалась военная часть, теперь отступившая на дальнюю окраину города, откуда неслись звуки выстрелов. Казаки вбежали в казарму, рубили шашками подушки, матрасы, койки.

Мишка, дрожа от какого-то нетерпения, выбежал со двора казармы, побежал дальше, в глубину города, к выстрелам, брата Петра бросил. Нет, ему не нравилась такая война, чтобы встречать пленных и колоть их штыками или рубить брошенные матрасы. Он хотел увидеть войну настоящую, когда противники друг против друга с оружием в руках. Мишка побежал быстрей, чтобы увидеть войну и повоевать. Он оставил позади Николаевскую улицу, толчок. Вот уже Хлебная площадь. Кругом щёлкают выстрелы.

У нападающих казаков на рукавах — белые повязки. Мишка с белым лоскутом на рукаве машинально повернул назад, потом — налево за угол, побежал по Введенской улице к кафедральному собору. Стрельба трещала со всех сторон. Звуки выстрелов схватывались стенами и дворами огромных зданий, отражались ими. Направление звуков так искажалось, что скорее можно было принять их с противоположной стороны.

Мишка уже добежал до угла Введенской и Петропавловской улиц. В окне длинного и низкого углового дома, на карнизе которого вывеска с часами, показалась человеческая фигура, она в волнении махала Мишке рукой, подавала знаки, чтобы он уходил. Мишка остановился, нерешительно повернул и пошёл обратно. Он сделал уже с полста шагов, когда из-за дома, принадлежащего часовому мастеру, выбежали трое с винтовками и дали по Мишке залп. Горячая струя воздуха резанула Мишке по правой щеке и уху, он оглянулся и побежал. В полквартале оглянулся ещё раз: двое стояли на месте, а третий преследовал Мишку и был уже в двадцати шагах. Мишка остановился, злобно сверкнул глазами, вскинул к плечу винтовку. красногвардеец повернул обратно и пошёл — как видно, у него не было патронов. Мишка опустил винтовку и двинулся дальше.

Предупреждение из окна часовщика спасло Мишке жизнь. Его далеко заметили трое красногвардейцев и ждали за углом, чтобы залпом застрелить в упор. Не суждено было Мишке погибнуть на этот раз.

Через квартал ему встретилась женщина.

— Слушай-ка, молодой казачок, сорви белую повязку, здесь кругом красные, — оглядываясь, вкрадчиво сказала она, — сорви-ка поскорее, милок. — Мишка развязал белый платочек, положил в карман. Свернув налево, на Орскую улицу, Мишка увидел двух человек с белыми повязками, они входили в какой-то двор. Мишка нацепил повязку снова и завернул в тот же двор. В его глубине кроме вошедших двух было ещё три казака, они устанавливали к каменной стене шесть человек для расстрела.

Мишка подбежал к ним:

— Что вы делаете, сволочи? — не своим голосом закричал он. — Не смейте стрелять! Смотрите, кого стреляете. Это наши, форштадтские! — Хотя он на самом деле не знал их.

Казаки обалдели, попятились назад, некоторые наставили на него винтовки.

— А ты кто такой? Откуда? — злобно кричали они.

— Пошли скорее со мной, вон там настоящий бой идёт, туда надо, а эти никуда не денутся, если они виноваты, они сзади фронта. А вы, марш отсюда, чего разинули рты, стоите? — закричал он на людей у стены. Двое из них зарыдали от радости, по их лицам градом катились крупные слёзы.

Выйдя из ворот, казаки увидели, что случайно спасшиеся побежали в сторону Форштадта, на территорию, занятую казаками.

Мишка с гордостью ещё раз заметил казакам об их оплошности, хотя и сам не знал, как это совпало. Он повёл группу на Гостинодворскую улицу, откуда бежали люди, крича, что там идёт настоящий бой около дома Панкратова. Мишка бросился туда, казаки же отстали и вернулись, все они были не знакомы ему.

На Гостинодворской ничего нельзя было понять: люди толпились группами, стреляли, один выстрел вызывал три-четыре отзвука. Прежде чем стрелять в толпу, спрашивали друг у друга: «Вон это наши или они?» Люди перебегали улицу, падали, тащили раненых. Около угла дома Панкратова толпилось с десяток казаков, они заглядывали за угол и стреляли туда. Мишка тоже подбежал и заглянул за угол: на другом порядке переулка, у ворот какого-то дома, также толпилось человек двенадцать, казаки стреляли по ним, а те — по казакам.

Мишкин станичник Бурлуцкий вышел вперёд, за угол, чтобы выстрелить, но винтовка выпала у него из рук, и он упал на спину. Пуля попала в бровь и вышла в затылок. Мишка забежал за угол, стал стрелять по толпе у ворот. Оттуда часто защёлкали выстрелы, пули впивались в кирпичную стену вокруг Мишки, летели осколки кирпича. Мишка звал в атаку на людей у ворот, но казаки не согласились. Он плюнул, надел винтовку на плечо, торопливо пошагал к Форштадту.

Выйдя на Форштадтскую площадь, он увидел и услышал

движение и стрельбу слева от зелёного базара до монастырских кладбищ. Мишку потянуло туда, он спешил, как будто искал пропавшую красавицу-смерть, но её нигде не было, и у него болело сердце от неудовлетворённого желания. Сердце просило какого-то исцеления, может быть — пули...

Мишка увидел неприятельскую цепь, бегом наступающую по базарной площади, растянутую по Инженерной улице до мусульманских кладбищ и дальше, со стороны кузнечных рядов, наступающую обходным движением по монастырским кладбищам к Форштадту с севера.

4

В начале этой ночи эшелоны красногвардейцев отправились из Оренбурга на фронт к Илецкой Защите — станицы, расположенные по линии Ташкентской железной дороги, восстали против Советской власти и рвались к этому городку, чтобы с его захватом прервать железнодорожное сообщение Оренбурга с Ташкентом.

Эшелоны уже подъезжали к Защите, когда в Оренбургский ревком поступило донесение о набеге и казачьей расправе в бывшем юнкерском училище. Была дана команда о немедленном возвращении эшелонов — в Оренбурге почти не осталось войск. Нёсшие комендантскую службу красноармейцы были поголовно уничтожены в училище.

Часам к десяти утра возвратившиеся части рассыпались по привокзальным улицам и повели наступление к центру города, где и вошли в соприкосновение с казаками, без всякой команды, кучками бегавшими из дома в дом, с улицы на улицу. Казаки считали, что город свободен от войск, и дело только за уничтожением отдельных сопротивляющихся.

Организованными в боевые единицы казаки не были, ехали обозом, на санях, как на базар, а когда разошлись по городу, то другого названья, как банда, им нельзя было дать. Несмотря на то что все офицеры были на стороне казаков, они не могли организовать планомерного удара по городу, почти пустому.

Встретившись с красноармейскими цепями, казаки толпой, табуном побежали назад, как будто не было необходимости драться. Отряды же со стороны Сакмарской и Павловской станиц так опоздали, что подступили к городу только часам к десяти дня, вместо двенадцати ночи, и топтались на месте, пока отряд Лукина был совсем вытеснен из города, — тогда они, как будто только этого и ждали, повернули восвояси, отказавшись атаковать город, хотя их удары по обоим флангам советских цепей имели бы решающее значение...

Когда Мишка увидел наступающие цепи и отстреливающихся казаков, он бросился к центру фронта против мясного базара. Навстречу разрозненными группами бежали отступающие, советские же цепи представляли

правильные линии, за первой цепью следовала вторая. Откуда-то, со стороны вокзала, начало бить по Форштадту, на шрапнель, орудие. Мишке хотелось рассмотреть летевшие где-то в вышине над площадью снаряды, которые рвались сзади, над Форштадтом. Он впервые видел эту картину: белый огромный клубок дыма на месте разорвавшегося снаряда долго висел в воздухе, вниз воронкой летели во все стороны шрапнельные осколки.

От советской цепи щёлкали частые, беспорядочные выстрелы. Пули свистели, разрезая воздух. Сбоку Мишки упал казак на спину — он был мёртв. Мишка узнал в убитом своего сельчанина Колесникова, стал стрелять с колена по цепи. Рядом упал ещё один казак, за ним второй, третий. Правее после отступающих казаков остался раненый, к нему подбежали из советской цепи и два раза в него выстрелили.

Правее Мишки цепь приблизилась на расстоянии не более тридцати шагов. Мишка торопливо стрелял, пока не услышал внятный голос красногвардейца из цепи: «Брось, молодяк, не стреляй!» Мишка на мгновение увидел красивое, добродушное лицо того, в кого он, может быть, несколько раз стрелял, хотел убить. Мишка оглянулся и побежал. Около него никого не было, казаки отбежали уже дальше, чем была неприятельская цепь, они останавливались и стреляли мимо Мишки в противника. Мишка больше не стрелял, как будто добродушное лицо «врага» запретило ему это делать, оно, это лицо, всё ещё стояло у него перед глазами. Мишка пересёк площадь. Сзади, уже не останавливаясь, бежали незнакомые казаки. Цепь неприятеля несколько приотстала. Мишка бежал уже Форштадтом, по Атаманской улице, над головой где-то в вышине с грохотом рвались снаряды, кое-где с форштадтских дворов щёлкали винтовочные выстрелы — видимо, в отмщение за ночной разбой.

Около здания аптеки одновременно с щёлкнувшим сзади выстрелом горячий воздух лизнул Мишку по левой щеке, он качнулся, пошёл шагом, не оглядываясь, рукой пощупал щёку — крови нет. Вспомнил о белой повязке на руке, сорвал её, положил в карман поддёвки. Вот дом сестры. С бледным лицом, в слезах сестра встретила Мишку на пороге.

— Ну как, Мишенька, отступают наши-то? А где же Митя и Петя, живы ли они?

Мишка настолько был расстроен, что не мог говорить. Как будто на него наставили дуло винтовки и сейчас грянет выстрел, хотя и жить-то ему уж как будто не хотелось, всё в жизни было потеряно. Он сдавленно ответил:

— С Петей мы как-то разошлись на Орской улице, а Митю мы видели только когда въехали в Форштадт, утром.

— Ну, давай покушай немножко, красавец ты наш. Очень-то не

расстраивайся, покушаешь и прямо ступай скорее домой, — просила сестра и поставила на стол обед. Мишка глянул на еду, и его затошнило. Было уже два часа дня. Так сильно куда-то рвалось сердце...

— У меня вот есть крендели в кармане, мама ночью наклала, но я не хочу, — сказал Мишка. — Дождусь, что большевики захватят и вместе с тобой расстреляют.

Сестра тоже боялась этого, но брата почему-то не хотела отпускать. Сейчас, как никогда в жизни, ей хотелось смотреть и смотреть на него, чтобы насмотреться досыта, навсегда. Мишка стоял у порога с винтовкой на плече, прислонившись к косяку. Лицо у него было бледное, искажённое, печальное, жалкое. Он тоже старался насмотреться на сестру, но неведомая сила толкала его за дверь. От опасности ли толкала или на опасность, неизвестно. Неведомая до этого пронзительная любовь брата и сестры сказала обоим, что больше они не увидятся.

Пристальнее посмотрев ещё раз на сестру, шатаясь, как пьяный, Мишка вышел во двор. Тихая тёплая погода начавшейся весны теперь дышала холодом, даже снежные сугробы казались ему не белыми, а какими-то серыми, страшными. В квартале от них лопались выстрелы. Мишка вышел на улицу, за ним сестра. Рукой он подал знак, чтобы она вернулась во двор, в безопасное место, сестра повиновалась, он закричал вслед: «Прощай!» — и пошёл от ворот.

Всюду скакали казаки, все направлялись в Форштадт на Нежинскую и Благословенскую дороги. На санях какие-то казаки закричали: «Мишка, Мишка! Попадёшь в лапы, иди скорей!» — но не остановились, проскакали.

Беспорядочная череда отступающих казаков на санях, верховых, пеших, потянулась от Форштадта к Благословенной. А там женщины, старики и подростки со слезами встречали своих родных.

Увидевшие своих живыми и здоровыми радостно бежали за санями, расспрашивали об убитых и раненых.

5

Обливаясь слезами, Елена Степановна стояла за станицей. Слёзы застилали ей глаза, не давали видеть дорогу. Вдали показалась подвода, в ней три человека. На вопрос: «Не видели Мишу?» — те ответили, что в последний раз видели в обед у дома Панкратова, где был убит Бурлуцкий, а потом не видели. Там он два раза выбегал за угол и стрелял в большевиков, а за этот угол нельзя было голову показать. Вот он какой дурной, этот самый ваш Мишка.

Подъехала и ещё одна подвода, казаки сказали, что они из Форштадта выехали последними, за ними вслед вышел какой-то пеший, но его догнали несколько всадников из большевистской

кавалерии и зарубили прямо у них на глазах. Если Мишки всё ещё нет, то не иначе, как это он. Елена Степановна упала в снег лицом и говорила что-то бессвязное. Её подняли, положили на сани, но она быстро очнулась, соскочила с саней и с широко раскрытыми глазами и разведёнными руками, как молодая, побежала по дороге к Оренбургу. Ей теперь хотелось лишь одного: чтобы скорее добежать до убитого сына и чтобы скорее зарубили её рядом с ним.

Сколько она бежала по пустынной дороге, она не помнила и не чувствовала. Сколько раз падала, тоже не знала, у неё были разбиты колени, ладони, лицо. Наконец ей показалось: впереди много точек. Не иначе как кавалерия. Точки двигались навстречу, а потом явственно показались всадники. Она бежала и в исступлении кричала бессвязные слова: то просила или требовала отдать ей сына, то просила убить её, чтобы быть с сыном вместе. Между тем люди, как грозовая туча, двигались к ней. Она упала и потеряла сознание. А когда пришла в себя, то уже ехала на санях, её на руках держал Мишка. Казаков было четверо, они выехали из Форштадта другой дорогой и тоже видели, как кавалеристами был зарублен станичник Храмов Фёдор Михайлович.

Мишку ждали отец и Дмитрий. Пётр был уже около правления, где обсуждался вопрос об организации отряда для самоохраны и защиты, потому что обозлённые большевики могли явиться каждую минуту.

Спорили и судили: кто виноват в провале набега. Из Нежинки сообщили, что там задержали отступающего начальника отряда Лукина — его собираются везти в Оренбург и выдать властям, чтобы смягчить вину казаков.

Поговаривали уже и здесь о выдаче своих офицеров, но большинство доказывали, что офицеры ни при чём, они не только не настаивали на участии в набеге, а наоборот, были против этой затеи. Не надеясь на твёрдость этих доводов, офицеры всё же покинули станицу и уехали вверх по Уралу, к Орску. Там где-то был Дутов.

Часть вторая

ИСХОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Дикая расправа в Оренбурге в ночь на 22 марта 1918 года нависла чёрной тучей над казачеством края. Первый удар советского возмездья должна была принять станица Благословенная как подгородняя.

На Оренбургскую дорогу смотрели как на источник смерти для всей станицы. Хотя на этой дороге стояли посты, все казаки, старые и молодые, спали одетыми. При малейшем стуке

вздрагивали, выбегали на улицу. Жёны просиживали ночи около спящих мужей, слушали, не загудит ли колокольный набат, не застучат ли выстрелы, — чтобы успеть разбудить сонных.

Ожидая нападения, казаки сознавали, что наказывать их есть за что, и большевики это сделают. Но те не шли, не до этого было.

Неотступного внимания требовал Илецкий фронт, где казаки грозили парализовать Ташкентскую магистраль. На их разгром и уничтожение вышел отряд красногвардейцев под командованием Цвиллинга. Он оттеснил казаков от железной дороги на участок Илецкая Защита — Акбулак и преследовал до станицы Изобильной.

Видно было, как отступающие обозы белых потянулись из станицы. Отряд Цвиллинга решил занять Изобильную.

Пустые кварталы поразили могильной тишиной, как будто селенье вымерло. Отряд вступил в станицу. На церковной площади возник митинг.

Вдруг раздался выстрел бомбомёта. Из-за церковной ограды и со дворов ураганом вынеслись казаки — и со всех сторон пошла глухая, яростная расправа и быстро кончилась. Отряд Цвиллинга погиб весь вместе с начальником и штабом...

Расхождение между казаками и советской властью росло с каждым днём. Установить новую власть в станицах и посёлках было невозможно — организованные отряды казаков, подступавшие под самые стены Оренбурга, ежедневно заходили в сёла, истребляя всех причастных к сельским советам. Отряды в казачьих станицах, будто для охраны от большевиков, сами делали налёты на дорогу и на селения, принявшие чужую власть.

2

Уже снег стал проваливаться на дорогах. На Урале лёд посинел, по нему сплошь натаяла вода. В зауральных станицах с нетерпением ждали разлива Урала и оврагов, отделяющих их от Оренбурга.

Если раньше жители Благословенной сетовали на реку, каждую весну преграждавшую путь в город с продажами, то теперь они были рады разливу реки, что хоть на время делало жизнь менее опасной, давая вздохнуть полной грудью, а там, мол, что Бог даст, авось всё забудется, утрясётся, и с большевиками помиримся.

Гора за Уралом на форштадтской степи стала обнажаться, а гора за Бердянкой на киргизской стороне почернела. Урал бурлил жёлтой, как глина, водой. У берегов лёд высоко поднялся синими широкими лентами. Вода блестела, бурлила, лёд ещё стоял, потом со страшным скрежетом стал ломаться и двигаться вместе с водой.

Дорога в Оренбург совсем прервалась, облегчив душу, но из пригородных и находящихся около железной дороги станиц и посёлков приходили далеко не радостные вести. Рассказывали, что большевики сжигают дотла казачьи станицы, а жителей вырезают, что как только половодье кончится, овражки стекут, поля высохнут, красные высадятся из вагонов на Меновом разъезде, что в семи верстах к югу от Оренбурга, и нападут на станицу, о чём в городе открыто говорят.

Надвигалась посевная. В это время всегда весело готовились к посеву: ремонтировали бороны, плуги, сбруи, подсевали на решетах зерно. Табуны уже паслись в поле, вечером хозяева встречали их, а они с диким рёвом носились вокруг станицы и по улицам, пока не набегаются, и приходили домой все в грязи, тяжело дыша, как вволю наигравшиеся дети. Теперь же заготовленные с осени паханые земли уже сохли, местами их можно было боронить, чтобы не упустить время, но туда никто не ехал, даже не готовились к посеву. Скот в табун не выгоняли — боялись, что его захватят большевики. Закрытый дома, он жалобно кричал, разламывал рогами плетни и разваливал стенки сараев.

Когда же кто-нибудь, озираясь, ехал в поле боронить, его зло высмеивали: «Какой рабочий стал! Уж не богатеть ли вздумал? А не думает, что, может быть, завтра башлыки придут да вязы набок свернут сукиному сыну. Уж дрых бы с бабой дома да с неё на городскую дорогу почаще поглядывал!» «Да ведь чо бояться ему обчива двора-то, его бабы на всю енперию хватит», — говорили другие. А тот, если и хотел что-то посеять, вечером гнал вскачь домой, может быть, в последний раз переночевать с женой, которую большевики вот-вот заставят отвести на общий двор.

Настороженность замечали даже у животных — они с тоской смотрели хозяевам в глаза, лизали руки, плечи, головы. Табуны, если робко и выгоняли, то на киргизскую сторону, подальше от Оренбурга.

Не могли понять киргизы возникшей смертельной борьбы между русскими. Они поддерживали борьбу казаков против советской власти потому, что большевиков не видели, не знали их идей. В киргизских аулах отсиживались контрреволюционно настроенные казаки и офицеры, сагитировавшие киргизов на свою сторону...

Как только просохла дорога, к Веренцовым приехал Кулумгарей. Он был печален, похудел. Как и другие киргизы, он вместе с казаками тяжело переживал это время. Он сказал Веренцовой:

— Балкуныс просил твоя на моя кибитка. Там будешь жить.

Бачлык придёт, твоя далеко будет, а Мишка и Степан тада тоже придёт. Так казал мой Балкуныс. Вот вся, собирайся!

Мишке Кулумгарей сказал, что Балкуныс плачет, просит его приехать в гости.

— Што ты, што ты, Кулумгарей, разве можно думать сейчас о гостях? Мы каждый день к смерти готовимся, а ты в гости зовёшь...

Кулумгарей засобирался и быстро распрощался, он боялся долго оставаться в станице.

Внезапно приехал Дмитрий и вечером куда-то ушёл. Жене сказал, что уходит на всю ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Уже более полугода не было связи Калуги с Оренбургом, письма не доходили. Изредка газеты сообщали о событиях под Оренбургом. Говорилось, что банды казаков сковали город непрочным кольцом, которое разрывается при атаках советских частей. Тем не менее связь города с внешним миром парализуется. Атаман Дутов отступил далеко внутрь территории войска и через своих агентов-офицеров руководит организацией белых банд.

Через знакомых москвичей Галя знала, что связь Москвы с Оренбургом, пусть нерегулярная, но есть. Она решила ехать в Москву, чтобы оттуда пробраться в Оренбург, а там до Миши рукой подать — с каждого высокого здания или колокольни видно не только станицу, но и дом Веренцовых на высоком берегу Урала. Галя решила любой ценой перетащить Михаила в Калугу от этой кровавой вакханалии с ежедневными жертвами с обеих сторон.

Родители не разделяли намерений дочери: время неспокойное, отношения их неясны, Михаил женат. Как часто бывает, решил случай. Отца Гали, Бориса Васильевича, арестовали как крупного собственника. Он сумел передать домой записку, в которой беспокоился за судьбу семьи и советовал дочери уехать из Калуги, неплохо, если и в Оренбург, под защиту твёрдой руки атамана Дутова с казаками.

Время отъезда Гали настало. Она наугад послала вперёд письмо — может быть, дойдёт. Она писала: «Мой милый, мой желанный, мой родной, сердце изныло по тебе. От тяжёлых вздохов уже болит грудь. Но не такое сейчас время, чтобы дождаться тебя. Я поеду к тебе, даже если бы сказали, что я погибну. Едва ли ты получишь это письмо, прежде чем я буду уже на месте, если судьба не сведёт в могилу, разлучая с тобой на этом свете. Умирая, буду называть твоё имя. Я не раскаиваюсь, что всё поставила на карту, если и придётся заплатить за это

жизнью, то я её отдам, это не дорого...»

Через день залитая слезами Галя прижала к груди мать и крепко поцеловала в последний раз. В отошедшем поезде она уже не видела, как на вокзале мать отливали водой, отхаживали скипидаром и спиртом...

В Москве Галя попала на сибирский поезд, а в Самаре с огромным трудом удалось упросить старуху-доктора взять её с санитарным поездом, направляющимся на Оренбург. Старушка принялась было убеждать Галю не делать этого, не подвергать себя опасности поездки под Оренбург, где поезд могут захватить казаки, и тогда молодой Гале конец. Но Галя при словах о казаках воодушевилась, сказала, что она — казачка, и если поезд захватят казаки, то не только она сама спасётся, но и спасёт тех, с кем будет ехать. Старушка-доктор с испугом посмотрела на Галю и, попятившись, сказала: «Ну ладно, Бог с тобой, поедем, моя милая красавица».

Обрадованная Галя схватила чемодан и влетела в вагон, заставленный ящиками с медикаментами, около которых суетились доктор-старик и пожилая санитарка. Старушка провела Галю в вагон, представила коллегам как свою знакомую.

Удивлённый доктор попросил Галю пройти вперёд.

— Нина Николаевна, — обратился он к коллеге, — давно вам знакома эта молодая женщина?

— Да... Не так уж давно... Но я её хорошо знаю, — сказала та с запинкой, покраснев и отвернувшись.

— То-то же, а незнакомых брать с собой на территорию военных действий опасно вообще, за это могут жестоко наказать, — заметил доктор. — Вы откуда же и куда едете, если это не секрет? — спросил он Галю.

Та укладывала что-то в чемодане, без замешательства ответила:

— Я калужская, а замужем за оренбургским, еду к нему. Никак не могла дождаться спокойного времени. Была у родителей и никаких известий не имела о муже, а теперь решила при любых условиях, любой ценой добраться до Оренбурга. Я сейчас готова пойти на смерть, но ехать в Оренбург.

— А не казак ли ваш муж? — робко шёпотом спросил доктор.

— Да, мой муж казак, из молодых казаков, но его знают многие, так что, если встретятся нам казаки, я беру на себя сохранить вас от любых неприятностей, — улыбаясь, с воодушевлением говорила Галя.

Доктор не знал, что делать: избавиться от опасной спутницы, попросив её поскорее покинуть вагон, или радушно принять на случай защиты от этих степных пиратов-казаков, способных напасть на поезд в любую минуту и порубить головы пассажирам...

Видя колебания доктора, Нина Николаевна поспешила вмешаться, расхваливая Галю как давнюю знакомую. Все согласились взять попутчицу. В этот день Галя была как никогда весёлая, жизнерадостная.

Отправляющиеся к Оренбургу ждали неизбежного нападения на поезд и потому были в таком настроении, будто их посылали на казнь. Но в обществе Гали все вскоре повеселели, словно опасность миновала, и ехали они не к Оренбургу, а куда-то к Москве, домой.

Поезд был из пяти вагонов: санитарного с медикаментами и обслугой подвижного госпиталя, одного опломбированного, вагона-теплушки и открытой платформы с двадцатью-тридцатью красноармейцами — для охраны. В двух местах платформы что-то было покрыто брезентом, там виднелись пулемёты. Пятый, самый ценный вагон, гружённый снарядами и патронами, замыкал состав — стены в нём были обиты ватой.

Поезд шёл всю ночь. К утру он достиг станции Переволоцк, где начинался район действия белоказачьих отрядов.

2

Галя не спала всю ночь, сидела у раскрытого окна, смотрела, как мелькают придорожные огни. Она с нетерпением ждала предстоящего дня, казалось, что в этот день она безусловно перейдёт через какую-то грань, отделяющую одну жизнь от другой, и после полудевичьей жизни сделается семейной, замужней дамой, женой такого мужа, какого нет ни у одной женщины на свете. А главное, она должна увезти Мишу из этих кровавых мест куда-нибудь подальше, на простор мирной жизни. Она не отходила от окна, напряжённо смотрела в даль уже начавшихся казачьих степей.

Когда два года назад Галя ехала из Оренбурга в Калугу, на каждой станции можно было видеть казаков в фуражках с голубым околышем, а сейчас не видно ни одного, даже малолетних казачат. Что это за время настало? Какая грань легла между казаками? Почему их отторгнули, какие интересы скрестились у казаков с неказаками и кому это нужно? Почему их все так бранят в центральных губерниях, называют головорезами, контрреволюционерами? Нет, они не знают казаков, вот поэтому так говорят, а я их знаю значительно больше других... Так рассуждала Галя, подъезжая к станции Общий Сырт. Поезд остановился. Нина Николаевна вышла из вагона и вернулась.

— Батюшки, голубчики мои, что было на станции сегодня ночью! Казаки делали налёт на станцию, до сих пор кровь не убрана, а убитых только что прибрали. Какая бесчеловечность, Боже мой! Сейчас там

рассказывают о жестокостях, какие учинили здесь казаки.

Все испуганно насторожились. Каждый думал об Оренбурге, окружённом гнёздами казачьих отрядов. Одна Галя была спокойна, ей казалось, что при встрече с любым казаком тот сразу узнает в ней жену Михаила Веренцова, которого, по её мнению, знают все. И если ей сегодня не удастся встретиться с Михаилом, то с сестрой его она увидится обязательно. В ней всё длилось возбуждение, сердце, казалось, пело...

Поезд шёл, колёса монотонно выстукивали по стыкам рельсов, рядом с Галей сидела Нина Николаевна, она всматривалась в Галю, как будто за сутки не вполне рассмотрела её.

— Галочка, вы сегодня какая-то особенная, странная, у вас в глазах непонятная глубина. Как будто вы сегодня переходите в другой мир и радуетесь этому. Мне понятно, что вам хочется поскорее оставить нас и всю окружающую обстановку, но мне сейчас очень жаль как-то расставаться с вами, как будто я жила с вами несколько лет, так привыкла к вам. Мне кажется, мы никогда не увидимся, а я так не хочу разлуки...

Галя смотрела в одну точку, в глазах её были слёзы.

— Нина Николаевна, я сегодня, возможно, с мужем не увижусь, может, удастся встретиться с его сестрой, которая живёт в Оренбурге, не откажите пойти со мной к ней. Мы будем очень радушно приняты, — говорила Галя и непрерывно смотрела в окно, как будто её оттуда кто вызывал. Наконец она изменила тон и задумчиво сказала:

— Нина Николаевна, если со мной что случится, не забудьте мой адрес, чтобы сообщить родителям. Я что-то сегодня чувствую такое состояние, какого не помню. Мне кажется, такое настроение бывает лишь раз в жизни, после которого уж больше не будет ничего.

Она замолчала и прижалась лбом к окну.

— Бог с вами, что вы, милая моя, такая цветущая да красавица, вы должны только начинать жить. Разве можно такие мысли допускать? Я старая, да и то мне жизнь нужна — посмотрите, какая природа кругом: зелень, цветы, всюду птицы поют, разве можно говорить о смерти? Что вы, Галочка! Вот встретите мужа, вам только радоваться теперь...

— Нина Николаевна, милая, время сейчас такое: жив человек, порхает, как птичка, а через мгновение его уже нет.

Галя прервала разговор — где-то грохнуло орудие. Покачиваясь, женщины сидели друг против друга. Доктор, прислонившись к стенке вагона, сидел на полу.

Вдруг затрещали винтовочные выстрелы, поезд остановился.

Путь впереди был разобран. Из-за пригорка показалась казачья цепь. Скачущие стреляли на скаку. Все легли на пол. Галя напряжённо смотрела в окно, стараясь разглядеть нападавших, а среди них — Веренцова. Спутники упрашивали её опуститься на пол, но она не могла этого сделать. Казачья цепь была уже недалеко, отчётливо виднелись голубые околыши на фуражках, по ним хлестали с платформы из винтовок, пулемёты пока молчали.

От волнения и напряжённого взгляда слёзы застилали у Гали глаза, она быстро их вытирала и смотрела. Вдруг ей показалось, что, направляясь к вагону, скачет Мишка. С криком: «Миша! Миша!» — Галя выбежала в тамбур, открыла входную дверь, кричала: «Миша! Миша!» — махала рукой казаку, похожему на Веренцова. Её умоляли вернуться в вагон, но она не слышала. Затащить её в вагон силой никто не решился, было опасно. Галя стояла на пороге открытой двери в белом с цветами платье, как майская бабочка, и всё звала и звала.

С платформы несколько раз кричали, подавали знак рукой, чтобы она зашла в вагон, но она не могла оторваться от места, на котором стояла, непонятная сила пригвоздила её к полу. С платформы послышались угрозы и ругань. Вдруг у Гали зазвенело в ушах и голове, глаза затянуло красной пеленой, она попятилась и потеряла сознание, тихо упала на пол тамбура. С платформы по казачьей цепи застрочили два пулемёта. Казаки быстро развернулись и через несколько минут скрылись за пригорком. Стрельба прекратилась.

Нина Николаевна выбежала в тамбур. В большой луже крови лежала Галя. Она была мертва. Пуля вошла в правый висок и вышла выше левого уха.

Нина Николаевна упала па пол вагона и рыдала до Оренбурга, куда поезд пришёл уже вечером...

Когда гроб, соскользнув с верёвки, упал на дно могилы монастырского кладбища, Михаил Веренцов был в трёх верстах от Оренбурга...

Сбылись Галины предчувствия, её обещания. «До смерти буду стремиться к тебе», — говорила она Мишке. «Схорони меня на монастырских кладбищах...» — просила как бы шутя. «Буду умирать — буду называть твоё имя», — писала ему...

3

Своими налётами на железную дорогу казаки ускорили решение командования Оренбургского гарнизона ликвидировать казачьи отряды по отдельности. Отряды разбивали, а непокорные станицы сжигали. Подходила очередь благословенскому отряду по-настоящему столкнуться с советскими частями.

В штабе отряда с вечера знали, что под утро готовится атака Благословенной со стороны города. Отряд стоял на левом берегу Урала, в трёх верстах от станицы. Застава донесла, что на рассвете красные силой в полтысячи кавалеристов выступили из Карачей и Кузнечного посёлка и идут цепью по направлению к Благословенной, длина цепи вёрст семь.

Быстро подали команду «по коням», «садись», и отряд в сто тридцать четыре всадника карьером выскочил из леса и пошёл к Оренбургу, рассыпаясь в цепь на ходу.

Красноармейская часть уже была видна, она шла фронтом по Меновнинскому выгону. Коней красноармейцы вели в поводу. На расстоянии версты они дали залп по казакам, те остановились, спрыгнули с коней, стали отходить, ведя за собой коней.

Казаки готовились к атаке. Было приказано отходить до низа оврага, что в двух верстах от станицы. По советской цепи передавалась какая-то команда. Видимо, и там готовились атаковать. Наконец казачья цепь спустилась в намеченный овраг.

Сейчас должно случиться то, чего Мишка не испытывал никогда в жизни. Сейчас он вместе с другими бросится на противника в открытом поле, в открытом бою. Жертву ли свою, своего ли убийцу он увидит в лицо, искажённое от страха или с надменной усмешкой при встрече с таким неопытным противником, как Мишка. Сегодня он впервые сталкивается с врагом по-настоящему, получает боевое крещение. Кому он сегодня противопоставит свою силу, лихость, ловкость и жизнь? Его Мишка увидит в тот момент, когда поединок станет неизбежным. Противник будет не иначе как из служивших людей, из фронтовиков, видавших виды, может быть, даже казак, перешедший к красным. Стрельба со стороны красных довольно меткая, как видно, из умелых рук. У него мурашки побежали по телу. «Свернут они мне вязы, их мать. Ей-богу, свернут», — подумал он.

Цепь противника была хорошо построена, ровной линией и точным интервалом. Отчётливо было слышно, как там происходила какая-то перекличка по цепи, вероятно, передавалась команда или напутствие. После выстрела со стороны противника, звук которого походил на хлыст большого кнута, сейчас же летела пуля над головой или резала землю, не долетая, и со страшным жужжанием какого-то смертоносного шмеля перелетала рикошетом через голову... Конь Мишки строго поднимал уши, вертел головой, оглядывался и теребил зубами за рукав рубашки, как бы просил поскорее уехать домой, в станицу, видную как на ладони.

Отступая, люди спугивали тьму комаров, мошек, слепней

— они вились над животными и людьми, жаля и кусая. Не обращая внимания на жужжание пуль, жаворонки не умолкали, иногда вылетали из-под самых ног и тут же скрывались в ковыле. Птицы пели и порхали над головами. Майская трава была в самом расцвете. Ковыль-косматч, резун-острец и пырей, как море, волновались под ярким солнцем на небольшом ветерке.

Сердце сжималось в крепкий, жгучий комок, левая сторона груди болела, а лёгкие не могли набрать воздуха, их как будто сдавило клещами — так тяжело было на душе. Радость степной жизни вокруг, порханье и щебетанье птиц ещё больше щемили сердце и повергали в грусть. Не чувствовалось зноя, как будто не грело солнце, тело била дрожь от неведомого холода. В дни радостные, счастливые тяжелее ощущается приближение смерти, чем в дни скорбные, в дни несчастья и обиды.

Господи, как хорошо было тогда, в день объезда поля с Галей! Или это был сон? Тогда была осень — ни одного зелёного кустика, ни одной птицы, но настроение бурлило, прорывалось наружу: сухая ветка, колючка, полынь — свежо пахли и вызывали радость. Оренбург, хорошо видный с горы, рождал такое чувство, как будто город видел их, звал к себе и предлагал им радость. Хотелось скакать, смеяться, они были самыми счастливыми в мире. А сейчас, Боже мой, что случилось? Что за поле? Что за трава? Что за весна? Даже цветы не пахнут, жаворонки вызывают только слёзы. Даже диск солнца совершенно мутный, на него можно смотреть затуманенными тёмной печалью глазами, не моргая. Бывало, едешь к станице, всё кажется: слишком медленно идёт конь, хочется спрыгнуть с телеги и бежать скорее вперёд, а сейчас... вот станица недалеко, а идти туда не хочется, как будто там нет отца и матери, нет родных, а есть только враги. Сейчас хочется впрыгнуть на коня и во весь дух скакать мимо дома, прямо на киргизскую сторону, дальше, чтобы не возвращаться сюда никогда...

На дне рокового оврага раздалась команда: «Садись!», а вслед за этой командой закричали по цепи: «Шашки вон, готовсь к атаке!»

Красноармейскую цепь не видно, её скрывает огромный бугор, отделяющий овраг от равнины. В последний раз больно сжало сердце, а потом, как будто клещи разжались, и на душе стало весело и легко, как скорбящему перед смертью делается легче. На мгновение Мишка вспомнил Галю, вздохнул и подумал: «Э-э-э, убьют, так убьют, всё равно едва ли удастся с ней увидеться из-за этих чертей большевиков». Он крепко сжал зубы, в нём полыхнула ненависть к красным.

В центре казачьей цепи вперёд выскочил начальник отряда Скрипников, он вертел над

головой обнажённым клинком и что-то пронзительно кричал. Во многих местах из-за бугра, перед самым носом показалась цепь красных. Кавалеристы беспечно наступали, полагая, что казаки будут отходить до станицы, но когда поднялись на бугор перед оврагом, увидели, что те сейчас выскочат в атаку. Командование красных только что получило донесение о том, что с юга из глубины степей карьером приближаются две большие группы казаков, грозящие ударить во фланг и тыл. Спешно было приказано отходить. Казаки с криками «ура» рванулись вперёд, выскочили из оврага и грянули на неприятеля. Конь Мишки взвился на дыбы, впрыгнул на метровый яр и понёсся вперёд. Мишка услышал сзади голос казака-фронтовика Колесникова:

— Мишка, обожди, сейчас пулемёт тебя срежет.

Справа за бугром остановилась впряжённая в четвёрку лошадей двуколка с пулемётом «максим» и тремя пулемётчиками, они торопливо налаживали пулемётную лепту.

Мишка остановился, заметил отсутствие Митьки, с которым договорился всегда быть вместе. Теперь он рассчитывал на Колесникова, но и тот поскакал куда-то в сторону по распоряжению взводного. Митька был в центре отряда около начальника, вызванный туда перед атакой.

Мишка стегнул коня и поскакал к пулемётной двуколке. Рядом с ним скакали люди, смотреть на них было некогда. Внезапно засыпала пулемётная дробь. От резкой заглушающей стрельбы стало больно в ушах. Пули просвистели выше головы, потом в нескольких шагах спереди коней взрыли землю, подняли клубы пыли вместе с клочками срезанной травы, опять просвистели над головами, потом — недолёт. Так менялось несколько раз. Счастливы атакующие, попавшие на плохого, растерявшегося пулемётчика. Наконец капризный «максим» выкинул какой-то фокус, дал задержку, которой пулемётчик устранить не мог. Все трое спрыгнули с двуколки и побежали за своими.

В цепи красных, растянутой на семь вёрст, не могли быстро передать команды к отходу. В начале схватки в цепи почти не слышали команд младших командиров — усугубив тяжёлое положение, рядовых предоставили самим себе, хотя они храбро сражались в одиночку.

От командования красных нужно было одно: строжайшим запретом удержать кавалерию на земле, не разрешать садиться на коней и, подпустив врага на сотню шагов, встретить казачью атаку залпом. Едва ли кто из нападавших остался бы не поражённым.

Когда казаки пошли в атаку, кавалеристы стали вскакивать на коней, заворачивая назад, некоторым мешали метавшиеся в испуге кони, когда казаки врезались в

цепь, у других кони вырвались во время посадки, и их пешие хозяева бежали за ними. Казаки окружили пеших кавалеристов. Всё смешалось, неслось сплошным круговоротом к городу.

Щёголев на своём коне-аварчике, сером в яблоках — тот самый Щёголев, взявший приз за уколы пикой на состязании восьми казачьих полков в Гельсингфорсе, — носился вдоль фронта, ястребом налетал на жертвы, нанося неумолимые, губительные удары клинком. Он знал все маневры в конной атаке. Не одна немецкая каска ржавела на полях Латвии на участке Рига — Двинск, где оперировал восьмой полк оренбургских казаков в 1917 году, переброшенный туда из Финляндии, — хозяева этих касок встретились со Щёголевым...

Отбиваясь, красноармейцы проявляли завидную выучку: выбитые из седла, они хватали винтовку, стреляя в упор, бежали дальше.

Вот семнадцатилетний неопытный казак Митя, подняв на всю руку клинок, наскакивает на пешего, вот сейчас удар упадёт на голову врага, но тот круто поворачивается, стреляет молодому казаку в живот. Пуля вылетает высоко в спине, вырывая полспины гимнастёрки. Митя, умирая, сваливается с коня...

Крики «ура», стоны, ругань — всё смешалось в общий гам. Скачут кони без седоков, вот испугавшийся конь, наступая задними ногами, тащит окровавленный труп своего хозяина, завязшего в стремени...

Мишка проскочил пулемётную двуколку. Впереди один за другим — с винтовкой в руке — бежали три пулемётчика. Мишка направился к ним, не снимая из-за плеча винтовку, на мгновение взглянув на того, кто скачет рядом, и увидел своего соседа. Фёдор был намного старше Мишки, не служил по семейным обстоятельствам, был весельчак и балагур, но не обстрелянный. Сейчас, в первом для них бою, Фёдор и Мишка наскакали на красного пулемётчика, тот перекружился, выстрелил и опять побежал, промазав. Казаки налетели опять, пулемётчик бросил гранату под коня Фёдора, тот спрыгнул с падающего коня. Спрыгнул и Мишка. Фёдор не успел опустить клинок на голову пулемётчика — упал к его ногам, сражённый выстрелом сунутой почти в самую грудь винтовки. Мишка взмахнул клинком, держа в левой руке повод лошади, — красноармеец скользнул стволом винтовки по его груди и выстрелил. Пуля прошла между грудью и рукой и пронзила Мишкиного коня, который тут же упал и сделался мокрый, как искупанный, дрожа всем телом. Клинком Мишка не достал пулемётчика, но тот свалился на землю, широко развёл руки, принимая в объятия смерть. Клинок проскакавшего мимо казака глубоко въелся в левую сторону его

лба, лицо залило кровью и мозгом. У Мишки сердце сжалось от боли, когда он увидел корчившегося пулемётчика.

Всё же какая-то обязанность, какой-то инстинкт тянули его вперёд и вперёд вслед за товарищами. Он бросил клинок в ножны, побежал к брошенному неприятелем коню. Тот в нескольких шагах щипал траву и торопливо с хрустом ел. Подбегая к коню, Мишка перешёл на шаг и стал подзывать незнакомое животное. Конь сначала недоверчиво, а потом дружелюбно взглянул на Мишку и позволил взять за повод своей уздечки. Мишка впрыгнул в седло и во весь карьер поскакал вслед мешавшимся и скакавшим по направлению к городу своим и красным. Он на скаку сорвал с себя винтовку, взял её посередине и попугивал ею своего коня.

Впервые в жизни ему пришлось сидеть в кавалерийском, а не казачьем седле. Он скакал с болтавшимися ногами, без помощи стремян, неимоверно прыгал взад и вперёд по седлу, которое казалось и длинным, и широким без точки опоры — передней луки. Он рисковал каждый миг свалиться с коня.

Он скоро догнал свою цепь, которая уже смешалась с цепью красных и много потеряла из своего состава, стала отставать: пронёсся слух, что впереди залегла пехота красных и ожидает казаков. Мишка проскакал через казачью цепь, устремился за двумя приотставшими красноармейцами. Крика, пронёсшегося по казачьей цепи «стой», «назад», он не слышал, проскочил далеко вперёд, за что чуть не поплатился головой: к нему повернули два кавалериста, но Мишку их поведение встревожило, он круто повернул коня и в несколько секунд оказался ближе к своим, чем к противнику.

Когда из-за близости города преследование прекратилось, с левого казачьего фланга из глубины степных оврагов и возвышенностей во весь карьер вынеслись казачьи отряды Бобряшова и Пущаева Красноярской и Перовской станиц. Они спешили помочь благословенцам ударом в правый фланг красных, и, если бы те не отступили из опасной зоны, то были бы прижаты к Уралу и уничтожены. «Гости» повели свои отряды домой.

Благословенский отряд въезжал в станицу под плач об убитых и тяжело раненных. Хоронили вечером на площади около церковной ограды. Красноармейцев, собранных в степи, зарыли далеко от станицы, вниз по левому берегу Урала.

Каждый знал, что это наступление красных — только подготовка к настоящему наступлению. Каждый стоял на краю могилы, шаг — и похоронят его самого...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Оставив Оренбург, Красная армия заняла позиции на участках

Актюбинск – Орск. Эти города осаждались белыми настолько слабо, что коммуникации между Орском и Актюбинском почти не нарушались, несмотря на то что Орск был окружён белыми, кроме узкой полосы вдоль дороги в Актюбинск. Эта дорога служила единственным сообщением с Актюбинском, по ней Орский гарнизон получал подкрепление и снабжение.

Вступившие в брошенный без боя Оренбург белые беспечно почили на «лаврах победы». Командование уверилось в том, что большевики побеждены и ушли куда глаза глядят, а если откуда ещё и не ушли, их прогонит кто-нибудь, вроде чехов или союзников. Теперь на фронте едва ли есть что делать. Оттуда, где большевики остановились, пусть прогоняют их местные жители, если не хотят советской власти, наше дело – сторона. Рядовому составу война надоела ещё на Германском фронте. Казаки кричали: «На кой чёрт нам нужен какой-то Актюбинск? Он не казачий город. Вон взять Орск – и по домам, а Ахтюбу пусть мужики защищают!»

Разъяснять цели и необходимость борьбы с большевиками командование белых никогда не думало, но едва ли оно знало, с чего начать. Казаки нередко без стеснения бросали в лицо начальству: «Зачем воевать? Будем нейтральны, давайте сделаем мир без анекциев и кандрабуциев и уйдём домой. Уж надоело воевать, што, в самом деле, когда же с женой-то спать?»

Идеологически тупое и политически слепое офицерство само, в большинстве своём, разделяло эту точку зрения не только в разговоре с рядовыми, но и в душе.

Кавалерийская часть Оренбургского советского гарнизона под командованием бывшего казачьего офицера Николая Каширина при эвакуации из Оренбурга была направлена в глубокий рейд через Башкирию: Сакмарская станица – Дедово-Исаево – Красная Мечеть – Стерлитамак – Уфа – правый берег Волги – на соединение с Красной армией.

Для преследования этой колонны из занятого белыми Оренбурга вышли казачьи отряды Богданова, Скрипникова, Шеина и другие. Но преследование было так пассивно, что Каширин прошёл всю Башкирию и Самарскую губернию до Волги и перешёл через Волгу, не встретив серьёзного сопротивления, кроме незначительных стычек.

Отряд Скрипникова повернул назад от Красной Мечети, отойдя от Оренбурга всего несколько вёрст.

– Нечего нам гнаться за ним, нечего ловить, поймают и без нас, – махнув рукой, сказали казаки.

Вскоре вернулся и Богданов, устремившийся по ложной дороге и потерявший надежду настигнуть противника.

Шеин активнее преследовал Каширина, но, имея незначительные силы, решительного боя дать не мог.

2

27 июля отряд, в котором был Мишка, погрузили в товарные вагоны и отправили на Орский фронт. Родные никого провожать не приехали, не знали об этой внезапной отправке. Расквартированный в Форштадте отряд сняли с квартир ночью.

Уже через сутки второй степной партизанский отряд подъезжал к позиции около резервной части Первого Левобережного полка. Впереди, в версте — горный хребет с позицией белых; дальше на полторы версты — второй хребет, повыше, его оседлал Орский гарнизон. В горных утёсах у обоих противников батареи. На юго-запад, изгибаясь по равнине, бежит дорога на станицу Хабарную. Прижавшаяся боком к Губерлинским горам, она видна отсюда. Мишке захотелось побывать в ней, рассмотреть вблизи...

На позиции беспрерывно хлопали ружейные и пулемётные выстрелы. Звуки их в горах раздавались так, будто кровельщики крыли огромную крышу жестью и били по ней большими железными молотками.

В три часа дня цепь белых была снята с позиции. Отряд отвели в тыл версты на три, чтобы отдохнуть и закусить. На весь фронт в две версты оставили три поста по три человека.

На один из постов, правофланговый, ничем не защищённый, самый опасный назначили Мишку с двумя казаками.

Тройка поста оставила одного казака коноводом, Мишка с другим заняли наблюдательный пост на оставленной позиции правого фланга. Справа местность понижалась, уходила и расплывалась в отдельные бугры, потом в равнину до горизонта, сзади под горой ничего не было видно, дальше где-то лежала дорога на Актюбинск.

От напряжения или бессонной ночи сердце у Мишки сжимало в тиски, казалось, оно не в состоянии расширяться, и кровь будто бы застыла.

— Наверное, красные спать легли, ни одного выстрела по постам не дали, — вяло сказал он другу.

Тот подавленно промолчал.

Но красные не спали, готовясь атаковать посты. Командир эскадрона вызвал к себе Подольского.

— Товарищ Подольский, — сказал он, — поручаю вам боевую задачу: возьмите человек двадцать, сделайте глубокий обход слева и атакуйте посты белых с правого их фланга. Белые ушли в тыл, позицию очистили, оставили лишь три поста по два человека пешими и по одному, очевидно, коноводу. Посты эти нужно снять и овладеть их батареей и пулемётами, что находятся около Урала. Для атаки батарей я потом дам помощь с фронта.

— Есть, товарищ командир! — сказал Подольский.

Отряд кавалерийской части в двадцать три человека галопом двинулся по Актюбинской дороге в обход позиции белых. Невдалеке они встретили разведку белых в шесть человек Левобережного полка, обстреляли её и отбросили далеко назад, направляясь галопом на посты отряда.

— Сергей! — поднял голову и обратился к другу Мишка, — какая может быть там стрельба, чуть не сзади нас справа?

Сергей потянулся на траве, махнул рукой:

— Да теперь везде стреляют. И в собак стреляют, и в воробьёв, подь они к чёрту, — успокаивая сам себя, возразил тот. — Ты вот давай расскажи какую-нибудь чертовщину, а то скучно, да и спать хочется. Большевики спят, ни одного не видно, все попрятались.

— Как бы нам здесь не рассказали какую-нибудь сказку, что все места зачешутся, — задумчиво-предостерегающе сказал Мишка...

Вдруг чуть не сзади и почти рядом хлопнул выстрел, за ним второй, третий. Атакующая группа конных красноармейцев во весь карьер неслась на них с фланга. Заметив их коновода в сотне шагов под горой, на скаку стреляла в него. Рассыпавшаяся лавой группа одним крылом уже подступала к коноводу, вторым — к посту. Когда Мишка и Сергей вскочили на ноги, то красноармейцы, увидев казаков, завернули своё левое крыло от коновода и устремились в сторону поста, кроме троих левофланговых, преследующих коновода, поскакавшего в тыл.

Вскочивший на ноги Мишка забросил на плечо ремень винтовки, надеясь на подачу коней коноводом, рванулся было в его сторону, за ним несколько прыжков сделал с винтовкой наперевес Сергей. Тут же они увидели поскакавшего в тыл коновода, надежды больше не было. Цепь противника уже была в двухстах шагах, красноармейцы кричали: «Сдавайтесь! Бросайте винтовки!» — дальше следовала ругань по адресу казаков.

Мишка сорвал с плеча винтовку, фуражка слетела с головы, покатилась по траве.

— Стой, Сергей! — закричал он не своим голосом и щёлкнул затвором на боевой взвод.

Сергей остановился, встали в ряд, ждали противника, — чтобы бить в упор. Крики и ругательства со стороны атакующих продолжались. Лавина конных была уже в пятидесяти, тридцати шагах. Наконец противник в двадцати шагах. Грянули два выстрела, один всадник упал, второй, сбоченясь на седле, описал большой круг, в сторону спрыгнул с коня, присел на землю, держал коня за повод. Остальные, не обращая внимания, охватывали казаков. После выстрелов Сергей быстро пустился под гору,

направляясь в тыл, Мишка же побежал по горному хребту ко второму посту.

Красноармеец, вылетевший вперёд и догнавший Мишку первым, махнул клинком, но головы не достал, проскакал мимо, делая вольт, чтобы налететь снова. Мишка перекружился несколько раз с винтовкой, красноармейцы взяли его в кольцо. Кони их вставали на дыбы, не подходили к пешему с винтовкой, клинком разить нельзя — нападающие толпились, мешая друг другу. Никто из них не сообразил спрыгнуть с коня и выстрелить в Мишку в упор. Вертясь волчком, он был трудноуязвим для выстрелов с коней, он наставлял ствол в одного, в другого, в третьего, а стрелял на выбор, вырывался из расступившегося круга, бежал несколько шагов, пока шёлкнет затвором, заряжая следующий патрон, и опять останавливался, кружился с винтовкой, охваченный кольцом всадников.

Мишка уже чувствовал, что смерть дохнула ему в лицо, она где-то близко, рядом, пытается захватить его в свои объятья, но, вертясь волчком, он не даётся.

Крутившиеся вокруг него красноармейцы стреляли, опасаясь убить своего рикошетом пули: Мишка пользовался случаем, стрелял и снова бежал. Всадник, догнавший Мишку первым, решил, что клинком действовать бесполезно, бросил клинок в ножны и снял винтовку, он уже несколько раз выстрелил, но с коня было трудно попасть в метавшегося из стороны в сторону человека. Мишка ещё раз вырвался из круга, тот же всадник заскакал ему наперёд, преградил дорогу и наставил винтовку в Мишкину грудь, но не успел — Мишка выстрелил первым. Красноармейца будто ветром сдуло с коня.

Второй, заскакавший спереди, был старший группы. Мишка успел щёлкнуть затвором и скинул винтовку на уровень живота целившегося в него начальника атакующей группы Подольского.

Мишка нажал на спусковой крючок, курок щёлкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что Мишка щёлкнул затвором в шестой раз. Через мгновение после Мишкиной осечки Подольский нажал на спуск, грянул выстрел, резко, до щемящей боли кольнуло Мишку в спину, ему показалось, что его кольнуло в спину штыком или концом шашки, но это вошедшая у центра груди пуля, пробив лёгкое, вышла сзади и вырвала кусок тела в два квадратных вершка.

Мишка захрипел, в груди у него забулькало, заклокотало, когда он потянул в себя воздух, а когда выдохнул, горячая струя крови хлынула изо рта и носа. Он ещё несколько мгновений продолжал кружиться, плевал кровь на обе стороны. Он уже понял, что в винтовке нет больше патрона, заряжать некогда. Он

злился, скрипел зубами, в бессильной злобе плевал кровь, он был весь окровавлен, как бык на бойне, которому резаки забыли нанести смертельный удар в лен — беспомощную впадину внизу затылка, а лишь перехватили горло. Теперь жертва в борьбе за жизнь то нападает на убийцу, то пытается укрыться от него.

Мишка остался один и уже не прорывался из круга, а круг всадников расступился и отскочил в сторону на несколько саженей. Мишка заключил, что откуда-то ломятся казаки. Он стоял, шатаясь, смотрел в сторону своего тыла, откуда могут подоспеть свои. Под горой, на расстоянии двухсот сажен, по направлению к Мишке скакали трое, в них он узнал преследовавших коновода. В этот момент Сергей уже сравнялся с всадниками, один из них повернул на Сергея, тот приостановился, раздался выстрел — красноармеец упал, его нога застряла в стремени, конь в карьер потащил хозяина в гору, к своим. Двое других продолжали скакать на Мишку. Вслед за ними показалась большая лавина конных людей, в них Мишка ждал выручку. Он торопливо дрожащими, обессилевшими руками вставил обойму. Но красноармейцы не доскакали до него, увидев сзади казаков, повернули вправо, к своим. Справа севший на коней второй пост в три человека также карьером шёл к Мишке. Задержавшись на атаке первого поста, команда красноармейцев дала возможность второму и третьему постам получить коноводов, сесть на коней и быть готовыми к отражению атаки.

Преследующие коновода Мишкиного поста три красноармейца увлеклись погоней и чуть не заскакали в распоряжение белых на обеденном отдыхе. Заскакавший в расположение отряда коновод закричал во всё горло одному из взводных, ближайшему родственнику Мишки:

— Мишку с Сергеем окружили красные, их теперь уже, наверно, изрубили!

Взводный прыгнул на коня, выхватил клинок:

— Взво-о-од, за-а мно-о-ой! — поскакал во всю мочь.

Из разных взводов садились на коней, ломили за взводными.

Мишка еле стоял на ногах, плевал и глотал кровь, красные мухи летали в глазах, дневной свет всё больше становился жёлтым, как будто красной пеленой затягивало глаза.

Справа раздался голос: «Миша! Изрубили они тебя, изувечили!» — чёрно матерясь, скакали к нему казаки.

Красноармейцы отступили, забрав своих раненых.

3

Доставленный на перевязочный пункт, Мишка уже ничего не видел, а потом и потерял сознание. Кровь проникла по телу в сапоги и там хлюпала, как вода. На минуту он пришёл в

себя, попросил пить. Откуда-то подскакал брат Пётр. Он спрыгнул с коня, подошёл вплотную, уронил голову на грудь, ничего не видевшими от слёз глазами смотрел куда-то, как невменяемый. Два фельдшера, делавшие перевязку, не разрешали брату беспокоить умирающего.

На вопрос Петра о последствиях такого ранения один из них ответил, безнадёжно махнув рукой:

— До вечера, самое большее — до утра, — сказал тихо, чтобы не слышал больной. Но второй фельдшер, военнопленный австриец, возразил:

— Нишаво, два, тыры молнат (месяца), — указал он на небо, — потом ваша брат ишо скашит на конь.

Мишка лежал с жёлтым лицом, в крови и грязи, грудь от рук до пояса огибал огромный бинт, под которым толстым жгутом бугрилась вата, сквозь неё уже просачивалась неугомонная кровь. На руках и в волосах головы — тоже кровь, смешанная с грязью. Мишка дышал слабо, как при пониженной температуре, глубоко дышать не давали всё больше пухнущие лёгкие, причиняя ужасную боль при дыхании.

Пётр стоял над полутрупом обезображенного брата, — посеревший, измождённый тоской, у него тихо катились слёзы. Он был уверен, что в последний раз смотрит на Мишку.

— Ну как же я теперь поеду домой без него? — шептал, не замечая этого, Пётр. — Что скажет Митя? Что скажут отец и мать? Не слышать мне теперь его песен, игры на гармони, с кем делить горе и радости? Отец и мать теперь с ума сойдут или умрут от горя.

Пётр сел на чьё-то лежащее седло, слёзы лились потоком, он не успевал их вытирать.

Тем временем безобразная башкирская телега на деревянных кривых колёсах подъехала, чтобы доставить раненого в станицу Хабарную.

Когда Мишку стали класть на телегу, у него откинулась не прибинтованная рука. Пётр подошёл и вытер кровь, смешанную с грязью, с Мишкиной руки. Брат не знал, что ещё сделать, чтобы ему стало легче.

Отъехавшая телега тряхнула Мишку на каменистой дороге. Он очнулся от резанувшей его боли, кровь опять пошла горлом и носом. Кучер — местный башкир, жалея раненого, несколько раз останавливался, подолгу стоял, ехал и опять останавливался.

По камням трясло и кидало во все стороны. Надвигался вечер, кучер стал спешить, чтобы засветло доехать до Хабарной и сдать больного, пока он ещё живой.

4

Приняв на себя удары с востока, запада и севера, Орский гарнизон не оставлял города в течение более двух месяцев и не отошёл к Актюбинску — не потому,

что не мог этого сделать, окружённый белыми, — не хотел этого до поры до времени. Он в любое время мог разорвать кольцо белых и отойти на Актюбинск. И, наоборот, белые в течение всего этого времени не взяли Орска не потому, что не хотели, а не могли взять — по нерешительности и незнанию тактики командования. Рядовые и младший командный состав бывших фронтовиков и мобилизованного молодняка — казачества шли в бой без желания, при малейшем толчке красных бросали поле боя и уходили кто куда.

Окружив Орск со всех сторон, белые топтались в нерешительности, хотя имели достаточное соотношение сил и вооружения, чтобы атаковать город и выбить из него малочисленный гарнизон. А в то же время Орский гарнизон делал смелые вылазки, и всякий раз белые откатывались далеко за пределы своей позиции...

Это случилось вскоре после ранения Мишки. Чтобы открыть дорогу Орск—Актюбинск, нужную в этот день для перевозок продовольствия и оружия, Орский гарнизон надавил на позиции белых и стал теснить их — Первый Левобережный полк и второй отряд — к станице Хабарной. Советская кавалерия обошла посты казаков правого фланга в несколько человек и прижала их к свежей пашне. Погружаясь в мягкую пахоту, казачьи кони потеряли половину скорости. Красные во весь карьер ломили наперерез, расстояние сокращалось с каждой секундой. Кроме двоих, казаки сошли на твёрдую межу и проскочили мимо сбоку летевших на них с клинками кавалеристов. Бобылёв и Ковалёв были смяты. Первого зарубили тут же, его станичники нашли после и похоронили. Ковалёва же обезоружили, кавалерист взял повод его коня, второй погнал сзади, и все поскакали в свой тыл, к Орску.

Родной брат Ковалёва видел издали, как младшего брали в плен и уводили. Старший метался, как на костре, несколько раз спрыгивал с коня, прицеливался и стрелял в группу, уводящую брата, — но было далеко, пули хлопались в землю, поднимая пыль далеко от цели. В бессильном отчаянье он плакал, снова впрыгивал на коня и опять соскакивал на землю, снова стрелял. Теперь ему было безразлично, кого он мог убить в этой толпе — пусть даже своего брата...

Когда нападавшие скрылись за бугром, где были их главные силы, Ковалёв-старший долго прислушивался ко всякому звуку, тем более к выстрелу. Он ждал залпа за горой — это означало бы расстрел брата. Но ни выстрела, ни залпа не было. Ковалёва-меньшого не расстреляли, но никто больше не видел его никогда...

Орский гарнизон, тесня белых на запад, не стал уходить далеко от города. Из Хабарной

уже потянулись отступающие — пешие и конные, но красные туда не пошли, отведя свою ударную конную группу на прежние позиции.

Было ясное тёплое июльское утро. Солнце взошло, разливая прозрачный свет по каменистым отрогам Уральского хребта — Губерлинским горам. Лучи солнца устремлялись, пронизывая с конца в конец огромную долину, где приютилась станица Хабарная.

Яркие утренние лучи лились и в открытую дверь комнаты временного военного лазарета. Со двора в дом и обратно сновали женщины в белых, как снег, халатах и таких же косынках с красными крестами на лбу и груди. От них исходил запах духов. Их красивые, тронутые загаром лица, туго перетянутые в талиях стройные фигуры с резко подчёркнутой грудью притягивали пристальные взоры молодых раненых казаков.

Около лазарета стояли тринадцать подвод, доставленные атаманом для отправки раненых на станцию Сары. С кнутом на плечах, с нетерпением ожидающие погрузки раненых, ходили чёрные, грязные, не спавшие ночь возницы — русские и башкиры. Все они настаивали на скорейшей погрузке, чтобы до обеда отвезти и вернуться к молотьбе, пользуясь хорошей погодой. Они куда-то спешили, о чём-то заботились, — только не о раненых, судьба которых им была безразлична, они были просто обуза, отрыв от работы в эту горячую пору.

С востока доносились выстрелы, там лилась кровь. Там ходили друг на друга в атаку, разили друг друга. А неподалёку такие же люди — тоже мучились без сна, голодными возили снопы, молотили хлеб, ссыпали в амбары. Воображали богатство — в результате труда, а благо жизни — в результате богатства...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Мишка очнулся, когда солнце поднялось из-за гор. Солнечный свет ломился в двери, разливался по всей комнате, действуя на Мишку возбуждающе и радостно. Никогда он не испытывал такой радости, даже в объятьях Гали, как сейчас, в объятьях солнечных лучей этого тёплого июльского утра. Он в полном сознании отчётливо представлял, какая опасность грозила ему вчера, а теперь она ему не угрожает, он будет выздоравливать. Он сделал всё, что мог бы с трудом сделать в его положении самый матёрый, закалённый в боях, бесстрашный фронтовик. Он не опозорил звание казака, не опозорил свой отряд, не опозорил Веренцовых. Ему будут завидовать недруги, которым хочется, чтобы Мишка умер или остался калекой.

«Но чем же всё-таки кончится вся эта музыка, трудно сказать, — думал он, — ведь дышать-то почти нельзя, да и повернуться — тоже, как будто шомпол проглотил. Вот как ещё больше распухнут лёгкие, то и ноги придётся протянуть, на радость недругам. Ведь у счастливых всегда много завистливых. А где зависть, там и ненависть...»

— Груша, Груша, иди сюда! — кричала со двора подруге заглянувшая в дверь сестра. — Наш герой-то проснулся. У него очень хороший вид! — Семенила к лежавшему на полу Мишке дама в белоснежной одежде. Она присела на полу, потянулась через Мишку, чтобы пощупать пульс.

Мишке захотелось полной грудью вдохнуть запах духов, но лёгкие были обмотаны какой-то упругой резиной и не расширялись.

— Ну, как вы себя чувствуете, молодой человек? — спросила сестра. Подошла вторая, тоже присела рядом.

Мишка тихо сказал:

— Да вот вчера-то как будто лучше было, а сейчас все места болят. Добавили, что ли, вы мне здесь за ночь-то, пока я спал. Теперь и грудь болит, и спина болит, и руки, всё болит. А внутри — как будто кол забитый.

Сёстры смеялись, уверяли, что всё пройдёт.

Мишка покосил глаза и залился румянцем, улыбнулся, отвернув голову в другую сторону.

— Что с вами, что вы смеётесь? — спросила сестра.

— Я ничего, так, вспомнил кое-что, — ответил уклончиво Мишка, подумав: «Ну как же не смеяться, ведь ты села-то как, проклятая, если ещё немного повернёшься, то уж и не знаю, что делать, подняться-то не могу».

Сестра быстро разрезала на груди больного бинт вместе с ватой и стала отдирать прилипшую марлю, что вызвало острую, нестерпимую боль.

В комнату вошёл приехавший из отряда Вася Тырсин. Увидев Мишку живым и в памяти, он чуть не бросился Мишке на грудь.

— Мишка, ты — герой, мы, все станичники, признаём это. Таким и только таким должен быть русский, да ещё казак, от тебя только этого и можно было ожидать.

— Геройства, Вася, тут никакого нет с моей стороны. Если бы я на них напал, один на всех, то — герой, а то я вынужден был защищаться, хорошо зная, что плен — это страшная, мучительная смерть, к этому уж привыкли и мы, и они. Другое дело, что не растерялся. Видел перед глазами смерть, а дрался, как на улице с товарищами. А большевиков я не осуждаю, если бы даже и убили меня. Им тоже не оставалось ничего другого, как только убить меня поскорее, на то война. Я теперь век буду знать, что кавалеристу с пешим драться огнестрельным оружием нельзя.

Когда пехота бежит с винтовками от кавалерии, то они просто дураки и трусы. Одному пехотинцу с пятью конными можно...

Мишка прервал разговор. Вошедшие сестра и доктор запретили больному говорить. Вася с неловкой вежливостью извинился.

Разбинтованный Мишка опять потерял сознание. Когда уехал Вася, он не помнил. А придя в сознание, услышал перекличку раненых, отправляемых в Оренбург. Доктор читал: Гавриил Смородинов, Андрей Межуев, Александр Новоженин, Михаил Веренцов, Дмитрий Андронов...

Водворённые на телеги раненые потянулись обозом на станцию Сары через хутор, в котором останавливался двое суток назад следовавший на фронт отряд. Там Оля, ничего не знавшая о том, что Мишка изранен до безнадёжности. Не знал и он о том, каким тяжёлым будет этот переезд…

На телегу положили одного, тогда как на других подводах было не меньше, а то и больше четырёх человек. Одна из провожающих сестёр пожелала ехать с Мишкой, взяв его под опеку. Она села в телегу, положила Мишкину спину и голову к себе на колени, чтобы тяжелораненого не трясло. Только это спасло его от смерти.

2

Дмитрий Веренцов выходил из Биржевой гостиницы, когда столкнулся с приятелем, офицером Савиным.

— Дмитрий, я тебя давно ищу. У тебя на Орском фронте есть родственники Веренцовы? — спросил в волнении Савин.

— Да Веренцовых там много и два родных брата.

— Да вот я читал газету, где было сообщение о раненых на Орском фронте, — помялся Савин, — ну, там была одна фамилия Веренцовых, среди раненых, а инициалы забыл...

Расспросив, за какое число была газета, Дмитрий чуть не бегом побежал в газетный киоск. Может быть, Мишки уже нет в живых — с момента ранения прошло семь дней. Если в газете указано «Веренцов», то почему-то сердце подсказывало, что это не кто иной, как Мишка. Он прочитал: «В результате упорных боёв на Орском фронте 13 июля 1918 года наши потеряли ранеными 28 человек на участке Кумакской горы: Салов, Звёздин и т.д. К западу от Орска за 29 июля — два человека: М. Веренцов и Д. Андронов». Указывалось, что все раненые 31 июля отправлены в военный лазарет города Оренбурга.

У Дмитрия задрожали губы, он позвал извозчика и велел гнать в карьер к воротам лазарета.

Мишка пережил самые страшные дни в Оренбурге — трое суток его жизнь боролась со смертью. Он больше находился без сознания; в минуты прояснения просил сестру Катю сходить на

базар, передать с любым человеком из Благословенной записку семье, чтобы поскорее приехали увидеться, может быть, в последний раз.

Катя с удовольствием соглашалась, приходила с базара и говорила, что всё исполнила, но родные не приехали. Записки Катя не передавала, не хотела, чтобы к Мишке приехали родные и расстроили его ещё больше, усугубили бы без того тяжёлое положение. Катя не отходила от его койки, она и сейчас сидела на табуретке рядом, несколько раз в день перебинтовывала его раны. Частые перевязки освежали их, они заметно затягивались, были сухи, не гноились.

— Миша, очень плохо держится у тебя бинт, — замечала Катя, — очень неудобное место ранения, плохо бинтовать.

— В этом-то и беда, — тихо говорил Мишка, — это большевики виноваты, — сколько их не проси, они назло делают, стреляют в такие места, которые лечить неудобно. Они даже иногда способны на то, что ранят такое место, которое женщине неприлично перевязывать.

Катя краснела, смеялась, закрывала лицо ладонями, но не уходила.

По аллее лазаретного двора Дмитрий Веренцов чуть не бежал. Проходившие мимо обращали внимание, смотрели вслед бравому казачьему офицеру. Он не обращал внимания ни на кого. На высоком крыльце хирургии Дмитрий встретил белоснежную «милосердную» сестру. Она лукаво заглянула Дмитрию в глаза, быстрым взглядом смерила его с ног до головы и спросила:

— Чем могу служить, господин офицер?

— Извините меня, я к вам с просьбой, — сказал Дмитрий, — я обошёл уже весь лазарет, все хирургии и терапии, в вашу хирургию с последней надеждой. Не находится ли у вас на излечении молодой казак с Орского фронта Веренцов Михаил?

Сестра улыбнулась:

— Вы, вероятно, его брат?

— Да, да, брат, — подтвердил повеселевший Дмитрий. Он уже понял, что Мишка здесь и — по виду сестры — ничего опасного нет.

— Да, он здесь. Я дам вам халат и пойдём вместе. Три дня и три ночи ваш брат находился без сознания, а теперь его состояние улучшилось. Трое суток я и другая сестра дежурили около него, а теперь он уже острит над собой, над нами, мы смеёмся и рады, что спасли этого молодого человека. Девушка — няня его палаты не отходит от его койки.

Дмитрий спросил, каким оружием ранен брат и насколько опасное ранение.

— Двумя пулями: в грудь навылет, сквозь лёгкое и в бок, а от третьей пули получил контузию головы. Вот, кажется, и всё.

— Да уж хватит и этого. Хотел бы я половину этой доли взять на себя, — шутливо-задумчиво проговорил Дмитрий.

Около двери палаты через плечо сестры Дмитрий увидел девушку, сидящую около одного из раненых. Когда Дмитрий стал подходить к койке, Катя робко попятилась к стене. Мишка жестом показал на табурет.

— Не беспокойтесь, девушка, сидите, я постараюсь вам не мешать, — мягко сказал Дмитрий.

Катя замерла на месте, ничего не ответила, с интересом рассматривая Веренцова-старшего. Дмитрий понравился ей ещё больше Мишки — и похож на него, и внушал чувство старшего, заслуженного человека.

Катя наконец догадалась предложить Дмитрию сесть.

— Ну, как всё произошло, расскажи? — поторопил Дмитрий.

Мишка рассказал о последнем столкновении на посту.

Уходя, Дмитрий попросил сестру побольше уделять внимания брату. «Сейчас же, как только выйду отсюда, пойду на базар и пошлю записку домой», — решил Митя.

3

Степан Андреевич и Наташа приехали на другой день рано утром. Мишке опять было очень плохо. Катя сидела около него и часто подавала пить.

Наташа утирала слёзы, ничего не говорила от волнения, даже забыла поздороваться.

Степан Андреевич гладил Мишкину не прибинтованную руку, спрашивал сына:

— Цела ли вторая-то рука?

— Целая, а куда она денется? — успокаивал Мишка, — вот только повернуться нельзя. А у этой руки сзади лопатку рассадили, вот её и привязали.

— Вчера разнёсся слух по станице, что тебя сильно изрубили, и чуть живого отправили с фронта, а куда — никто не знает. А вечером получили записку от Мити, — говорил отец. — Мы бы раньше пришли, да всё ходили по двору, искали эту самую вашу, первую, как её... не выговоришь, хреновину, штоль.

Катя в дверях расхохоталась. Мишка поправил:

— Не так, а хирургия...

4

Михаил поправился. Он уже выходил на высокое крыльцо хирургии, сходил в садик, сидел на скамейке. Его всегда сопровождала Катя.

В палату вбежала сестра и предупредила, чтобы все привели себя в порядок — сегодня лазарет посещают сам атаман Дутов и его начальник штаба Акулинин.

Прошло несколько минут, по коридору заметалась лазаретная прислуга, потом послышались шаги нескольких человек в сапогах, звон шпор.

По коридору двигались двое: по-медвежьи клонясь вперёд,

шёл полный, с заметным животом, чёрный и неказистый Дутов, погоны генерал-майора чернели кромкой, что означало окончание их владельцем Академии Генерального штаба. Спутник его был полной противоположностью угрюмому, молчаливому атаману, только погоны красивого, радостно-темпераментного полковника Акулинина также говорили о выпускнике Академии. Приотстав от них, волевого средоточия Оренбургского казачества, следовал молодой подъесаул с аксельбантами – адъютант войскового атамана.

В сопровождении начальника лазарета отставного полковника Канчели и толпы лазаретной прислуги Дутов вошёл в первую палату, спрашивая у всех подряд фамилию, какой станицы, на каком фронте ранен, когда и каково ранение. Ответы некоторых записывал в блокнот. Вошедший главный врач военнопленный австриец взял под козырёк, Дутов и Канчели поздоровались с ним за руку.

– Почему офицер Зайцев умер от ран? – свирепо нахмурив брови, чётко спросил Дутов. Его взгляд бросил в пот главного врача:

– Медицина, Ваше превосходительство, бессильна бороться с подобными ранениями. Господин офицер Зайцев имел ранение в живот, что считается самым опасным из ранений, кроме тех, после которых смерть наступает мгновенно, то есть сердца и мозга, – детально разъяснял врач, но атаман уже спрашивал следующего раненого. Потом, слегка наклонив голову, повернул её к врачу:

– Если вы хоть одного ещё залечите на тот свет, едва ли кто позавидует вашему положению, – уже на ходу бросил Дутов.

Во второй палате Дутов обратил внимание на раненого казака с раздробленной челюстью и спросил его фамилию, тот сказал, но понять было нельзя. Сестра повторила фамилию раненого. Дутов покраснел, озлился:

– Ах, вон это кто! Ты тот самый самострел? – Казак часто моргал глазами, виновато отворачивал лицо. Дутов продолжал: – Большевиков испугался? Воевать не хотел? Залез в погреб – стреляться стал? Его тоже нужно вылечить, чтобы потом расстрелять, – сказал Дутов врачу.

Вся толпа заполнила Мишкину палату.

– А вот этот с Орского фронта, – сказала сестра и показала на Мишку пальцем, но Дутов не расслышал, он подошёл к первым койкам, где лежали казаки второго округа.

– Какой станицы? Где и когда ранен? – спрашивал атаман.

– Полтавской станицы, Звёздин, а этот Салов. Ранены на Кумакской горе, 20 июля, под Орском.

Адъютант тихо переспрашивал сестру о Веренцове, сестра рассказывала. Дутов и Акулинин подошли к Мишке.

— Вы Веренцов? Благословенский? — спросил атаман. Мишка кивнул головой. — До дежурной палаты дойдёте?

— Потихоньку дойду, — ответил Мишка.

Дутов сказал: «До свидания» и вышел. За ним потянулись все. Акулинин приостановился в дверях, ещё раз пристально посмотрел на Мишку, сказал Дутову что-то на иностранном языке.

— Миша, вставай, — сказала вбежавшая после ухода начальства сестра, — тебя ждут в дежурной.

Они суетились, торопливо собирали поднятого с постели Веренцова, а потом повели в дежурную комнату, где сидели лишь Дутов и Акулинин. Адъютант и Канчели ждали в коридоре.

— Сядьте, — сказал Дутов вошедшему Мишке, — вы кем доводитесь Дмитрию Степановичу Веренцову? Расскажите, что произошло в момент вашего ранения на позиции. А то у нас очень разноречивые сведения. А запрашивали вашего начальника — не ответил, — впервые за время посещения лазарета весело сказал Дутов.

Мишка равнодушно, без запальчивости рассказал меньше половины того, что было на самом деле.

Дутов записал что-то в блокнот, потом выразительно посмотрел на Мишку:

— А что это за инцидент был у вашего начальника с одним из казаков после вашей отправки во временный лазарет?

Мишка ответил, что ему это неизвестно, так как он из Хабарной отправлен прямо в Оренбург, на фронт не заезжал.

— Дмитрий Степанович сегодня ночью выехал на Сызранский фронт со своей частью. Вы это знаете?

— Никак нет, Ваше превосходительство, мне это неизвестно, — сказал Мишка и тихо встал, поддержанный вошедшей сестрой.

Дутов и Акулинин кинули руки к козырькам в знак прощания.

Мишка поклонился и вышел.

— Что, Мишенька, сказали вам они, а вы ответили, что вам неизвестно? По выражению вашего лица я поняла, что это сообщение вас несколько огорчило, — спросила, заглядывая в глаза, старшая сестра.

Мишка не любил передавать слышанное, но, замечая отношения этой сестры с братом, решил сказать:

— Да мой брат, который, может быть, вы помните, приходил ко мне раза три, уехал сегодня на какой-то фронт.

— А разве вы не знаете, на какой фронт? На Сызранский, — сказала лукаво с залитым румянцем лицом сестра.

— А откуда же вам известно это? — спросил Мишка, подумав:

«Ну, ясно, ты его провожала, проклятая. Если бы он уехал днём, то ты могла бы и не знать, а уж если ночью, то, конечно, от тебя его утащили».

Сестра не знала, что ответить.

— Да... я и моя родственница провожали её мужа... Ну, я там случайно увидела вашего брата, — сказала она.

«Не та ли родственница, которая доводится временной женой Дмитрию?» — подумал, улыбаясь, Мишка и решил дальше путать сестру:

— А кто провожал Митю? Жена не провожала его?

Сестра живо ответила:

— Нет, Миша, жена и другие родственники не провожали. Дмитрий Степанович отправлен внезапно, никто из близких не знал. Провожал его один из друзей, некто Грачищев.

«Ничего себе, случайно она увидела его на вокзале, а все подробности знает. Спроси, сколько белых взял Дмитрий, она и это скажет», — подумал Мишка.

Подошла Катя, сестра как бы передала ей Мишку и быстро скрылась в дверях первой попавшейся палаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В декабре, как и год назад, до Оренбурга стали доноситься звуки артиллерийских выстрелов. Красные части рвались к Оренбургу и со стороны Ташкента на участке Челкар, чтобы соединиться с наступающими со стороны Самары.

В октябре с Ташкентского фронта на Самарский на виду у Оренбургского гарнизона пролетел аэроплан для связи. Куда он следовал и чей он, командование белых узнало значительно позже того, как аэроплан благополучно пролетел над всей территорией белых и приземлился в расположении советских войск. Такова была разведка белых. Разведчики и контрразведчики их числились только на бумаге — следствие того, что среди высших командиров не было ни единодушия, ни слаженности. Погоня за чинами и славой плодила интриги, подсиживания, ненависть, отсюда нередкие случаи отказа в помощи даже в критические моменты, влияющие на общий ход событий. Всякий смотрел Наполеоном... Корпус Акулинина, наступающий на Оренбург весной 1919 года со стороны Нежинской — Сакмарской, беспрерывно враждовал с корпусом Жукова, наступающим со стороны Меновой двор — Павловская. Акулинин сам хотел взять Оренбург, только сам, чтобы не делить ни с кем лавры победы. Жуков, в свою очередь, хотел единолично пожинать те же лавры — потому они не подавали друг другу помощи, когда один из них вёл наступление на город, потому они так и не взяли Оренбурга,

протоптались у его стен, чтобы потом уйти в Сибирь и дальше...

Непоправимой политической глупостью белых стало и то, что командные, боевые должности занимались не по способностям, а по чинам. Иной вынес на своих плечах полный комплект действительной военной службы и всю войну 1914—1917 годов, имеет полный бант крестов за боевые заслуги, но если он «из простых», то красная цена ему не больше как прапорщик, и командует он не больше как взводом. А какой-нибудь родовитый «мамушкин сынок» с большими связями добился в тылу до есаула или выше, командует полком, гоняет младшего по должности офицера-фронтовика, не считая его за человека, не считаясь с его советами в боевой обстановке, потому что тот «из простых». Эти родовитые прямо говорили: «Как только побьём большевиков, так потребуем девальвации офицерства... Все «серяки из простых» отсеются и превратятся в рядовых или заштатных»... Так находила выход неприязнь, даже ненависть к офицерам из народа вроде Дмитрия Веренцова, вызывая в ответ понятные чувства...

Призрак большевистской опасности снова задышал над Оренбургом в морозные ноябрьские дни 1918 года. Отчётливо слышались орудийные выстрелы по ночам, напоминая уже знакомую тревогу.

Чувствовали, осязали близость смерти, её дыхание в лицо. Не хотелось слышать выстрелов, доносившихся с фронта Новосергиевка — Платовка — Гамалеевка, но его гул гипнотически приковывал к себе, все невольно к нему прислушивались. Одни — с испугом, тревогой, другие — с радужными надеждами на счастливую жизнь...

Многие спали не раздеваясь. Комнаты были не топлены, не метены, не убраны — не хотелось ничего делать, даже готовить пищу.

Встретившиеся на улице родные или знакомые старались разойтись незамеченными, чтобы избежать разговоров — разговоры казались страшными. Каждый вселял испуг, потрясал, близкий мог сообщить только жуткие новости.

Учебную стрельбу в городе запретили, она пугала власть имущих. Казаки из посёлков и станиц боялись ехать в город с продажей, чтобы не пропасть там — местные большевики и сочувствующие грозили захватить Оренбург внезапно, восстанием.

Фронт двигался как грозовая туча, от которой невозможно укрыться. Отпущенные с фронта по болезни, ранению и другим причинам казаки заливали тревогу самогоном. По три дня не топили печи, ленились ездить в лес за дровами, а если, приехав рысью из леса, и привозили немного дров, все они уходили

на самогонокурение, а если не хватало, приходилось ломать плетни, чтобы закончить опару. За сеном в поле не хотелось ехать, иногда даже готового сена с повети сбросить некогда, нужно спешить в гости.

— Чёрт с ней, с коровёшкой-то, пусть зевает во всё хайло, не пойду к ней. Она всё равно уж почти перестала доиться, а советские придут, то так и так из шкуры её вытряхнут. Пусть пока стоит, газеты читает, — говорил, еле выговаривая слова, станичник, обнявшись с другом за столом.

Жёны-казачки редко теперь возражали против кутежа мужей, не гоняли их ни поленом, ни ухватом от свата или из шинка, а смотрели на них, как смотрят на опускаемого в могилу близкого, милого. Дни пребывания мужа в стенах родного дома были сочтены — уйдёт и, может быть, навсегда...

Хозяйство и всё нажитое веками добро не только уже никого не интересовало, не радовало — оно всё более тяготило, лучше бы этого добра не было совсем.

Изумрудами искрился снег в холодные прозрачные тихие декабрьские дни, усиливая орудийный гул с фронта Общий Сырт.

2

Мишка подъехал к воротам — он ездил в санках по делам, конь остановился, Мишка выпрыгнул из санок и от сотрясения почувствовал боль в груди. «Как же я буду служить? Неужели в нестроевщину придётся идти?» — подумал он.

— Миша, тебя атаман звал, — сказала Наташа, когда Мишка въехал во двор. Он сделался мрачнее тучи: угроза разлуки со всеми, кого любил, угроза гибели в расцвете сил и надежд, угроза страданий и потрясений — всё встало перед ним великим призрачно-чёрным сводом. В воображении мелькали картины фронтовых ужасов. Мрачный, Михаил сел за стол...

В станичном правлении никого не было. Больных и выздоровевших раненых, кого касался бы приказ атамана округа Бурлина о сборе всех эвакуированных с фронта по ранению или болезням или оставленных ранее по различным причинам, в станице почти не осталось. В правлении сидел лишь атаман. Осматриваясь кругом, как бы боясь кого, он вынул из папки с секретными бумагами летучку, где говорилось: «Михаилу Степановичу Веренцову с получением сего немедленно явиться лично к атаману первого округа Оренбургского казачьего войска, есаулу, господину Бурлину Дмитрию Гавриловичу, город Оренбург. 2 января 1919 года. № 42-8—11».

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Кастор — сорт плотного сукна.

2. Башлыки, башлаки, большаки, чеблаки — искажённое «большевики».

3. Александр Ильич Дутов (5(17) августа 1879, Казалинск — 7 февраля 1921, Суйдун, Китай) — потомственный русский военный, герой Белого движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919). Его детские годы прошли в Фергане, Оренбурге, Санкт-Петербурге и снова в Оренбурге.

А.И. Дутов окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус в 1897 г., Николаевское кавалерийское училище в 1899 г., в чине хорунжего направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, стоявший в Харькове.

В Санкт-Петербурге окончил курсы при Николаевском инженерном училище 1 октября 1903 г. и поступил в Академию Генштаба, однако в 1905 г. добровольцем ушёл на Русско-японскую войну, воевал в составе 2-й Маньчжурской армии, где за «отлично-усердную службу и особые труды» во время боевых действий награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. По возвращении из Маньчжурии продолжил обучение в Академии Генерального штаба, по окончании которой в 1908 году по 2-му разряду штабс-капитан Дутов направлен для ознакомления со службой Генерального штаба в Киевский военный округ в штаб 10-го армейского корпуса.

С 1909-го по 1912 г. преподавал в Оренбургском казачьем юнкерском училище. Своей деятельностью в училище Дутов заслужил любовь и уважение со стороны юнкеров. Одним из его учеников был Г.М. Семёнов — впоследствии Забайкальский войсковой атаман... В декабре 1910 г. Дутов награждён орденом Св. Анны 3-й степени, а 6 декабря 1912 г., в возрасте 33 лет, произведён в чин войскового старшины (соответствовавший армейский чин — подполковник). В октябре 1912 г. командирован для годичного цензового командования 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка в Харьков. По истечении срока командования в октябре 1913 г. вернулся в училище, где прослужил до 1916 года.

20 марта 1916 г. Дутов добровольцем ушёл в действующую армию, в 1-й Оренбургский казачий полк в составе 10-й кавалерийской дивизии III конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта. Принимал участие в наступлении Юго-Западного фронта под командованием Брусилова, во время которого 9-я русская армия разгромила 7-ю австро-венгерскую армию в междуречье Днестра и Прута. Во время этого наступления дважды ранен, второй раз тяжело. Однако уже после двух месяцев лечения в Оренбурге вернулся в полк. 16 октября Дутов назначен командующим 1-м Оренбургским казачьим полком совместно с князем С.В. Бартеневым.

В аттестации Дутова, данной ему графом Ф.А. Келлером, говорится: «Последние бои в Румынии, в которых принимал участие полк под командой войскового старшины Дутова, дают право видеть в нём отлично разбирающегося в обстановке командира и принимающего соответствующие решения энергично, в силу чего считаю его выдающимся и отличным боевым командиром полка». К февралю 1917 г. за боевые отличия Дутов награждён мечами и бантом к

ордену Св. Анны 3-й ст. и орденом Св. Анны 2-й ст.

После Февральского переворота 1917 года избран в марте 1917-го товарищем (заместителем) председателя Временного Совета Союза казачьих войск, 1 июня 1917 г. — председателем II Общеказачьего съезда в Петрограде, а 7 июня 1917 г. — председателем Совета Союза казачьих войск. В сентябре 1917 г. избран атаманом Оренбургского казачьего войска и главой (председателем) войскового правительства. По своим политическим взглядам Дутов стоял на республиканских и демократических позициях.

К октябрю 38-летний Дутов превратился в знаковую фигуру, известную всей России и популярную в казачестве. 26 октября (8 ноября) Дутов вернулся в Оренбург и приступил к работе по своим должностям. В тот же день он подписал приказ по войску № 816 о непризнании на территории Оренбургского казачьего войска власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде, став, таким образом, первым войсковым атаманом, объявившим войну большевизму.

Атаман Дутов взял под свой контроль стратегически важный регион, перекрывавший сообщение центра страны с Туркестаном и Сибирью. Перед атаманом стояла задача провести выборы в Учредительное собрание и поддерживать стабильность в губернии и войске вплоть до его созыва. С этой задачей Дутов в целом справился. Приехавшие из центра большевики были схвачены и посажены за решётку, а разложившийся и настроенный пробольшевистски (из-за демагогически-антивоенной позиции большевиков) гарнизон Оренбурга разоружён и распущен по домам.

В ноябре Дутов избран членом Учредительного собрания (от Оренбургского казачьего войска). «Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при помощи Калединых, Корниловых и Дутовых превращают трудовое казачество в орудие своих преступных целей...» — этими словами открывалось обращение большевистского Совета Народных комиссаров (СНК) от 25 ноября 1917 г. А главному комиссару Черноморского флота и «красному коменданту Севастополя» В.В. Роменцу СНК послал следующую «установочную» телеграмму: «Каледины, корниловцы, дутовы — вне закона!» — красноречивый памятник «революционного правосознания»...

Открывая 7 декабря 2-й очередной Войсковой Круг Оренбургского казачьего войска, Дутов говорил:

«Ныне мы переживаем большевистские дни. Мы видим в сумраке очертания царизма, Вильгельма и его сторонников, и ясно определённо стоит перед нами провокаторская фигура Владимира Ленина и его сторонников: Троцкого-Бронштейна, Рязанова-Гольденбаха, Каменева-Розенфельда, Суханова-Гиммера и Зиновьева-Апфельбаума. Россия умирает. Мы присутствуем при последнем её вздохе. Была Великая Русь от Балтийского моря до океана, от Белого моря до Персии, была целая, великая, грозная, могучая, земледельческая, трудовая Россия — нет её».

16 декабря атаман разослал командирам казачьих частей призыв направить казаков с оружием в войско. Для борьбы с большевиками нужны были люди и оружие; на оружие он ещё мог рассчитывать, но

основная масса казаков-фронтовиков воевать не хотела, только кое-где формировались станичные дружины. В связи с провалом казачьей мобилизации Дутов мог рассчитывать лишь на добровольцев из офицеров и учащейся молодёжи, всего не более двух тысяч человек, включая стариков и необстрелянную молодёжь. Поэтому на первом этапе борьбы оренбургский атаман, как и другие лидеры антибольшевистского сопротивления, не сумел поднять на борьбу и повести за собой сколько-нибудь значительное число сторонников.

4. Каргин — атаман 1-го округа Оренбургского казачьего войска.

5. Кобозев Пётр Алексеевич (1878—1941) — член РСДРП с 1898 г. В 1915—1916 гг. — в ссылке в Оренбурге, один из руководителей Оренбургской социал-демократической организации. После Февральского переворота — начальник и комиссар Ташкентской железной дороги. Активный участник Октябрьского вооружённого восстания, делегат 2 съезда Советов. С ноября 1917 по февраль 1918 г. — чрезвычайный комиссар по Западной Сибири и Средней Азии, возглавлял борьбу с дутовщиной. В 1918 г. — Народный комиссар путей сообщения РСФСР, член Реввоенсовета Восточного фронта, член Реввоенсовета Республики.

6. Коростелёв А.А. (1887—1939) — рабочий. Член РСДРП с 1905 г. После Февральского переворота — председатель Оренбургского Совета рабочих депутатов, член городского комитета РСДРП, редактор газеты «Пролетарий». В 1918 г. — председатель Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, заместитель председателя Оренбургского военно-революционного комитета.

7. Цвиллинг Самуил Моисеевич (1891—1918) — вступил в РСДРП(б) в 1905 г. В 1907 году за участие в вооружённых выступлениях в период революции 1905—1907 годов (ограбил аптеку, застрелив аптекаря — своего дальнего родственника) приговорён к смертной казни, заменённой 5-летним тюремным заключением. В 1916 году во время Первой мировой войны мобилизован в армию. В 1917 году после Февральской революции С. М. Цвиллинг — председатель Челябинского совета и председатель комитета РСДРП(б). Избран депутатом Учредительного собрания от Оренбургского избирательного округа по списку № 8 (РСДРП(б)). Приехал в Санкт-Петербург для участия в полуподпольном VI съезде РСДРП(б), стал одним из лидеров Октябрьской революции, комиссаром в Санкт-Петербурге и делегатом Второго Всероссийского съезда Советов. Вернувшись на Южный Урал, Цвиллинг организовывал красные отряды для борьбы с белоказаками атамана Дутова. Арестован в ноябре 1917 года, но бежал из-под стражи и с ноября 1917 года Цвиллинг — комиссар Совета Народных комиссаров Российской Советской Республики в Оренбурге и председатель Военно-революционного комитета (ВРК) Оренбурга. С марта 1918 года — председатель Оренбургского губисполкома. 4 апреля 1918 года во время боя в станице Изобильной Оренбургского казачьего войска Самуил Цвиллинг убит войсковым старшиной С.В. Бартеневым.

8. Огнёвщики — пожарные.

9. 22 марта — по старому стилю. По новому — 4 апреля.

10. Мякина — вымолоченные колосья, от которых отвеяно зерно.

Алексей ХАЛЬЗУНОВ

«А НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ...»

Алексей Анатольевич Хальзунов родился в 1968 году в Оренбурге. После службы в армии окончил исторический факультет Оренбургского педагогического института. Работал в образовательных учреждениях Оренбурга. С 1999 года – начальник пресс-службы Управления наказаний России по Оренбургской области. Стихи публиковались в областных газетах, в альманахах «Гостиный Двор», «Башня» (Оренбург), «Под часами» (Смоленск) и «Чаша круговая» (Екатеринбург). Автор двух поэтических книг. Лауреат региональной литературной премии им.П.И. Рычкова (2014). Член Союза российских писателей.

* * *

Всё, что было когда-то, —
странно, честное слово.
«Я была виновата!..» —
словно крик из былого.

За ошибки расплата —
не моё возвращенье.
«Я была виновата...» —
как мольба о прощенье.

Грозового раската
звуки гулки и грубы.
«Я была виновата...» —
стон сквозь сжатые губы.

«Я была виновата...»
Жизнь прошла резче мига
от последнего взгляда
до первого крика.

Но напрасно не надо
вспоминать то, что было.
Разве ты виновата,
что меня не любила?..

* * *

Ещё пока не взведены
курки дуэльных пистолетов,
и тени вечные поэтов
не поселились в царстве тьмы.

Ещё под куполом небес
не остудило солнце жара,
ещё не вздрогнул зимний лес
от выстрела, как от удара.

Ещё он пишет. Скрип пера…
«Я помню чудное мгновенье…»
Необъяснимое волненье
не говорит ему «пора!..»

Звон колокольчика вдали
тревожит странною тоскою.
Ещё пока и Натали
не стала госпожой Ланскою.

Его вольна, как прежде, речь,
и в списках тайные «Ноэли».
Совсем недолго до дуэли
от роковых случайных встреч.

Так мы живём и дышим всласть,
судьбой согретые, любовью,
чтобы потом на снег упасть,
своей его окрасив кровью…

* * *

Много разглядели нехорошего,
научились бойко говорить.
Очень больно за ошибки
прошлого —
дай нам Бог его не повторить.

Все давно разложено,
расставлено.
Угольком, без всяческих прикрас
на стене был четко — профиль
Сталина.
А под ним: «Как верили мы
в вас…»

Может, этим зарево кровавое
кто-то оставляет позади?
И медали: «Наше дело правое»
скоро ветеран сорвёт с груди?

Всем разоблачениям в угодину
он понять не в силах одного:
в бой ходил за Сталина и
Родину…
А выходит, зря, что за него?

И старушка из села укромного
в толк ещё не может взять пока,
Как хранила грамоту Верховного
рядом с похоронкой на сынка.

Овладев основами риторики,
гневом наполняем мы сердца:
вы когда же, мудрые историки,
правду разъясните до конца?

Заменили время мы безвременьем
и о прошлом реже видим сны.
Чью-то надпись «Как же мы в
вас верили…»
летний дождь смывает со стены…

* * *

Сложно быть не таким, как все.
И за это судьбу браня,
белкой крутишься в колесе
всё быстрее день ото дня.
Не обманываешь, не предаёшь,
а мотаешь, мотаешь круги…
Даже страшно подумать —
живёшь,
не оглядываясь на других.

А они устали орать,
палец вкручивая в висок.
Как бы мне колесо сломать,
чтоб я к ним перебраться смог?

Чтоб без странного чувства вины,
чтоб открыто, а не тайком
вместе с ними, со стороны,
наблюдать за другим чудаком.

Научиться для пользы хитрить,
не спешить, как в том колесе.
И однажды просто забыть,
что я был не таким, как все…

* * *

Встала, будто тонкое деревце,
словно тучка на небе ненастная.
Аль не мил я тебе, девица?
Аль не люб я тебе, красная?

Образами, как солнцем,
высвечен,
да вот сердце — с копейку
медную.
Ты пойми, не умею иначе
я любить тебя, безответную.

Хмуришь брови ты соболиные,
а в глазах — тоска непроглядная.
Ах, найти бы тебя, любимая!
Ах, обнять бы тебя, ненаглядная!

Но склонилась ивой плакучею
с затуманенными очами.
Зря, наверно, тебя я мучаю
взглядом дерзостным и речами.

За окном — острый нож месяца,
за окном ночь стоит ясная.
Аль негож я тебе, девица?
Аль постыл я тебе, красная?

* * *

А на войне, как на войне —
мы песни бравые поём.
Сегодня скачем на коне,
а завтра будем под конём.

Жалеем изредка о том,
что времена давно не те.
Но кто сегодня со щитом —
тот завтра будет на щите.

Победы близкой сладок вкус,
награды звонкие манят.
И вот уже вчерашний трус
сегодня рвётся в первый ряд.

Но так случается порой,
что шаг от славы до беды.
Судьбой развенчанный герой
уходит в задние ряды.

Прольёт слезу холодный дождь
по недожившим до седин.
Вождю придёт на смену вождь,
незаменим лишь ты один.

Другим повесят ордена,
Повысят в званьях и в цене.
А жизнь у каждого одна.
А на войне, как на войне…

* * *

Отболит душа, успокоится
и отмоется от вранья.
Всё уладится, всё устроится,
всё вернётся на круги своя.

На небесных весах отложится
согрешений примерный вес.
И не нужно будет тревожиться
и с судьбою идти вразрез.

Ни пророчества, ни знамения
не изменят дальнейший путь.
А сомнения — не сомнения,
если только иначе взглянуть.

Потому-то земля загадочна,
что столетия там и тут
и пророков на ней достаточно,
и хватает с лихвой иуд.

Что столетья воюют и ссорятся —
кто с ножом, а кто без ножа.
Значит, вряд ли душа успокоится
оттого, что она — душа.

Пытка вечная — муки творчества
наказанием за грехи.
И сомнения, и пророчества,
и отчаянье, и стихи…

АЛЕКСАНДР БЛОК

1

Как с распятья сошедший Бог,
брёл по тёмному городу Блок…

И, теряясь в седой пустоте,
понимал: что-то в жизни не так.
Богу надо висеть на кресте,
а не шествовать ночью в кабак.

И, предчувствуя мрачный итог,
то ли Блок загрустил, то ли —
Бог…

2

Заря свободы отпылала.
Остались только смрад и гарь
там, где он видел рябь канала,
аптеку, улицу, фонарь.

И налетала тьма с разбега
на белой ночи бледный свет.
Но где, скажите, та аптека?
Её давно в помине нет!

Лёд, как империи обломки,
качался в стынущей воде.
Куда исчезли незнакомки?
И вся Россия нынче где?

Он шёл в распахнутой шинели,
как будто плыл на край земли.
И соловьи уже не пели,
забыв о том, что — соловьи.

Кровавой пьянкой стала свадьба.
Швыряя искры в облака,
горела старая усадьба
венцом свободы мужика!

Была пустынною дорога.
Был далеко ещё рассвет.
Россия Александра Блока
ему смотрела скорбно вслед…

ВСТРЕЧА

В глаза царю смотрел поэт
без страха вовсе.
Вопрос — ответ, вопрос — ответ,
как на допросе.

Наперекор шальной судьбе
взят, будто в клещи.
«…Я, Пушкин, слышал о тебе
дурные вещи.

Пора б тебе сменить свой пыл
на покаянье.
Скажи мне, Пушкин, где б ты был
в часы восстанья?!»

И промолчать никак нельзя
под цепким взглядом:
«Там были все мои друзья.
Конечно, рядом!..»

В покоях царских ни души.
Но что за чудо?
«Ступай же, Пушкин, и пиши...
Пиши покуда...»

Ещё двенадцать быстрых лет
отплачут свечки.
Ещё аукнется ответ
у Чёрной речки!

ПРОВОДЫ

Мать в дорогу напекла пироги,
подвязала их в котомке к седлу.
— Ты, соколик мой, себя
береги!
А соколик уходил на войну...

Оттого и на Руси недород,
что из года в год — казак
в стремена!
Пригорюнившись, стоит у ворот
чернобровая молодка жена.

Отгулял станичник вешнюю ночь.
Захмелел и похмелился слегка.
В колыбели заворочалась
дочь —
не послал ему господь казака...

Бабьи слезы — хоть святых
выноси!
То жена зайдётся в крике,
то мать.
Так веками повелось на Руси —
Провожая, сыновей отпевать.

За околицей — свинцовый туман.
На крестах церквушки —
стая ворон.
Но привстанет в стременах
атаман,
и поднимет пыль в степи
эскадрон.

А кому из них какой выпал
срок,
даже небо не пошлёт точный
знак...
Знает только лишь всевидящий
Бог,
где отмается душа твоя, казак!

ПОЭЗИЯ

А она ходила по краю.
Край был острый, она — босая.
А она ходила по краю,
от паденья меня спасая.

А она во мне находила,
что могу сорваться и спиться.
И ходила вокруг, ходила,
не пугаясь сама оступиться.

А она — все от ада к раю,
а потом по новой — обратно.
Для чего она ходит по краю,
было даже мне непонятно.

Непонятным было движенье
на балансе тоненькой грани.
Только в зеркале отраженье
и остатки вина в бокале.

Жизнь по новой переиграю,
не печалясь, не раскисая.
А она всё ходит по краю.
Край, как бритва. Она — босая...

Сергей УПОРОВ

КОСТЫЛЬ

Рассказ

Сергей Александрович Упоров родился в Орске в 1967 году. Окончил Орский индустриальный техникум, служил в рядах Советской армии, затем в органах внутренних дел в должности участкового инспектора милиции, одновременно учась в Московской государственной юридической академии. Работал юрисконсультом, начальником юридического отдела. В настоящее время занимается частной юридической практикой. Печатался в альманахе «Гостиный Двор». Автор двух книг прозы, дипломант премии альманаха «Гостиный Двор» им. Валериана Правдухина (2010). Живёт в Орске.

1

Валерка Борисов подскочил чуть свет, быстро оделся и, отказавшись на мамин вопрос о завтраке, побежал на службу. Пока трясся в громыхающем на рельсовых стыках трамвае, обдумывал, как он напишет свой первый серьёзный рапорт. Как потом покажет его Деду. Интересно — думал он. — Что скажет Дед?

А Дед, наверное, как всегда, сделает равнодушное, даже недовольное лицо. Сунет рапорт в стол и скажет что-то вроде: «Ладно! Поговорим позже». Он почти всегда говорит так, когда ребята приносят интересную информацию.

Валерка, задумавшись, чуть не проехал свою остановку. И лишь случайно глянув в мутное, с грязевыми подтёками трамвайное окно, увидел кинотеатр «Мир» и рванулся к выходу. Он в две минуты «долетел» до

знакомого крыльца с тёмно-малиновой табличкой рядом на стене с облупившейся штукатуркой. На табличке было написано «Ленинский районный отдел внутренних дел» и ниже крупными буквами «МИЛИЦИЯ».

За дверью напротив, за плексигласовым окном, Валерка увидел сидящего за телефонным пультом начальника дежурной смены: пожилого, усатого, а сейчас усталого и заспанного майора Куницына. Он махнул ему головой, сказал небрежно: «Здрасте!» и пошёл к двери входа в помещения отдела.

— Молодой человек! — Куницын отодвинул в сторону створку плексигласового окна и уставился недовольным взглядом. — Ты что, как и я не ложился ещё? — строго спросил он.

— В чём дело? — сдерживая робость, буркнул себе под нос Валерка.

— А в том, — так же строго продолжал майор, — что на службу нужно приходить опрятным. Разрешили вам, понимаешь, шастать в гражданке с малолетства. Только из школы милиции, а ходишь как пыльным мешком стукнутый...

Валерка молча поспешил в двери и пробежал по коридору мимо дежурной части. Это ещё год назад по прибытию из школы милиции он останавливался на вытяжку перед каждым старшим по званию и входил в каждый кабинет, предварительно постучав и спросив разрешение. А теперь, поработав уже почти год, он научился понимать, что дежурный начальник смены, по уставу, конечно, является заместителем начальника райотдела в его отсутствие. Но на деле командует он только дежурной сменой, то есть работниками дежурной части и сотрудниками, дежурящими сутки в оперативной группе. Что каждое подразделение в райотделе — и уголовный розыск, где служил Валерка, и следствие, и другие — подчиняются своим непосредственным руководителям, и именно от них в основном зависят судьба и ближайший распорядок жизни каждого сотрудника милиции. Что звание — это хорошо, но положение человека определяется не званием, а должностью, которую он занимает. Конечно, это было неписаное правило, и, конечно, как из всякого правила, из него были исключения. Но майор Куницын не входил в число исключений, как и многие работающие рядом с Валеркой, а вот Дед — непосредственный его начальник, как раз и был тем самым ярким исключением.

Старший оперуполномоченный майор милиции Семёнов Николай Иванович, а на общерайотделовском языке просто Дед, был для Валерки непосредственным руководителем, так как являлся руководителем зональной группы уголовного розыска, в которую Валерка и входил. Правда, группа была небольшая, впрочем, как и все

зональные группы. Кроме Деда и Валерки в неё входил ещё Колька Пятаков, такой же, как Валерка, молодой сотрудник. Появились они в кабинете у Деда в один день, поэтому вначале Дед называл их близнецами. С самого начала их появления каждому сотруднику уголовного розыска, а в основном это были ребята, обслуживающие другие зоны, Дед считал нужным пожаловаться: «Видали, какими «зверюгами» мою зону укрепили? Хана всем жуликам на втором участке».

Позднее они с Пятаковым слышали от других оперативников, что за это начальник райотдела вызывал к себе Семёнова и стыдил его, хотя даже самим «зверюгам» уже тогда понятно было, что, скорее всего, начальник мог только уговаривать Деда. Семёнову было уже за пятьдесят, а начальнику райотдела не было и сорока; кроме того авторитет Деда в органах был настолько непоколебимым, что ни один из начальников даже городского УВД не мог не разговаривать с ним уважительно. Оставаясь старшим оперуполномоченным уголовного розыска, Дед на своём долгом милицейском веку пережил стольких начальников — и районных, и городских, что из их портретов можно было создать музей милиции города. Но, конечно же, Деда ценили не за его возраст, а, как понимал Валерка, за его заслуги и профессионализм. Это было понятно сразу. С первого же дня их работы в райотделе не проходило и двух часов, чтобы в их кабинет, где они располагались всей зоной, к Деду не приходили различные люди с различными вопросами. Причём нередко это были руководители подразделений, с майорскими и подполковничьими погонами, при появлении которых первое время «зверюги» подскакивали со своих мест и становились по стойке смирно.

По затёртой тысячами ног лестнице Валерка в три прыжка взлетел на второй этаж и, пробежав мимо разноокрашенных дверей в конец коридора, открыл своим ключом дверь кабинета и уселся за свой обшарпанный стол. Он достал из стола стопку чистой бумаги, авторучку и только тут задумался.

Писать нужно было не торопясь, не как всегда, понятно и по возможности кратко. Вот именно за то, что у него получится кратко и понятно, Валерка и опасался.

Информация была получена им, можно сказать, случайно, по счастью, повезло. Но от этого ценность её, по мнению Валерки, не менялась. Причём важна она была не только для уголовного розыска их отдела, но и для всей городской милиции.

Валерка задумчиво поковырял остриём авторучки рассохшийся торец столешницы из ДВП и долго смотрел, как на пол осыпаются прогнившие опилки, которыми была набита столешница. Потом решительно подвинул

лист и стал писать в правом углу листа «шапку», то есть кому, от кого и по центру крупно вывел «РАПОРТ», но далее опять остановился в нерешительности.

С чего начать, как написать? И главное, всё или только самую суть? Писать ли источник информации? Как его указать? Если раскрыть его полностью, то, чего доброго, им заинтересуется сам начальник уголовного розыска или кто-нибудь из оперов поопытней, которым он поручит дело. Передадут, например, его рапорт в группу по угонам, что вполне логично, и к Костылю придут другие ребята, и кто знает, как они с ним обойдутся. Да и как Валерке после этого смотреть в глаза Костылю? Может, для кого-то это и сантименты, но Валерка так не мог, и пока ещё считал, что не сможет так никогда.

С другой стороны, рапорт должен быть изложен подробно, и всякие непонятные обороты вызовут только лишние вопросы и насмешки.

От напряжённой мысли Валерка даже начал грызть ноготь, как в детстве, но, опомнившись, сплюнул прямо на пол. Вот задача! Чему только ни учат в школе милиции, но в жизни всегда всё по-другому.

Валерка стал вспоминать, не рассказывал ли он о Костыле кому-нибудь. Нет, кажется, ни Деду, ни Пятакову он о нём ничего не говорил. Но что-то беспокоило его, вспоминались какие-то намёки на это дело.

Несколько месяцев назад, ещё когда Дед многое объяснял им из очевидных понятий, Валерка и Пятаков узнали, что весь их район в оперативном плане поделен на ЗОНЫ. За каждой оперативной зоной закреплена группа уголовного розыска, на милицейском языке — «зональники». Это было главное понятие для них, но Валерка сразу запомнил ещё и то, что по линии милиции общественной безопасности район был поделён на участки, каждый из которых обслуживал участковый инспектор. И это для них было не столь важно, за исключением того, что внутри оперативной зоны всегда умещалось от трёх до пяти участков, и со слов Деда, каждый уважающий себя зональник обязан знать и уметь работать с каждым участковым инспектором, обслуживающим участок, находящийся внутри его зоны.

И тогда Валерка вспомнил, что около месяца назад у него был разговор с Пятаковым о том, что один из участковых инспекторов с их зоны перевёлся в отдел вневедомственной охраны. Участок в настоящий момент документально закреплён за его соседом, участковым, обслуживающим соседний участок, и фактически не обслуживается никем, так как у того участкового, кому «подбросили» дополнительный участок, и своих дел хватает по горло. Тогда Валерка говорил это Пятакову, напоминая ему слова Деда о том, что им, «салагам»,

можно и нужно учиться контачить с участковыми и учиться у них, как знакомиться с населением, как проводить опросы, как общаться с ранее судимыми. Как обходиться с «кухонными гладиаторами», или по общепринятому — домашними дебоширами, как отличать запойных алкашей, издевающихся над живущими рядом, от загулявших работяг, устроивших дебош с семейством и т.п. Так вот, теперь, когда они уже походили несколько вечеров за участковыми, и это занятие им с каждым разом всё меньше и меньше нравилось, есть возможность самим надеть новенькую форму и, представившись новыми участковыми, набраться самостоятельной практики на свободном пока участке. В основном можно обойти интересующий их контингент ранее судимых за тяжкие преступления, познакомиться, так сказать, лицом к лицу, а не по фотографиям в альбомах Дедовской картотеки. Да и по адресам более мелких жуликов можно пройтись тоже. Прийти, будто новые участковые знакомятся с новым участком, с людьми, проживающими на нём. С одной стороны, никаких предвзятых отношений и никаких подозрений, зачем, мол, ходят, да чего вынюхивают. Получится узнать что-то путное, то хорошо, а нет, так тоже не плохо, для них и это опыт. Лучше, чем за спиной участкового ходить по квартирам и смотреть, как он сам общается с людьми по одному ему известному делу.

Пятаков тогда посмеялся над Валеркой. Сказал: «Поедешь как-нибудь на задержание или вызовут на кражу, там тебя твои новые знакомые и признают как нового участкового. Вот тогда Дед тебя не помилует, да он всё равно узнает, не сегодня, так завтра ему кто-то расскажет. Тогда что запоёшь?»

Скорее всего, Пятаков был прав, но Валерка его не послушал. Уж слишком заманчивая была идея поработать самостоятельно. Люди — ерунда. Ну, был вчера участковым, стал оперативником из розыска, им это не столь важно. Для основной массы милиционер — он и есть милиционер. А вот с Дедом действительно может получиться плохо. Дед уже предупреждал, что за их непоротые задницы он несёт ответственность, и в случае какой-либо самодеятельности с их стороны он исправит ошибку их родителей и пороть их будет лично. Шутка шуткой, но Дед мог испортить ему службу очень легко. В райотделе молодые ребята из следствия рассказывали легенды, как незадачливых молодых оперативников и следователей переводили служить в конвойную роту, занимающуюся в городе извозом арестованных от КПЗ в суд и обратно. Такая судьба испугать может кого угодно...

Не послушал Валерка ни Пятакова, ни страшных слухов, ни скребущих душу сомнений.

Как-то вечером он надел свою новенькую форму с погонами младшего лейтенанта и, рассматривая себя в зеркало, неожиданно вспомнил свою учёбу в школе милиции. Сейчас она казалась ему прекрасным и беззаботным временем, и тоска по родному городу и по родным и друзьям вспоминались лишь мелкими эпизодами. Больше вспоминались казарменные будни, лица друзей-товарищей, преподавателей, летние или осенние улицы уже, кажется, забытого города, бульвары, девчонки, подтаявшее мороженое, вечерние дежурства в составе пеших патрулей милиции, долгое стояние в оцеплении ревущего стадиона, редкие самоволки, встречи с девушками в тесных комнатушках общежитий...

Да мало ли что было за два года учёбы.

Около месяца Валерка выкраивал два-три вечера в неделю и, облачившись в форму, становился участковым инспектором милиции. Участок в основном состоял из панельных пятиэтажек, построенных в середине семидесятых годов, с узкими, загаженными мусором дворами и пропахшими залежавшейся пылью подъездами. Во дворах всегда больно бросались в глаза изломанные, исковерканные беседки и варварски погнутые и заросшие травой остатки металлических и деревянных конструкций детских площадок. С детства Валерка помнил ещё эти детские площадки как ярко раскрашенные весной карусели и деревянные лестницы, или уже облезлые, но мирно скрипящие под влюблёнными парочками в осенние тёмные вечера металлические массивные качели. Не освещённые, полутёмные подъезды выглядели ещё мрачнее из-за покоробившейся краски панелей, сломанных и погнутых ящиков для почты и нецензурных надписей на стенах. Да, многое поменялось за те годы, пока он служил в армии, а потом ещё был в школе милиции…

Переписав себе из зональной картотеки, как называл Дед шкаф, забитый разными справками и формами о ранее судимых жильцах нужного ему микрорайона, половину общей тетради в клетку с адресами, фамилиями, кличками и т.п. сведениями, Валерка терпеливо продолжал свою новую деятельность. Где-то ему открывали дверь сразу, где-то с опаской, а где-то просто откровенно посылали подальше. Иногда он попадал прямо в притон наркоманов, набитый большим количеством тел, лишь издали напоминающих людей. Несколько раз он прямо от дверей оказывался среди пьяных компаний; то злых, то разудало весёлых. Эти компании горланили песни и спрашивали больше, чем отвечали. Тогда приходилось выбираться, осторожно, медленно отступать или отталкиваться от протянутых рук, отпихиваться, освобождаться от вязких,

навязчивых объятий, как из липких захватов путан.

Пару раз ему пришлось подраться. Один раз довольно серьёзно, так, что он потерял фуражку, и нужно было возвращаться, уже размахивая пистолетом. Однажды ему пришлось даже убегать от пьяного, но довольно проворного мужика с топором, заподозрившего в нём любовника своей жены.

К концу месяца Валерке пришлось завести себе журнал, большую амбарную книгу, куда он подробно перенёс ранее отрывочно зафиксированные интересующие его факты, адреса, сведения о людях; кроме этого несколько обыкновенных бумажных папок с верёвочными завязками, где он в определённом порядке раскладывал старые справки и формы паспортного стола с фотографиями и с пометками на определённого человека со своими исправлениями на текущий день. Всё это добро он держал теперь в нижнем отсеке сейфа, который у них с Пятаковым был один на двоих, и представлял скорее два спаренных сейфа, поставленных один на другой. И если раньше, как и Пятаков, Валерка закрывал свой сейф, когда клал туда оружие или документы, которые временно для работы доверял ему Дед, то теперь он постоянно держал его закрытым и старался не широко открывать дверцу, когда открывал его. Валерке иногда казалось, что Дед что-то подозревает, но почему-то молчит. Но время шло, и он опять успокаивался.

Произошло это месяца через полтора. Всё это время Валерка продолжал вечерами «исполнять обязанности участкового», которые прерывались лишь суточными дежурствами в оперативной группе или заданиями Деда. Дед иногда брал их с собой на ночные задержания подозреваемых, реже в засады. То посылал с другими оперативниками на выезд по месту совершения преступления или с прокуратурой на выезд по месту не криминального трупа, вроде утопленника или повешенного. Так вот, в один из вечеров, когда уже лето начало кончаться, и сентябрьский ветер мёл по широким проспектам пыль вместе с опавшими листьями, Валерка забрёл в одну, на первый взгляд, обычную квартиру. По картотеке в квартире значился один ещё пока лично не знакомый Валерке тип, ранее судимый за разбойное нападение. Квартира, конечно, находилась на пятом этаже, что собственно говоря, для таких типов было не редкостью. Поднимаясь по тёмному подъезду, Валерка как раз думал об этом странном, на его взгляд, обстоятельстве и прислушивался к завываниям ветра, доносящимся через разбитые стёкла подъездных окон.

Интересующая Валерку дверь в квартиру оказалась с вмятинами от ударов, без признаков звонка и слегка приоткрытой. Но к

таким дверям он уже успел привыкнуть, подобные двери уже попадались ему. Странным было лишь то, что дверь была приоткрыта, и на её поверхности вообще не угадывалось каких-либо следов от замочных скважин или других признаков запоров или замков. Валерка приоткрыл дверь, она протяжно скрипнула. Изнутри не пробивалось ни лучика света. Показалось даже, что дверной проём сам поглощает весь проникающий в него свет. Было жутковато, тихо. Изнутри тянуло запахом каких-то застарелых лекарств. Пересилив себя, Валерка не подал голоса, а вошёл потихоньку вначале в коридор, потом в одну из комнат, заглянул в другую. Пахло старой мебелью, устоявшейся пылью и ещё чем-то затхлым со стороны санузла.

Комнаты чуть освещались уличным светом, беспрепятственно проникающим сквозь голые стёкла оконных рам. Под ногами чуть слышно поскрипывали половицы.

— Заходи, заходи, — как взрыв вдруг раздался каркающий, хриплый голос именно в тот момент, когда Валерка собрался пройти в кухню. Внутри у него что-то дрогнуло, но Валерка тут же громко хмыкнул над своим страхом и аккуратно перешагнул порог кухни.

Посреди маленькой, такой же тёмной кухоньки стоял квадратный стол, типовой, производства местной мебельной фабрики. Такие были в каждой третьей квартире в городе. Между столом и чуть светящимися стёклами окна располагалось огромное кресло, в котором тёмной громадой возвышался сидящий широкоплечий человек. Кроме этого в кухне можно было различить старомодную двухконфорочную плиту, а в углу раковину, в которую еле слышно стучали капли воды.

— Что скажешь? — опять прохрипел громадный невидимый человек в кресле.

Валерка подошёл поближе к столу и, напрягая глаза, разглядел большого, немолодого на вид мужчину, с неестественно откинутой в сторону ногой, кособоко сидящего в кресле. Улыбка его показалась Валерке вначале зловещей и недоброй, а нога оказалась протезом, прямым и таким же огромным, как и сам его хозяин.

— Чем у вас тут пахнет? — осторожно спросил Валерка, для того чтобы что-то сказать.

— Да собачку варили, — словоохотливо откликнулся одноногий и мотнул огромной косматой головой в сторону большой кастрюли на плите. — Да только всё уже съели, опоздал ты.

Вот так они и познакомились с Костылём.

Валерка отпихнул от себя листок с рапортом и поглядел на часы. До начала рабочего дня осталось только двадцать минут, а значит, до прихода Деда ему никак не успеть написать рапорт.

2

Костыль был бывшим уголовником, лет пятидесяти пяти, а может быть и больше. Его образ жизни, увечье и четыре тюремных срока наложили на него свой отпечаток так, что сказать что-либо точнее о его возрасте было сложно. В той квартире он прописан не был, и, с его слов, жил здесь он года два, после того как «умерла мать его кореша». Кореш же — некто Поздеев Виктор Петрович, которого и рассчитывал увидеть здесь Валерка в первый раз, уже полгода отбывал срок. «Не за местные дела и в далёком лагере», — как сказал о нём Костыль.

Выяснить у Костыля его фамилию или хотя бы имя Валерке не удалось. Вначале Костыль как бы не замечал этих Валеркиных вопросов, а потом как-то ответил, что для всех в округе он просто Костыль, но если Валерке этого мало, то пусть поищет его данные в милицейской картотеке. И Валерка решил, что узнает сам.

Однако со временем ему так и не удалось узнать о Костыле ничего больше того, чем он сам рассказывал. Всё потому, что Костыль был очень интересным собеседником и сразу расположил Валерку к себе тем, что совсем не обращал внимания на его милицейскую форму. С их первой встречи Костыль начал разговаривать с ним как с равным, без всяких заискиваний или, наоборот, напускного пренебрежения. После нескольких минут разговора он сразу попросил его в следующий раз принести сигарет и чаю. «Принеси листового — сказал он как-то запросто. — А то не люблю я этот в комках». Валерка понял, что он имеет в виду гранулированный чай. «Чифир из него выходит какой-то химический».

Нет, он, конечно, понимал, что Валерка из милиции, что он участковый инспектор, но разговаривал с ним как-то обычно, не так как все те, с кем Валерке приходилось общаться до этого. И это вызывало у Валерки ответное чувство доверия.

При желании, Валерка мог бы «пробить» через милицейскую картотеку данные на Костыля. Например, незаметно прихватив с собой одну из водочных бутылок, наполненных водой, которые Костыль постоянно держал на столе, видимо, для того, чтобы не вставать каждый раз, когда нужно было напиться. По отпечаткам пальцев на бутылке эксперты выдали бы ему всю известную информацию. Но вначале Валерка считал, что это сделать никогда не поздно, а потом это как-то само собой стало не важным.

Когда Валерка пришёл во второй раз и принёс все заказы, Костыль принял подарки молча и сам же затеял беседу. Он стал рассказывать Валерке про места заключения, в которых побывал, про друзей-приятелей, про

которых всегда добавлял «ныне покойные», про лагерные законы и ещё многое, что для Валерки было не столько ново, сколько интересно. Хотя сказать, чтобы Костыль не рассказывал ничего нового, тоже было нельзя. Многое из его последующих рассказов, когда Валерка стал появляться у него более часто, всё-таки были во многом познавательными и интересными, так как рассказчик Костыль был неплохой, умел он чем-то привлечь внимание.

Как-то он завёл разговор про тюремные порядки и правила, существующие между заключёнными, и стал вспоминать старые времена. А в конце разговора сказал: «Теперь уже не то. Беспредел наверху. Воровские законы похерили. Хотя говорят, тюрьмы ещё держатся, но надолго ли? Если скоро этих «барбосов» хотя бы половину на зоны отправят, тех, что в спортивных костюмах, которые стреляют в кого ни попадя, они, я думаю, и в лагерях порядки начнут менять. Потому что, если они на свободе привыкли бандитские дела творить, не оглядываясь на воровской сходняк, значит, и на тюрьме будут сбиваться в свои стаи и мимо воровских законов пойдут. Уж крови-то они не боятся». Костыль сокрушённо качал лохматой головой. «А молодые уже за ворами не пойдут, потому что там, в беспределе, жизнь красивей, богаче...»

После их второй встречи, которая мало чем отличалась от каждой последующей, Костыль сказал как будто бы невзначай: «Ты лучше ближе к ночи заходи. Ночью-то у меня теперь никого не бывает, не то, что раньше. Теперь много «крыш» есть таких, что и постель тебе чистая, и «хавчик» не хуже, чем в кабаке».

Валерка стал заходить к Костылю после десяти вечера, в конце продолжающихся и уже вошедших в привычку обходов. Он всегда старался принести Костылю чего-нибудь съестного, дешёвых сигарет, заварки. Боялся, что Костыль попросит принести водки, и тогда будет неудобно отказывать. Но Костыль об этом молчал, будто знал ту грань, за которую заступать нельзя.

Конечно, встречи их были не такими уж частыми, потому что времени не хватало не только на работу, но и на друзей и родственников, на вечеринки и на свидания с девчонками. Но всё-таки, все бытовые дела пока не сильно волновали Валерку, основное время он проводил на работе, а потому «участковые обходы» не забросил и о Костыле, естественно, никогда не забывал. Понимал и помнил, как учили, что свой собственный источник информации добывается и выращивается не сразу. Информация должна вначале собираться по крупицам, спешка и давление на источник на начальной стадии не допускаются. Но Валерка даже и не думал пока ни о чём серьёзном

по отношению к Костылю. Так иногда, вспоминая его странные монологи, пытался найти в них что-то интересное для работы, но не находил. Вопросы Валерка Костылю больше уже не задавал, а чего ходил к нему и сам не знал, просто было интересно слушать его, когда ещё за службу успеешь столько узнать. Он не ждал каких-то откровений от Костыля, не ждал помощи в своей работе и не за это носил ему продукты и табак.

Однако, в какой-то степени даже неожиданно для Валерки, помощь от Костыля пришла где-то месяца через два после их знакомства. В один неприметный октябрьский вечер, при обычной встрече, Костыль закурил дарёную Валеркой «Приму» и вдруг стал говорить о банде Боцмана. Рассказал, что поганые люди были, поганые дела делали. Рассказал, кого из предпринимателей грабили, и у кого что вымогали, угрожая жизни жёнам и детишкам. А в заключение сказал, что рад, что их наконец-то взяли. «Пусть помотают срок, — сказал Костыль. — Давно пора. Дуракам, конечно, всё равно, а всё же, может быть, ума им добавят там».

Про банду Боцмана ходили громкие слухи и ею занимались опытные опера из городского УВД. Валерка краем уха слышал про это дело и то отрывочно, без подробностей. Поэтому удивился он и не удержался от вопроса, откуда же, мол, ты знаешь про это?

Костыль как обычно ничего не ответил и перевёл разговор на другое. Стал рассказывать, что совсем недавно, недалеко отсюда, через две улицы, хоронили одного молоденького парня. Паренёк хоть и не из блатных, но с блатными жил неплохо. На похоронах знакомые Костыля рассказали ему, что парня зарезал гнида одна по кличке Курица. Здоровенный бугай, один из этих отморозков, что вечно ходят в спортивной форме и возят «калаши» (автоматы Калашникова) на заднем сиденье своих автомашин. Что там вышло, блатные точно не знали, но люди рассказывали, что Курица ткнул ножом парня возле дома № 2 по ул. Макаренко. Это уже потом, мол, парень кое-как дошёл до своего двора, да там и кончился.

«Рэкетиры! — презрительно сказал Костыль. — Придумали, тоже мне, погремушку красивую. А по-моему, беспредел, он и есть беспредел. Душегубы, одним словом, по-вашему».

В тот вечер Костыль говорил много что ещё. Но Валерка не забыл про зарезанного недавно парня. На следующий день он уже выяснил, что райотделовские оперативники из отдела по тяжким преступлениям по раскрытию в связи с прошествием времени работают уже вяло. Что дело находится у молодого следователя и что в связи с отсутствием лиц, подозреваемых в

совершении преступления, дело начинает зависать. То есть превращаться в «висяк», как говорят в райотделе.

В ближайшие дни Валерка взялся за дело агрессивно. Сам обошёл все квартиры по ул. Макаренко в доме два, и четыре, и три, и пять... Он мог бы продолжать, но собранного материала было больше чем достаточно. Допрошено было около четырёх свидетелей, которые непосредственно видели, как и кто зарезал парня во дворе дома №2 по ул. Макаренко, и ещё больше людей, которые видели начало скандала и ушли раньше, чем Курица ударил парня ножом.

Валерка быстро установил по кличке и по словам свидетелей фамилию и место жительства Курицы. Очень спокойно договорившись с одним молодым оперативником, дежурившим в эти сутки в оперативной группе, приехал на дежурной машине к дому Курицы и взял его утром, легко, без скандала, навешав тому лапши о хулиганстве в отношении соседки по подъезду. Курица разнервничался, изображая невинно оговорённого и почти сам сел в дежурный УАЗ для встречи с этой «лярвой», которая его оговорила.

В одном из кабинетов дежурной части Валерка не без труда, но всё-таки прижал фактами Курицу и выдавил из него письменное признание, что парня-то он всё-таки пырнул, случайно, конечно, так, мол, получилось... Но это уже к делу отношения не имело. Валерка передал весь собранный материал следователю и, предоставив ему самому мучиться по поводу ареста Курицы и разных других формальностей, с чистой совестью на исходе вторых суток без отдыха пошёл домой отдыхать.

Когда после двух дней отсутствия Валерка появился в своём кабинете, то Дед, покачав головой, сказал: «А вот и Борисов! Хорошо, что позвонил, а то мы с Пятаковым думали, что ты с девчонкой где-то завис, и тебя прикрывать уже надо. Так хоть одно и то же с начальником следствия на разводе говорили». И по его всегда насмешливому тону, Валерка так и не понял, осуждает его Дед или таким образом одобряет. Колька Пятаков тоже неопределённо улыбался, мирно и чинно восседая за своим столом. И вот тогда впервые Валерка почувствовал какое-то расстояние между ними и собой, и ему было неудобно и даже стыдно за что-то, хотя никакой вины вроде бы за ним и не было.

У Костыля Валерка появился только через две недели, и сразу из дверного проёма почувствовал крепкий запах дурного самогона, какой обычно предприимчивые бабушки продают из-под полы, ночью, на площадях города, для любителей дешёвого пойла. Костыль сидел на полу в кухне, привалившись спиной к своему огромному креслу, и казался

маленьким и большеголовым из-за того, что был без протеза.

Видимо, заслышав в тишине Валеркины шаги, Костыль дёрнулся и повернулся тяжело в сторону двери.

— А-а! — пьяно протянул он. — Разговелся я. Кореша торбу подкинули, так что ты иди, — закаркал он более отрывисто, чем всегда. — Потом придёшь, сейчас с меня только гадость может вылиться через край, и более ничего.

Валерка ушёл и решил пока не ходить к Костылю. Но его постоянно мучил вопрос, на который он не мог никак получить ответ. Кто же приходит к Костылю? И что это за люди, которые приходят к нему только днём? Ходит ли сам Костыль куда-либо? И много других подобных вопросов.

Поэтому Валерка, как новый участковый, решил подробно познакомиться со всеми жильцами первых трёх этажей подъезда, в котором жил Костыль. Это заняло у него около недели. Он как обычно приходил в квартиры, представлялся, спрашивал об имеющихся жалобах, и если жилец попадался разговорчивым или пожилым, то невзначай спрашивал о Костыле.

Узнал Валерка не много, но достаточно. Костыль, оказывается, регулярно покидал свою квартиру и ходил на своём протезе «очень даже не медленно», как сказала одна разговорчивая бабуля с первого этажа. Сосед с третьего этажа, весёлый дядька-садовод, рассказал, что к Костылю постоянно ходят с утра какие-то типы. Ведут себя всегда тихо, но люди приходят не одни и те же, а постоянно разные. Пить Костыль не пьёт, дворовые алкаши к нему даже и не подходят, но раза два в месяц, а иногда и реже Костыль напивается у себя дома и тогда орёт похабные песни, но не особенно долго. А вообще-то по ночам он не шумит, и вреда никакого от него нет.

«Только вот последнее время по ночам к нему кто-то стал ходить. Худой, высокий. А так разве ночью увидишь, кто их разберёт?» — сказала на прощанье бабуля с первого этажа.

«А то, что вы ходите контролировать, — сказал пенсионер-садовод, угощая Валерку чаем с вареньем личного изготовления, — это правильно. Уголовник он и есть уголовник...»

Это было всё, что он узнал. Если не считать, что почти каждый из тех, кого он посещал, считал своим долгом рассказать ему про то, как тяжело стало жить при отсутствии денег, что пенсии задерживают уже несколько месяцев, что заводы разворовали, и лучше бы милиции заняться серьёзными ворами, теми, кто не даёт пенсии и заработные платы. Но к таким разговорам Валерка уже привык за свою недолгую деятельность в качестве участкового инспектора и на такие предложения отвечал бойко, уже не

теряя цели разговора за дежурными речами о развале производства и страны.

У Костыля Валерка появился через неделю, как только стемнело. Но тот почти от порога сразу заявил ему: «То, что у соседей про меня пробивал, это твоё дело. Но теперь приходи пореже. Мне лишние разговоры, кто да что, и непонятки корешей тоже не к чему». На эти слова Валерка не нашёл, что ответить. Отдал Костылю мамины пирожки, которые прихватил утром, и как обычно пару пачек «Примы» и три пачки чая.

— Всё, иди! — отчуждённо сказал Костыль — Приходи теперь раз в неделю, но не в один и тот же день. Выбирай по случаю, как покажется.

Валерка шёл домой по плохо освещённым ночным улочкам городка и думал о том, что отношения с Костылём, скорее всего, кончились. Костыль или обиделся, или испугался, и теперь его «источник знаний» закрыт.

Однако, когда Валерка, выбрав время, опять зашёл к Костылю, тот встретил его приветливо, как будто ничего и не было. Опять весь вечер они сидели на кухне и Костыль рассказывал о тюрьме, о лагерных бунтах, о местных воровских авторитетах...

Валерке показалось, что всё останется по-прежнему. Но сразу после этой встречи Костыль исчез. Больше месяца Валерка заходил в пустую квартиру, чувствовал, как в доме запустили отопление, и в квартире Костыля появились новые запахи. Иногда он ходил по комнатам, будто искал разгадку исчезновения Костыля, но не мог найти. Всё было на своих местах: пыльная мебель, стопки книг за грязными стёклами шкафов, мохнатое огромное кресло, ржавая раковина с капающим краном. Через месяц Валерка стал заходить реже, привыкнув к мысли, что Костыль больше не появится.

Но, по прошествии месяца, в ноябре, когда уже подмораживало, Валерка, по привычке заглянувший в тёмный проём квартиры Костыля, вдруг неожиданно услышал знакомый голос.

— Заходи, заходи! Я тебя ещё за два этажа услышал.

От Костыля пахло перегаром, он сидел, развалившись в своём кресле перед кухонным столом, заваленным какими-то пакетами и свёртками, видимо, с чем-то съестным.

— На поминках был, — сообщил Костыль. — Валю Венчика хоронили, упокой его душу... Валя со мной ещё в Чишкане сидел. Страшное место. Жара, зараза разная, желтуха. Он ещё там «тубик» схватил, по молодости.

Костыль мотнул рукой на заваленный пакетами стол: — Сегодня я тебя могу угостить, начальник. Но ты не будешь, конечно? А меня уже и накормили, и напоили за эти дни...

Костыль помолчал и стал говорить так, будто они продолжали когда-то начатый разговор.

— Это Венчик завалил Колесо две недели назад. Колесо был из этих, из новых, «отвязанный» на всю катушку. Сколотил бригаду и давай промышлять по части продажи техники. Угонял из города по десять машин в месяц. Тачки угнанные он где-то сбывал, но в общак кроил по-чёрному, давал крохи. А общак, начальник, это не только воровская касса. Это ещё ларьки на улице Советской, через которые продукты идут в лагеря для подогрева зекам.

А сидельцы сейчас на зонах впроголодь живут. Страсть. Я такого и не помню, чтобы в тюрьмах с голодухи пухли. Времена вернулись, как из рассказов старых зеков в мою молодость.

Костыль вздохнул, и Валерка в темноте услышал, как он копается в пакетах на столе. Потом на столе появилась бутылка водки с яркой этикеткой, какими были набиты все ларьки на центральных улицах города. Костыль посидел молча, потом сказал: «Нет, один не буду...» — и тут же продолжил прерванный рассказ.

— Так Венчик сам вызвался порешить Колесо. Знал, что пока вы, менты, будете копать, он сам уйдёт. У него «тубик» был в открытой форме, кровью давно уже харкал.

Вот после этого Костыль и рассказал то, что не давало долго уснуть Валерке в эту ночь. То, из-за чего он и прибежал сегодня на службу в такую рань.

Рассказ Костыля заинтересовал Валерку, конечно, не тем, что какой-то вор убил главаря преступной группы. Да к тому же убийца сам уже был покойником. Такая информация могла заинтересовать кого-то только чисто фактически. Дед как-то рассказывал им с Пятаковым, что лет шесть назад убийство на территории любого из районов города было делом редким, и поэтому относились к этому серьёзно. По каждому убийству тогда в райотдел приезжали из городского УВД опера из группы по раскрытию тяжких преступлений, и расследование производилось в основном ими, уже пожилыми и опытными операми. А местные, райотделовские, были у них на подхвате, в помощниках. Сейчас же, когда в сводках только их райотдела за сутки фиксировалось иногда до четырёх криминальных убийств, к этому стали относиться спокойнее. Создали в каждом райотделе отдел по раскрытию тяжких преступлений, с составом три-четыре человека и требовали с них раскрытия всего вала не только убийств, но и изнасилований, разбоев, которые захлестнули город в последние годы. Конечно, к раскрытию тяжких преступлений привлекали всех, и в первую очередь «зональников», таких, как Валерка и Колька Пятаков, но это, как говорил Дед, только путало все карты, так как за результат, то

есть за раскрытие не отвечал никто. Хотя за низкую раскрываемость убийств и попадало всем поровну, но это дела не решало, а лишь заставляло оперативников уголовного розыска надеяться на удачу. Вот поэтому, если сутки проходили без убийства или разбоя, то и считали, что день выдался на редкость удачным.

Валерку заинтересовало в рассказе Костыля другое.

Автомобили угонялись в городе с завидной периодичностью. Город был лидером по области по показателю украденных автомобилей в год. Группы по угонам автотранспорта существовали уже в каждом райотделе, но автомобили продолжали исчезать бесследно. Найти угнанный автомобиль в городе считалось почти не реальным. Вот поэтому так заинтересовал рассказ Костыля Валерку.

Со слов Костыля, выходило, что в недавнем прошлом некто, по кличке Колесо создал преступную группу, занимающуюся угонами и продажей автомобилей. Дела у данной группы шли неплохо. Ребята стали жить шикарно, посещать дорогие рестораны, покупать золото и драгоценности, разъезжать в дорогих автомобилях и проявлять в отношениях с воровскими авторитетами небрежность и самостоятельность.

Естественно, это привлекло внимание воровских авторитетов города, и они без труда установили, что Колесо продаёт автомобили за кордон, в Казахстан. Причём продаёт по схеме, которую местные воры считали своей, так как именно они придумали и до сих пор осуществляли продажу краденых автомобилей таким путём.

Так называемая граница с Республикой Казахстан находится всего в десяти километрах от черты города, пересечь которую можно было легко по множеству больших и малых дорог, существующих в необозримой и ровной как стол степи, окружающей город. Пограничников как таковых на данной границе пока не существовало ни с одной, ни с другой стороны, а на единственной легальной дороге, соединяющей город с соседними деревушками и городками на территории Казахстана, стоял одинокий таможенный пост. Возможно, в своё время автомобили и перегонялись по объезжим дорогам с вооружённой охраной, как сразу представил себе Валерка. Но в какое-то время была придумана довольно простая и хитрая схема, логично вытекающая из взаимодействия воров на этой и той стороне границы.

Местные воровские авторитеты имели связи с преступной группировкой в Актюбинской области, которая была образована по национальному признаку и состояла в основном из чеченцев. Группировку возглавлял некто по кличке Захар. Так вот, люди

Захара находили на территории Казахстана покупателей на автомобили, которые заказывали марку, цвет, год выпуска и другие показатели на автомобиль, который хотели бы купить по сходной цене. При достижении договорённости по цене, люди Захара сообщали данные на автомобиль в город, наверное, по мобильной связи, воровскому авторитету, ответственному за эти операции. Люди этого человека присматривали, находили и угоняли автомобиль с заказанными параметрами, после чего ставили его в «отстойник», то есть в один из гаражей в многочисленных гаражных кооперативах, почти кольцом окружающих город.

После этого сведения об автомобиле, необходимые для заполнения паспорта на транспортное средство, а именно, номер двигателя, кузова, шасси и тому подобное, передавалось людям Захара. В Казахстане определённые люди шли в одно из отделений Актюбинской автомобильной инспекции к заранее подкупленным людям, работающим там, и выписывали по указанным данным новенький паспорт транспортного средства Республики Казахстан, а также получали новые номера на якобы недавно купленный автомобиль.

Через месяц после кражи автомобиля, когда меры по его поиску уже утихали, с казахстанскими документами и номерами на автомобиль перегонщик, с доверенностью на право управления, приезжал в город, платил воровскому авторитету его долю, прикручивал казахстанские номера на автомобиль и спокойно пересекал оба таможенных поста. На обоих постах помечали, что проехала автомашина Республики Казахстан, приобретённая там же. Номера двигателя, кузова и государственные номера соответствовали данным, указанным в паспорте транспортного средства. Вопросов ни у кого не возникало. Схема работала идеально, без сбоев.

Со слов Костыля, таким образом за границу уходили не только легковые автомобили, но и автокраны, экскаваторы, грейдеры и другие строительные и специальные автомобили.

Валерка закончил рапорт и только тут обратил внимание, что в кабинете уже сидели на своих местах и Дед, и Пятаков. Валерка покосился на часы на стене и увидел, что рабочий день начался уже полчаса назад. Что было за эти полчаса, и как его коллеги оказались в кабинете, Валерка совершенно не помнил, и поэтому испытывал некоторую растерянность. Получилось опять, что он слишком увлёкся работой и ничего и никого не видел.

Валерка видел, что всё-таки что-то пропустил, так как и Дед, и Пятаков демонстративно занимались своими делами, не обращая на него никакого внимания.

Гадать было глупо и Валерка, помедлив, с тяжёлым вздохом встал с места и, гипнотизируя взглядом Деда, направился к его столу. Написанный рапорт он скромно прижимал к груди.

3

Нет, Дед не спрятал Валеркин рапорт в стол, и разговор на потом откладывать, как ни странно, не стал. Вначале он внимательно прочитал рапорт, и первое, что сделал после долгой, показавшейся Валерке бесконечной, паузы, это обратился к Пятакову.

— Коля! Иди, перекури или в гости сходи к своим знакомым «следачкам». Как их там, этих молоденьких длинноногих, Света и Катя, кажется?

Увидев озадаченный взгляд Пятакова, Дед подбодрил его довольно жёстко: — Давай, давай, иди на перекур.

Пятаков, ворча что-то под нос, вышел из кабинета, и когда дверь за ним закрылась, Дед наконец-то поднял взгляд на Валерку, продолжавшего стоять у его стола.

— А ты чего стоишь, сынок? — с притворным удивлением спросил он. — Иди, садись. Я тебе не начальник штаба, строевую подготовку с тобой проводить не буду. Да и праздников не предвидится, ноябрьские прошли...

Дед некоторое время вертел в руках Валеркин рапорт, будто бы хотел увидеть в нём ещё что-то. Лицо его с каждой минутой становилось всё мрачнее и мрачнее.

— Информация любопытная, — вдруг прямо сказал он. — Как вы, молодые, сейчас выражаетесь, информация «в цвет», то есть, я так понимаю, в самую точку.

Дед вдруг резко бросил рапорт на стол перед собой и добавил:

— Однако я думаю, для тех, кому я должен передать твой рапорт, его содержание не будет большой новостью.

Дед поморщился и как-то виновато отвёл глаза от вопросительного Валеркиного взгляда.

— Даже больше тебе скажу, — добавил он. — Возможно, что твой рапорт будет для них только головной болью.

— Да для кого для них? — громко выкрикнул Валерка, не выдержав медлительной речи старого опера.

И сразу после своего крика увидел, как лицо Деда, из незнакомого, скучно-тоскливого, становится вдруг злым и строгим. Видимо, сдерживая приступ бешенства, Дед судорожно жевал губами и играл желваками на челюстях. Такое Валерка уже видел и поэтому тут же притих.

— Вот что, мальчик, — уже жёстко заговорил Дед. — Ты случайно не забыл, в какой стране мы живём? Нет?

Дед бросил локти на стол перед собой и уставился на Валерку побелевшими глазами.

— Ты хоть помнишь, какой сейчас год? Помнишь, да? Сейчас тысяча девятьсот девяносто пятый год, ноябрь месяц. Не девяностый, и даже не девяносто второй, — девяносто пятый. В Чечне, если ты не забыл, идёт война. И наши ребята с райотдела вместе с другими скоро будут там, уже готовятся. А наш городской ОМОН уже месяц как туда уехал. Но это ты знаешь! А вот то, что ты не знаешь и то, что тебе вообще-то и знать не положено.

Дед оборвал свою речь и будто бы задумался, говорить ему дальше или нет. Он набычился, склонив низко седеющую голову, и заговорил намного тише:

— Ходят слухи, что банда Захара имеет около двухсот человек бойцов. Хорошо вооружённых бойцов, разбросанных по всей Северо-Казахстанской степи. Конечно, в основном это чеченцы.

Так вот, последнее время бойцов этих меньше не стало, но некоторые из них почему-то исчезли, а на их месте появились другие. Эти другие свободно носят униформу независимой республики Ичкерия, и большинство из них почти легально лечатся от огнестрельных ранений во всех районных больницах Актюбинской области. Ты учёный мальчик и должен понимать, что это значит.

И ещё, многие заказные убийства в нашей области стали последнее время не только более жестокими, но и более наглыми и профессиональными. А проще говоря, очень уж они стали походить на террористические акты и боевые засады.

Дед замолчал, подумал, потёр рукой наморщенный лоб и добавил уже совсем тихо: — Но и это не всё, Валера!

И то, что Дед назвал его первый раз по имени, и потому, как он это сказал, Валерка понял, насколько Дед сейчас сосредоточен и обеспокоен.

— Главное в том, что если бы я, хотя бы наполовину был уверен в том, что твой рапорт с грифом «секретно», который должен попасть наверх, мирно ляжет в секретной части, как ему это и положено. И что информация эта будет использована как положено, то я спокойно дал бы твоему рапорту ход. Но дело в том, что я больше чем наполовину уверен, что об этом рапорте будет знать лично Захар. И даже если он его не очень заинтересует, то и в этом случае за твою жизнь я не дам даже и копейки.

Дед замолчал и отвернулся к окну и потом чуть слышно добавил: «Хотя сейчас и денег-то нет таких».

Дед молчал, а Валерка напряжённо смотрел в его сгорбленную спину. Он чувствовал, что это ещё не всё. Он ждал чего-то ещё, то, что Дед обязан был сказать ему. Что-то ещё очень важное. Что-то не касающееся ни жизни, ни смерти, ни работы, что-то, что он всегда не договаривал, и именно это всегда придавало его словам определённую значимость. Но сейчас, Валерка был уверен в этом, он должен

был сказать ему то главное, что Дед недоговаривал всегда. Сейчас он был просто обязан это сказать!

Но Дед, не поворачивая головы, сказал просто: — Прошу тебя забрать свой рапорт и порвать его. Не ради своей жизни, а ради того, чтобы когда-нибудь вспомнить о нём. Чтобы было кому вспомнить и восстановить его.

Дед повернулся, и Валерка вдруг увидел, что он улыбается. Просто улыбается, без злости и насмешки.

— Я, конечно, не наш замполит, — опять со свойственной ему насмешкой в голосе заговорил Дед, — задушевных бесед вести не умею, особенно с липовыми участковыми инспекторами. Но пойми правильно. Не то время сейчас! Хотя в любое время зря голову под топор ставить не стоит.

Дед взял рапорт двумя пальцами за краешек и аккуратно протянул его Валерке. А Валерка, забрав рапорт, с недоумением и досадой подумал о том, что Дед опять как будто обманул его в чём-то, опять не сказал того самого важного, что всё объяснило бы ему без этих насмешек, полунамёков и предостережений.

4

24 августа 1997 года на одной из просёлочных дорог Дагестана, примыкающей к административной границе с Чеченской республикой, на заложенной боевиками мине подорвался милицейский автомобиль УАЗ, осуществляющий патрулирование административной границы.

При взрыве погибли трое сотрудников милиции, находящихся в данном районе в командировке, в составе сводного отряда милиции Оренбургской области.

Тела погибших сотрудников милиции:

— милиционера-водителя сержанта Ковалёва Павла Васильевича, 1972 года рождения;

— оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта милиции Пятакова Николая Александровича, 1970 года рождения;

— оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта милиции Борисова Валерия Николаевича, 1969 года рождения — будут направлены на родину, для захоронения со всеми воинскими почестями.

Вера АРНГОЛЬД

«Я СО СТЕПЬЮ, НАВЕРНОЕ, СХОЖА...»

Вера Викторовна Арнгольд родилась в Орске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала в областных газетах и журналах, пресс-службе городской администрации, православной прессе. Поэт, режиссёр и продюсер нескольких художественных и документальных фильмов. Лауреат ряда журналистских премий, национальной экологической премии «Берестяной свиток», обладатель первого приза в номинации «Indifilm» (Испания), «Бронзового Реми» (США). Живёт в Оренбурге.

* * *

Если ночью услышу — гремят
поезда,
Буду думать всегда о тебе,
Жёлтый свет фонарей и вода,
как слюда,
В белокаменной слободе.
По карманам гоняю холодный
алтын,
Погадать на тебя или нет?
Переулок вдыхает туман,
мокрый дым
И скрывает внутренний свет.
А потом, словно враг, нападёт
пустота
С острым лезвием зимней
тоски,
Жизнь — как пуговица, что
пришита не та,
Скоро инеем стянет виски…
Простою до утра, прислонившись
к стене,
В окруженье железных оков,
Чтобы сердцем услышать
в глухой тишине
Звук знакомых любимых
шагов.

* * *

Когда весь мир расчерчен на
квадраты
Холодным ветром осени,
скользит
Листва безвольно черепичным
скатом,
И в шорохе том слышится
санскрит —
В твоих речах, немолкнущей
браваде,
В чернильных пятнах на худых
руках...
А птицы над Нескучным
мёрзлым садом
Кричат на вавилонских языках.
И кажется, что это не смятение,
А вечный спутник для твоей
души,
Которая не жаждет воскрешения
И никуда, пожалуй, не спешит.

ЗИМА В ГАГРАХ

Как присолен асфальт у
бульвара!
Лёгкой пылью покрыт, словно
сон.
В полосатой палатке «Тамара»
Пьёшь горячий куриный
бульон.
В зимних Гаграх на улицах
гулки
Одиноких прохожих шаги.
Ты закуришь в сыром переулке,
Где в тумане не видно ни зги.
Будешь долго ходить по
бульвару,
Пальмы мокрые в море глядят.
На балконе в халате Тамара?
Впрочем, мало ли в Гаграх
девчат...
В лёгких — холод и запах
магнолий,
А на сердце тревога и жуть.
Будто с крашеных стареньких
кровель —
Лихорадки любовная ртуть.
Нужно взять себя в руки,
напиться
Дорогого сухого вина.
И в подарок — красивого ситца,
Вдруг Тамара сегодня одна?
Синеглазые лодки развесив
На трясущихся мокрых плечах,
Море пенится бешеной песнью,
Рукоплещущим эхом в горах.

РАЗГОВОРЫ СТЕПНОГО ВЕТРА

У реки — тишина и холод,
А в степи — озверевший ветер
Васильки наклоняет долу,
Бьёт по ирисам, пылью вертит.
Я со степью, наверное, схожа,
Красотой не хвалюсь,
смиреньем,
На, бери меня, если сможешь,
Понедельником, воскресеньем.
На подушках, в шатрах,
в полыни,
У дороги язык горчичный.
Мужем будешь ты мне отныне
И любовником приграничным.
На Урале найдём мы лодку,
Поплывём по сомам и звёздам,
Запивая вином и водкой,
Что минуло и помнить поздно.
Маки красные — кровь и степи,
Горизонт тетиву срывает,
Что же ты закрываешь веки?
Руку дай, я иду по краю.

* * *

Тени мечутся по асфальту,
дай мне руку, зажмурь глаза.
Синий вечер холодной смальтой
в небе выложил образа.
Ледяною ладонью ветер
по прохожим наотмашь бьёт.
Словно нету тепла на свете,
словно лето и не живёт.
А в карманах не мёрзнут руки,
если вместе смеяться, петь.
Нам неведома боль разлуки,
ревность — злая рыбачья сеть.
Улиц белые полотенца —
до утра не истопчешь лён.
Первый снег похож на младенца
или детский весёлый сон.
А под свитером грубой вязки,
где на нити дрожит звезда,
сердце тянет червонной краской
для любви свои провода.
Словно ижицею, колеблясь
в тёмный утренний сонный час,
уцепился за них троллейбус
и везёт потихоньку нас.

СОЛЬ-ИЛЕЦК

На рельсах соль, на коже соль,
и горизонт
зарос полынью и от солнца лёг
в пунктир.
Дрожит над пляжем кружевной
небесный зонт,
и зазывает пенной пристанью
трактир.
По берегам, позёмкой белою
шурша,
шагает чайка, в крике разевая
клюв,
и бесприютной кажется душа,
фонарь китайский огоньком
раздув.
Разносит ветром пыль, чужую
речь,
в движенье вечном колесо
судьбы,
и только ночью некому стеречь
солёный привкус раненой губы.

СТАРАЯ КАЛИТКА

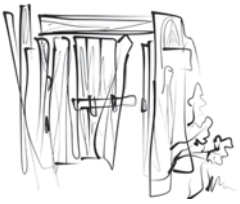
Ветром принесло, к щеке
прилип
виноградный лист, от крика
красный.
Заросли из мяты. Петель скрип
у калитки ржавой, где напрасно
осень надышала на ключи.
Не закрыть ворота — вот причина
слёз холодных, и теперь молчи,
сигарету жги до середины,
обжигая пальцы на ветру,
медь, вода — на треть уже
испето,
превращай серьёзное в игру,
как велит несбывшееся лето.
Как велят на стыке поездов,
завернувшись в простыни
плацкарта,
откровенья полиморфных снов,
козырь превратив в четыре
карты.
У калитки старой тяжкий нрав,
сладить с ней, поверь, — уже
полдела!
Не ищи среди высоких трав,
что прошло, пускай не отболело.
Вмиг озябших, словно воробьи,
облаков летучих серый полдень
Мокрыми мазками тихо длит
и пространство жалобой
наполнит.

ВЕЧЕРНЕЕ

Замолчи, сверчок, не нужно
звона!
Спрятался куда-то под
кровать…
В небе накрошили поролона
Синие чернила промокать.
Что с того, что ты поёшь
сердечно,
В мятный запах окунув
фальцет?
Всё проходит, и любовь не
вечна,
И не нужно истин, если нет.
Плакать ли о том, что он
хороший,
Бить ладонью горько по столу?
Летняя трава стоит
нескошенной,
Ветром завивается в юлу.
Дочь ветров — печалиться
не стану,
Слёзы сохнут, поцелуй горит.
У реки — асфальта автобана
Жизнь ночная, уличный зенит.
Не приедешь, поезда не ходят,
Нет угля, замёрзли провода?
У тебя не сердце, а просодия,
У меня — горячая звезда.
Только говори, а не молчи!
У стихов — не слоги, а лучи.

* * *

Если снег разлучит нас
холодной своей полосой,
словно жесть подоконника,
ветром жестоким раздетой,
Я останусь стоять
И, поверь, не пойду за тобой
по шершавым камням
прошлогоднего жаркого лета.
Я останусь стоять
за чертою безвизовых рек,
где чужие созвездия
светят сквозь сжатые веки,
где каштаны и пальмы
отроду не видели снег
и где люди не знают,
что можно влюбиться навеки.
На прощание спой,
а потом я уйду в никуда,
там не носят пальто
и разлука не пишется слитно,
и на мельнице времени
в лёд превратится вода,
если снег разлучит нас…



Вячеслав ЛЮТЫЙ

СОЕДИНЯЯ КРОВНОЕ И ЕВАНГЕЛЬСКОЕ

Юрий Кузнецов и его поэтические наследники

Вячеслав Дмитриевич Лютый родился в 1954 году в городе Легница Польской народной республики. Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный институт им. А. М. Горького. Литературный критик, публицист, председатель Совета по критике Союза писателей России. В настоящее время – заместитель главного редактора журнала «Подъём». Лауреат премии Общественной палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры», премии журнала «Подъём» «Русская речь» (2004), премий журналов «Ковчег» (2008), «Русское эхо» (2009), премии Союза писателей России «Слово-17». Ведущий рубрики «Литературная критика» журнала «Гостиный Дворъ». Живёт в Воронеже.

С творческим наследием Юрия Кузнецова неразрывно связано понятие русского мифа. Обозначая в поэзии родовые чувства и интуиции, обращаясь к древним отеческим образам, Кузнецов шаг за шагом соединял кровное и евангельское. Такой художественный опыт можно считать предосудительным, еретическим, однако он вовсе не противоречит библейской заповеди «чти отца своего». Хотя привычно мы относим эти слова к сугубо семейным взаимоотношениям. Кузнецов же старался раскрыть в первую очередь их метафизическое содержание, а исторический контекст в его художественных построениях уходил на второй план.

Не однажды было сказано, что завтрашний день русской поэзии будет реализован в контурах русского мифа. Такая интерпретация литературного развития

выглядит притягательной, грозной и перспективной. Однако тотальное внедрение её в творческую жизнь способно сузить границы нашего бытия, поскольку отечественная поэзия всегда отличалась огромным спектром тем и панорамой изображения жизни. Тихая лирика, гражданское горение, философское сосредоточение и многие иные ракурсы поэтического зрения требуют самого разного эстетического и интеллектуального подхода к материалу. Отказываться от векового художественного опыта нельзя и приводить его к каким-то одним лекалам просто глупо.

На самом деле русский миф растворён в современной поэзии и присутствует в стихах порой в скрытой форме. Есть ряд поэтов, чьи произведения впрямую не соотносятся с практикой Юрия Кузнецова, но примыкают к ней вполне определённо и при ближайшем рассмотрении оказываются её дальним расширением. Русский миф в разной степени оказал влияние на стихи Владимира Скифа, Светланы Сырневой, Евгения Семичева, Дианы Кан, Геннадия Ёмкина, Александра Нестругина. Лирический герой в их сюжетах тонко чувствует природу, видит её волшебную многомерность, понимает значение речных, лесных, полевых знаков и примет. Объём живой среды, окружающей русского человека, насыщен дуновениями запредельного, и нужно вспомнить древние смыслы, чтобы ощутить себя в единстве с Богом созданным природным окоёмом. Так возникает почти звериное чутьё ко всему внешнему у героя стихотворений Нестругина. И ты понимаешь, что перед тобой — неведомо как ожившее устроение души ещё былинного времени.

Организация пространства и как будто житейских действий у Светланы Сырневой смещена в бытийную сторону. Детали вневременной картины подсвечивают социальный контекст и узнаваемый современный пейзаж. Но внезапно на первом плане властно проявляются черты извечного русского характера. И это двойное «выглядывание» таинственного и онтологически знакомого из обыденности завораживает читателя, в сердце которого неожиданно начинает аукаться наше забытое и во многом попранное седое прошлое.

Странное соединение мифологического письма Кузнецова и образа мира «по Николаю Рубцову» найдём в стихотворениях Владимира Скифа. Примечательно, что миф здесь являет себя в пограничных ситуациях, когда речь идёт о жизни и смерти человека и страны, истории и самой родной земли. Тогда как мягкая, сугубо лирическая интонация возникает в сюжетах глубоко сокровенных. Впрочем, элементы мифа можно найти и в творчестве самого Рубцова.

Так важнейший ключ к осмыслению и изображению русского

мира на изломе тысячелетий появился в поэтическом творчестве Юрия Кузнецова в качестве непререкаемой доминанты, и уже затем мифологическое видение событий как будто стало «подтягиваться» к этому смысловому стержню, обнаруживая себя в самых разных именах и лирических вселенных. Наталья Кожевникова, Валерий Михайлов, даже погружённый в повседневность Юрий Перминов — все они кровные братья и сёстры русского человека, воплощённого в образах Кузнецова.

У Юрия Кузнецова нет и не может быть прямого поэтического наследника, потому что в литературе такая характеристика обладает качествами вторичности. Но словно магнит, Кузнецов стянул в одно поле самых разных поэтов и нашёл в них общее звено: тайну русского прошлого, которая не может быть нами разгадана до конца, но вполне в состоянии подарить нам сегодня интуитивные способы отображения мира; важнейшие качества почвенного человека, его способность соединить вживую бессмертную душу и бессловесный мир воды, земли, зверей и птиц, растений...

В Небе, как в зеркале, отражались все коллизии стихотворений Кузнецова, и это обстоятельство оказывается важнейшим свойством его художественной вселенной. Он прошёл путь, на первый взгляд, весьма противоречивый: от поэта современного — к художнику, который смотрит на сегодняшний мир древними очами, и далее — к православному визионеру, совместившему русскую архаику с христианским устройством космоса. Нам нет нужды примерять на себя все его пристрастия. Куда важнее координаты, о которых не должна забывать наша поэзия.

Именно об этом — русский миф в транскрипции Юрия Кузнецова.

Марина ГАХ

«Я НАУЧУ ВАС МЫСЛИТЬ...»

Стенограммы лекций Юрия Кузнецова

Марина Владимировна Гах родилась в Ялте, окончила Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности архитектор, Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Ю. Кузнецова), кандидат филологических наук, член Союза писателей России. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Возрождение» и др. Победитель конкурсов «Золотое перо», «Патриот России», им. Р. Рождественского, им. К. Симонова и др. Многодетная мама. Живёт в Москве.

Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Эта восточная мудрость как нельзя лучше оправдывает себя в творчестве. Человек растёт духовно толчками, натолкнуть и подтолкнуть может не только человек, это может быть книга, картина, состояние природы, случайная фраза. Надеюсь, что лекции Юрия Поликарповича Кузнецова станут для вас этим духовным толчком. «Я не научу вас писать стихи, это от Бога, но я научу вас мыслить» — говорил он на своих семинарах. И он отдавал щедро, как может отдавать человек большой души и таланта, но не все могли взять, вобрать. Кому-то мешало ущемлённое самолюбие, которое и небо-то делает с овчинку, кому-то гордыня, кто-то считал уже себя готовым природным поэтом,

которого учить — только портить. Юрий Поликарпович никогда не давил своим авторитетом, он всегда очень точно и чётко объяснял, что плохо, что хорошо, никогда не унижал, но и сам не унижался.

А когда началась учёба, он никого не выделял, не щадил, всем доставалось по полной программе, потому что поэзия не игрушки, а труд, пахота духовная, полная самоотдача, здесь не должно быть полумер. Но и радовался удаче Юрий Поликарпович, может быть, даже больше виновного. Когда я после нескольких провальных попыток написать стихотворение «Старик», где Кузнецов первоначально отметил одну строку, на грани отчаянья «Да что ж я за дура такая бесталанная!», в электричке, вдруг проломила какую-то глухую стену в себе и выдала результат, Кузнецов перед лекцией на следующий день прочитав его, вдруг встал и с каким-то весёлым задором сказал: «А ведь может! Ну может же!» Это было выше любых похвал. И тут же на занятии, ненавязчиво, он показал принцип работы с поэтической строкой. Он предложил студентам подобрать рифму к слову «груда» (годы, как груда камней), моя рифма ему не нравилась. Посыпались варианты, он спокойно слушал, вдруг Миша Жаравин, замечательный вологодский прозаик, который ходил к нам «на Кузнецова», крикнул «простуда». Кузнецов встрепенулся, глаза загорелись, он рубленным жестом отмёл все предыдущие попытки и сказал: «Верно! Остуда, только остуда».

Стоит добавить, что Кузнецов никогда не был ниспровергателем ни классиков, ни стоящей женской поэзии, ни истинной веры, он боролся с косностью, с догмой. Нельзя сказать, что «Пушкин — наше всё», — говорил он, — это обедняет и останавливает течение русской поэтической мысли». И действительно, если всё, то откуда Лермонтов, Есенин, которые вовсе не Пушкин и т.д. Его любимым поэтом была чилийская поэтесса Габриэла Мистраль, а вера у него была живая, народная, отсюда «Полюбите живого Христа!»

Кузнецова надо было слушать всегда, напряжённо, внимательно, он мог в перерыве, перед лекцией случайно обронить одну фразу, несколько слов и волосы начинали шевелиться от присутствия чего-то вечного. Он был поэт-мыслитель, поэт-воин, одинокий воин. Нам остались его стихи, его лекции. Только там он истинный, не верьте наговорам, читайте самого Юрия Поликарповича!

Тема лекции:

ЖЕНСТВЕННОЕ НАЧАЛО В ПОЭЗИИ

Есть во Вселенной начало мужское и женское. Как пишет, как смотрит мужчина и женщина — большая разница. Корневая система искусства едина. Существует миф об Андрогине. Человек был единым существом (4 руки, 4 ноги), Зевс разорвал, разорванные обнимались, хотели срастись. Отсюда Эрос.

Легенда о Филимоне и Бавкиде — умерли в один день и час, превратились в два дерева из одного корня. Гоголь переработал её в «Старосельских помещиках». «Мужчина и женщина дополняют друг друга» (Платон). Существует много народных пословиц об этом.

История о первой человеческой паре — двудольном семени Андрогина — темна, так как на ней тень врага рода человеческого.

Фет:

Твой взор открытый и
бесстрашный,
Хотя душа твоя тиха,
Но в ней сияет рай
вчерашний
И соучастие греха.

От связи Евы с сатаной получился Каин. Цветаева «Адам, проглядевший Еву». Не с тех ли пор «прелестная», «очаровательная». Афродита закрывает свои прелести, как будто указывает на них. Прелесть — прельщение — лесть — слова одного ряда.

Тютчев:

И сквозь величие земного
Вся прелесть женщины
мелькнет.

Пушкин: «Чистейшей прелести чистейший образец», сумел совместить несовместимое. У Достоевского Карамазов мечется между святой и вавилонской блудницей.

Мужчина превознёс женщину до небес в средние века, «полна достоинства», возвышает её до себя. Сервантес «Дон Кихот» — описание достоинств женщины со слезами на глазах. Идеал всегда разбивается о действительность, но вера не умирает. Блок — поиск «вечной женственности»: сначала «Прекрасная дама», потом «Снежная маска».

Отношения Данте к Беатриче, Петрарки к Лауре — идеальны. Памятник женщине — «Божественная комедия». Оба не были верны своим идеалам, но являлись «бедными рыцарями». Через год после смерти Беатриче Данте женился, имел семерых детей.

Овидий заметил: «Странно желание любить, чтобы любимое было далеко. И чем больше нас к любимым влечёт, тем сильней бессилие гложет душу». Платоническая любовь — пустоцвет. В народе осуждается. Русская пословица: «Сухая любовь только крушит». Существует культ матери, «тёплой заступницы мира холодного».

«Мимолётное видение» способно воскресить жизнь, но

надолго ли, красота спасёт мир, но надолго ли?

В славянском искусстве высшая сила искушает человека высшим. В западном — сам человек искушает высшую силу, чтобы достигнуть божества (Данте, Гёте «Фауст»).

Слово — запретный плод. Тютчев: «Мысль изречённая есть ложь». Пространство рождает звук, у Пушкина поэт — отзвук, голос — эхо, живое соединяет с призраком. Стихотворение «Эхо». Эхо ничего не творит, это бессонная нимфа, женщина. Отсюда женские знаки нашей поэзии.

Тютчев о Пушкине: «Тебя, как первую любовь, / России сердце не забудет». Происходит сужение, замена матери молодой женщиной, что идёт вразрез с народным воззрением. Родина — мать. Ещё страннее у Блока, кровосмешение: «О Русь моя, жена моя».

Знаки женственности у Лермонтова в «Завещании» — мелкая женская месть: «Пускай она поплачет, / ей ничего не значит!»

Наиболее ярко женский талант проявляется в пении, хореографии, лицедействе. В танце проявляется природная грация. В творчестве ни одна женщина не раскрыла мир женской души, это за них сделали мужчины. В поэзию женщины внесли лишь оттенки личных переживаний. Никакого общечеловеческого или национального мотива в их стихах не прозвучало. Гёте: «В поэзии важно содержание». Женщины думают только о чувстве без содержания. Только взволнованность да звонкий стих, только бы управиться с техникой — и мастерство в кармане. Они заблуждаются.

Есть исключения. Габриэла Мистраль — чилийская поэтесса. Очень значительная по содержанию, близка к фольклору. История её жизни: сельская учительница влюбилась в проходимца, обманул, одинокая жизнь, не было детей, писала о детях.

Цветаева «Мой милый, что тебе я сделала?» мельчит, это угасание любви — вечная тема, нельзя найти виноватого. Мужчина всю вину берёт на себя. Приучил женщину жить в атмосфере лести. Ахматова: «Я пью за ложь меня предавших губ». Светлана Кузнецова — лучшая современная поэтесса: «И некому выслушать лжи, которая губы согреет». Дело не во лжи. Дело в том, что мужчина и женщина в искусстве не дополняют друг друга. Нет равенства даже среди мужчин. Нет демократии — разница талантов.

Пушкин: «Парки бабье лепетанье». Снижение Парки. Разница разительная: мужчина смотрит на Бога: «И в небесах я вижу Бога». Женщина смотрит на мужчину. Мужчина ничего не боится, даже смерти: «И эту гробовую дрожь, как ласку новую приемлю» — Есенин. Светлана Кузнецова: «Я бы сплела из вас венок, / Когда б не знала страха увяданья». Самое

главное — женские потери. Только теряя, женщина обретает голос, пускай такой истерический, как у Цветаевой. Женщине положено плакать. Сколько души в народных плачах и причитаниях. Вся литература русская проходит под знаком плача Ярославны.

У женщины обращение к Христу чувственное, главное в жизни женщины — мужчина, рождение детей. Стихи — восполнение пустоты. Чем талантливей поэтесса, тем кошмарней у неё внутренняя жизнь.

Любить в русском языке понятие не однозначное, эквивалентом является жалеть. В западном (английском) — это определённое действие, продолжающееся некоторое время. Несёт не нравственный, а волевой императив. Хемингуэй: «Они любили друг друга всю ночь». Влияние Запада — Симонов «Жди меня». Агрессивный эгоизм заморской воды. Не имеет ничего общего с народным восприятием. Суриков: «Степь да степь кругом» — уносит любовь с собой, освобождая жену для другого счастья. Чехов создал образ «Душечки». Не все женщины душечки.

Тютчев:

И роковое их слиянье,
И поединок роковой.

Катулл: «Ненавижу и люблю».

У женщины особенное зрение. Не видит целого и перспективы, но различает детали. Лабрюйер «Совсем не смотреть на мужчину означает то же, что смотреть на него постоянно». Цветаева чётко определила пространство:

Отпусти ты меня,
конвойный,
Прогуляться до той сосны.

За сосной — воля, а она женщине не нужна.

Джордон: «Циркуль — женщина в центре, а мужчина по кругу».

Патриотическая поэзия всегда писалась мужчинами. Ахматова —рукодельница:

Живые с мёртвыми,
Для мёртвых славы нет.

Писано в мужской традиции. Мысль в пределах христианского мировоззрения чётко отличает мужское и женское. Слёзы — плач. Все плакальщицы, вопленницы — женщины.

Пушкин «Воспоминание»:

И горько жалуюсь, и горько
слёзы лью,
Но строк печальных
не смываю.

Некрасов «Рыцарь на час»:

Я хотел бы сегодня рыдать
На могиле далёкой.

Блок «К России»:

Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви.

Габриэла Мистраль:

«Так хочет Бог» — образ слёз.

Ахматова не плачет.

Нет утешения, нет слёзного дара:

Но в мире нет людей
бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

Со старославянского надмить — надуть, надменный — надутый.

Для женщины в поэзии 3 пути: 1 — истерия (Цветаева); 2 — рукоделие (Ахматова); 3 — подражание. Ахматова берёт тему «Реквием». Убила её своей гигантоманией, самовлюблённостью. Фигура молчания в предисловии — кокетство, и это возле какой темы. Её личная боль выше других:

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне!

Пушкин:

И неподкупный голос мой —
Был эхо русского народа.

Ахматова:

Голос мой, которым кричит
Стомильонный народ.

У Ахматовой много прозаических целей, которые она решает поэтическими средствами. Поэзия — театрализованное действие, за ней должна быть глубина переживания. У Ахматовой одно зрелище — перчатки на разные руки. Не выражает, а показывает. Высшее проявление прозы — поэзия. Но когда поэзия нисходит в прозу — это снижение. Прозаический элемент в поэзии Ахматовой можно назвать своеобразием. Очень сухая и по натуре, и по поэзии.

Тема лекции:

СЛЁЗЫ В ПОЭЗИИ

Плач начинается с рождения человека. Рождается и плачет. Входит в мир с плачем. Глоток воздуха — боль, обжигает лёгкие. Противоположное плачу — смех. Может совпадать — «смех сквозь слёзы» — Гоголь, Сервантес.

Смех и слёзы из одного корня, одного начала — сердца. Придумать слёзы нельзя, но есть притворные слёзы. Всё зафиксировано в поэзии — множество оттенков. Рядом со слезами стон, вздох. Вздох — дар Божий, связан с воздухом, идёт вверх, как пламя свечи, ставят свечи святым — направление.

У всех народов плач и вопленницы, особенно у русских над мёртвым телом. Все человеческие переживания связаны со вздохами и плачами. Есть слёзы радости. Сердце потрясено, льются слёзы от горя, от радости.

В античности роль народа, осуждение, приветствие выполнял хор — и плакал, и осуждал, и радовался.

Вопленница — эпическое явление, все причитания относятся к народной поэзии полубытового, полуэпического жанра. Знаменитый плач Ярославны, плач Катерины в «Страшной мести» — из народа.

Плачи, былины народные стали находить во времена Пушкина. Пушкин прошёл мимо, говорил, что «Слово о полку Игореве» высится в степи, считал одиночным произведением. Но ему хватило Арины Родионовны, ей большая роль в становлении мировоззрения поэта.

Плач — языческое наследие. В пословицах отражён и нравственный и бытовой уровень:

Злой плачет от зависти, добрый от радости.

И жидка слеза, да едка.

Слёзы в три ручья.

Слёзы не проглотишь.

Есть слёзы, есть и совесть.

Что день, то радость, а слёз не убывает.

Стонет, ровно воз сена везёт.

Из дурака и плач смехом прёт.

Плачься Богу, а слёзы — вода.

Следующие близки к Достоевскому: страху много, а плакать не на что.

Обиженная слеза не канет на землю, а всё на человеческую голову.

Много слёз в песнях.

Песня: лежит убитый, прилетели три ласточки, первая пташечка села на голову, вторая — на белую грудь, третья — на быстрые ноги. Первая — родная матушка, вторая — родная сестра, третья — молодая жена. Мать плачет, что речка льётся. Сестра плачет, что ручьи текут. Жена плачет, что роса падёт.

В другой песне: прислал челобитьеце — окровавленную рубашку: без воды её беловымыти, без ветра суховысушити. Я вымою её слезами, высушу вздохами.

У Данте сонет из «Новой жизни»: «Над сферою, что выше всех кружится» — вздох-странник. Пластический образ вздоха.

Над сферою, что выше всех
кружится,
Посланник сердца, вздох
проходит мой.
То новая Разумность, что
с тоской
дала ему Любовь, в нём ввысь
стремится.

И вот пред ним желанная
граница,
он видит донну в почести
большой,
в таком блистанье,
в благости такой,
что страннический дух
не надивится.

Что видел он, то изъяснил.
Но я
не мог постигнуть смысла в
хитрой притче,
как ни внимала ей душа моя.

Но явно мне: он о Благой
вещал,
Зане я слышал имя
Беатриче —
и тайну слов, о донны,
постигал.

Арабская древняя поэзия: 5 век — середина 7 века (начало ислама, но много языческого):

Слепят воспоминанья, как
песок.
Болят глаза, стремится
слёз поток.

В час расставанья слёзы
катились из глаз,
словно мне дыни зелёной
попробовать дали.
Но облегченье от боли даёт
не слеза ли,

Перевязь всю пропитали,
блестят на кинжале
(образ воина)

Слёзы льются по
равнинам щёк,
как ключ подземный,
осенённой пальмы.

Катятся перлам подобные,
чистые слёзы,
словно ожерелье разорвано
грубой рукой.

Абле, Абле, когда б ты мне
не снилась,
Я б всю ночь бы стонал и
рыдал напролёт (жест).

7 век:

Если на мою могилу не
прольются слёзы милой,
То моя могила будет самой
нищею могилой.

И вороны кричат, садясь
невдалеке (картина).
Должен кто-нибудь
проникнуть
наконец-то в тайну слёз.
(Мак Чжун. Интуиция)

Своих врагов я оплакал,
сражённых войной.

середина 8-9 веков:

Меня подушка обжигает,
Душа моя лишь от рыданий
оживает.

А влюблённым искони
слаще мёда горечь слёз.

Вот я плачу и плачу,
и облако плачет со мной.
Твоими слезами напьётся
сухая земля,
а моими слезами напьётся
могила моя (крупный слог).

Киплинг «Мати моя». Дени Дивар «Казнь через повешение» — стон, отходит душа.

«Я молил, ломая руки» — обрядовое стихотворение.

Испанцы: Фредерике Гарсиа Лорка: «открытые очи деревьев плачут». «Баллада морской воды»: «Плачу воду, сеньор мой, плачу водой морскою» (крупный слог).

«Реки твои, Гранада, полны вздохов» (новое мышление — звук через зрительный образ): «Крик оставляет в мире тень кипариса». Арабы дали много культурного наследия испанцам.

Я захлопнул окно, чтоб
укрыться от плача,
Только плач, как
единственный Ангел,
И вокруг ничего кроме плача.

В. Розанов «О слезах в храме»: «И свят же человек молящийся, слёзы сами по себе суть религия. Жизнь — плач и рыдания, ничего боле».

Венгерский поэт Андре Аби — первая треть 20 века: «Смерть поэта Катулла»:

«Когда же Лесбия рыдала,
Не страшно слушать было
людям.... обнажала груди».

Восточная поэзия — плач: Фирдоуси, Низами. Плач о любви, страдание.

Русская классика. Державин — традиционные плачи на смерть — от народных плачей.

«На смерть князя Мещерского»:

Мы только плачем и
взываем,
О горе нам, рождённым
в свет.

Через звук: «где пиршеств раздавались клики». Ода «Бог»: «и благодарны слёзы лить».

«Отёр сиротски, вдовьи слёзы». «Плакущие берёзы воют, на чёрну наклоняся тень».

А.С. Пушкин. Много слёз до 1826 года. Плач в юности.

1816 год: «печально младость улетит... моей любви забуду ль слёзы». «Желание»: «мне слёзы утешенье». «Друзьям»: «Вашей радости беспечной Сквозь слёзы улыбнулся я». 1817 год: «Оставь меня пустыням и слезам» (крупный слог). Стихотворение «Князю Горчакову». 1821 год: «К чему тебе внимать». «К Овидию»: «Суровый славянин я слёз не проливал, но понимаю их». У Овидия «Скорбная элегия» (кочевало в других стихах):

Так без хозяина в путь
отправляешься,
малый мой свиток.
Пятен своих не стыдись,
пусть каждый узнает
В пятнах следы моих слёз.

1824 год: «Фонтану Бахчисарайского дворца» — поэтические слёзы. Образ фонтана пришёл с востока, из Испании. «Одна, никто пред ней не плачет, не тоскует». «Ты плачешь? — Я спокоен». 1826 год: «Где муки, где любовь?» Стихотворение «Воспоминанье»:

И горько слёзы лью,
но строк печальных
не смываю.

«Жил на свете рыцарь бедный»: «Слёзы лья рекой». «Над вымыслом слезами обольюсь».

М.Ю. Лермонтов. 1830 год: «Я вспомнил прежнее несчастье». «Я плачу, я томим тоскою». «Вечер после дождя»: «И буду плакать, и рыдать... и тайно грудь вздохнёт, и слёзы побегут». Слёзы и слабость, и сила. «Ангел»: «для мира печали и слёз». «Хоть эта улыбка всех, всех твоих слёз мучительней будет».

В стихотворениях «Мой демон», «Сосед» слёзы через звуки. «Молитва»: «С души как бремя скатится». 1840 год: «И странная тоска». «Слезами и тоской заплатишь ты судьбе». «Утёс» — женское начало, в мужском женские слёзы: на утёсе след тучки, утёс плачет тучкиными слезами. Поэма «Демон»:

Тоску, любовь, её волненье
постигнул Демон в первый
раз...
и чудо! Из померкших глаз
слеза тяжёлая катится.
Поныне возле кельи той
насквозь прожжённый
виден камень
слезою жаркою, как пламень,
нечеловеческой слезой!..

Единственная в мире слеза дьявола — прожгла камень. Мощь!

Далее развитие традиции, слеза Христа — бесплотный Ангел.

Некрасов оплакал рыдание. «Зарёю обновленья в них никогда не заблестит слеза». «Ценой

кровавых слёз купила ты судьбы». «Мне самому, как скрип тюремной двери, противны стоны сердца моего». «Внимая ужасам войны» — образ ивы, святые, искренние слёзы. «И звонкий смех твой отдаётся, больнее слёз в душе моей». «Рыцарь на час».

Тютчев. Слёзы: Гроза — тучи — глаза. «Слёзы людские, о слёзы людские… струи дождевые в осень глухую, порою ночною». «Но взрыв страстей, но страсти слёзы. Нет, то всё не для меня».

Фет. Молитвенные слёзы: «Зачем же с прежнею улыбкой умиленья».

Учись у них — у дуба,
у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли
слёзы,
И треснула, сжимаясь, кора.

«Росою счастья плачет ночь». «И много мне чувства и песен, и слёз, и мечтаний».

В колокольном звоне «как будто слёзы неба есть». «Плачет старый камень, в пруд роняя слёзы». «Оставь! И дозволь мне рыдать». «Вакханка» — «Страстные глаза томятся». «Весна»: «Мы сидели под ивой плакучей, и плакали, плакали мы». «Каждый раз благодатные слёзы закипают у меня в груди». «На родину тянется туча, чтоб только поплакать над ней». Тайна слёз: «За смертью смерть, за веком век пройдёт. Слеза ведь перл в обители иной».

Жемчужников «Журавли»:

О, как больно душе,
О, как хочется плакать,
Перестаньте рыдать надо
мной, журавли.

Бунин:

Горько мне, что я бесплодно
трачу...
Что один я радуюсь, и плачу,
И не знаю, не люблю людей.

«Стон» — Мемфис сначала приветствовал солнце, после землетрясения каменный идол стонал «Чёрный камень Каабы» — раньше был белоснежный, померк от слёз и горестей людей. «Слышней звенит далёкий плач козла». «Стар сторож, стар» — быт, но всё на вздохе, звуке. Последний вздох. «Плакала ночью вдова». «Звёзды слезами ночами текут с небосвода». Стихотворение «И цветы, и шмели, и трава, и колосья» — пластический образ пространства.

Гумилёв. «И как я тебе расскажу про давно оплаканное счастье». «И буду плакать о Ливанте» — поэтические слёзы.

Блок. Весь на слезах. 1903 год «Не нарушай души моей, в ней всё и тихо, и спокойно». «На могиле»: «Но когда я рыдал и молился, звонкий смех твой ко мне долетел». Над печалью «Осенняя воля» — плач о Родине. «Девушка пела в церковном хоре» — важен ребёнок, плач его. 1908 год — бытовая слеза «Скатилась пьяная слеза». «Над городом вырос квартал» — поэтические слёзы. «Грустя, и плача, и смеясь, Звенят ручьи моих стихов».

Ходасевич. «Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама». «Новый мир создать в слезах».

1917-18 годы: «Ах, от глупого слова Родина, на глаза навернулись слёзы».

Есенин. Много. «Где-то плачет иволга», «на бору со звонами плачут глухари».

«Я пойду к обедне плакать на цветы». Плакучая дума — плакучая ива. «Пойте и рыдайте, ветры на тропу».

Женские слёзы. Евдокия Растопчина «Былые слёзы»: «вас мне завидно, слёзы былые».

Цветаева:

Смывает лучшие румяна —
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слёзы солоны. Боюсь,
Я завтра утром — мёртвой
встану.

Словно тёплая слеза
Капля канула в глаза.

Там в небесной тишине
Кто-то плачет обо мне
(крупный слог)

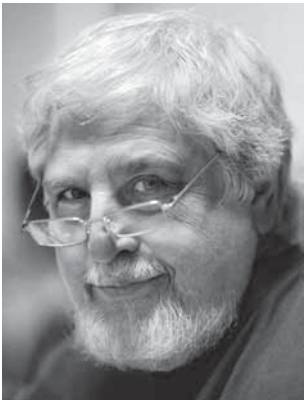
Федра к Ипполиту — плач «Ипполит, Ипполит, болит».

«Были слёзы больше глаз. Плач болотной цапли. Водоросли плач».

Ахматова. Сухие глаза. Слёз нет. «Глаза глядят уже сурово в потемневшее трюмо». Легковесно: «О тебе ли я заплачу странном». «Я смеюсь, а в сердце злобно плачу». «Я и плакала, и каялась, хоть бы с неба грянул гром». Чужие слёзы: «Ты плачешь, я не стою одной слезы твоей». «Там снова обрету я слёзный дар». Должны возникать либо образ, формула, состояние. Поза — ложь. У Ахматовой ложные, театральные слёзы.

(Продолжение следует)

Юрий Кузнецов со студентами Литературного института им. А.М. Горького. 1996 г.



Ян БРУШТЕЙН

«ВАЛЬСОК УХОДЯЩЕГО МАЯ...»

Ян Бруштейн родился после войны в Ленинграде, 45 лет живёт в Иванове. Кандидат искусствоведения. Работал в областных газетах, преподавал в вузах, руководил независимыми телеканалами. Публиковался в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «Зинзивер» и во многих других изданиях в России и за рубежом. Автор семи поэтических книг, его стихи переведены на украинский, белорусский, польский и английский языки. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Серебряный лауреат конкурса им. Н. Гумилёва, дипломант Международного конкурса им. М. Волошина. Лауреат премии «Поэт года» за 2013 год.

РОВЕСНИКУ

Мой отец, корректировщик
миномётного огня,
Спит — кричит, встаёт —
не ропщет, только смотрит
на меня.
А когда глаза закроет —
то в атаку прёт, как все,
То опять окопчик роет на
нейтральной полосе,
То ползёт и провод тащит, то
хрипит на рубеже…
Папа, ты меня не старше, мы
ровесники уже.
Слёзы обжигают веки, эту боль
в себе ношу:
Ты остался в прошлом веке,
я всё дальше ухожу.
Отчего ж не рвётся между наша
общая судьба?
Это я огонь кромешный
вызываю на себя,

Это я с последней ротой, с
командиром на спине,
И в Синявинских болотах
сердце выстудило — мне.
Голос твой — не громче ветра...
Не расслышу, не пойму...
Почему же я всё это раньше
не сказал ему?

МОЛИТВА

Ну сделай, Господи, для меня
Так, чтобы попросту были
живы
Среди вранья и среди огня
Все — и любимые, и чужие!
И тот, кто пялится сквозь
прицел,
И тот, кто молится о
заблудших.
Прости, я лишнего захотел,
Когда земля забирает лучших,
Когда от ярости ножевой
Как будто иглы растут сквозь
кожу,
Когда срывается ветра вой...
И всё же ты постарайся, Боже!
Не жду от жизни иных даров
И не имею такого права.
Глаза открою — закат багров.
Глаза закрою — вода кровава.

* * *

Страница тронется, как поезд,
В неё я странником войду,
В плацкартном сяду, успокоясь,
Что всё-таки не на войну.
А за окном, давно не мытым,
Куда смотрю из-под руки,
Деревни с их нехитрым бытом,
Дороги, реки, старики...
Там часто и людей не видно,
Там печи дымны, зимы длинны,
Но здесь — России сердцевина!
И, чтобы всё соединить,
Я карандашиком старинным
Тяну прерывистую нить.
И эти буквицы кривые,
Как новобранцы боевые
(Визжит гармошка, словно
плеть),
Стараются, пока живые,
Не помереть, так песню спеть.

* * *

Вальсок уходящего мая
В невольные слёзы вотру.
Прижмёмся покрепче, родная,
Полегче вдвоём на ветру.

А прошлое холодом дунет,
И травы запахнут, как мёд...
Но двадцать второе июня
Неюное сердце сожмёт.

ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ

Я больше девушку с веслом
Любил, чем пионера с горном.
Когда их обрекли на слом,
Так было горько!
Пацанчик, я на них глядел,
На их огромные фигуры.
Пятнистый гипс торчал из тел
И арматура.
Но всё же гордость в них была,
И стать заслуживала взгляда,

И эта девушка плыла
Над Ленинградом.
Горнист лишь для неё дудел,
И эти каменные звуки
Касались обречённых тел,
Крошили руки…
Шли после гипсовых утех
Года суровые, стальные,
И я смотрю на прошлых, тех,
Без ностальгии.
Но всё ж в душе бедлам и слом:
Пускай живу в молчанье
гордом,
Ревную девушку с веслом
К парнишке с горном!

* * *

Мой внутренний Ленинград
истаял и обветшал,
Он давно не прикрепляется к
пространствам и вещам.
Но там, на Петроградке, словно
крепкий зуб, мой дом,
И братья мои ещё не сгинули
за кордон.
Крылатые львы, озябли вы
на мосту,
Вскрикиваете простуженно:
в Москву, мол, летим, в Москву!
Разбрызгивая позолоту,
раскалываете пьедестал.
Пришёл бы я к вам, родные,
но выдохся и устал.
Мой внутренний Ленинград,
осыпающийся с холста,
Печальны твои кварталы,
и невская гладь пуста.
Вываливаются из рамы,
обугливаются края…
Но можно там встретить маму
с коляской, в которой я.

ТРАВА

Мне бы уехать в Сибирь за
травой,
Дикой, медвежьей, горячего
рода.
Недоглядела однажды природа,
Вот и пробилась под клёкот
и вой.
Мне на Таймыре о ней
прокричал
Старый шаман, почерневший
от гнева,
Он обещал, что обрушится небо
И покачнётся начало начал.
Он говорил, что ворвётся трава
В каменный день, позабывший
о чуде.
Зверь или птица прознают,
почуют,
И доберутся, и смогут сорвать,
И принесут: забери и уйди!
Чтобы увидел я, тая от страха:
Вот разлетается мир, как
рубаха,
Та, что когда-то рванул на
груди.
Буду бурханить* у тёмной воды,
Буду упрашивать древнего
духа,
Чтобы лишил меня зренья и
слуха,

* Бурханить — задабривать местных духов молоком или водкой.

Чтобы не видеть мне этой
беды...
Смехом подавится птица: «Увы,
Как же наивны, доверчивы
люди!
Этой травы больше нет и
не будет.
Выдохни, плачь, если сможешь —
живи!»

* * *

Единственный из проклятого
рода,
Плевал в колодец и не дул
на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за батю-полицая...
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной
полумгле.
Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос, как слепая
птица, —
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.
Цедил слова он, бил лещом
по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал
зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»
Он растворился в городке
таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая
ломкий,
И только мама плакала негромко
И говорила: «Жалко мужика...»

ДЫМ ИМПЕРИИ

А дым империи мне сладок
не всегда.
Колотит в стёкла зимняя вода,
Запретный смысл пытается
морзянкой
Мне передать. И этот вечер
зябкий
Наутро обещает корку льда,
Но вывернуто время наизнанку.

А дым империи, а выхлопы
машин,
Мороженые профили мужчин
И капюшоны их безликих
спутниц...
И путаница гласных,
и распутиц
Печальный опыт. Визг и стоны
шин
Проглочены глухим
пространством улиц.

Последним пламенем вечерних
фонарей
Горит моя империя. И с ней
Не просто ни бороться, ни
расстаться.
Бахвалятся деревья зимней
статью,
Но пальцам отмороженных
корней
День ото дня становится
больней.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Пахнет весной. Но учти:
Что-то сломалось в
пространстве!
Снова шевелятся в ранцах
Маршальских жезлов стручки.
Снова железу невмочь
Мучиться жаждой вампирьей.
Нынче взъерошили перья
Птицы, несущие ночь.
Милая, крепче прижмись!
Как бы тебя ни укрыл я,
Что наши слабые крылья:
Слово, и вера, и мысль?..
Утро как будто во сне.
Мир отражается в луже.
Снова молюсь неуклюже
Этой холодной весне.

ЗУБЫ ВОЙНЫ

Мир не спит ночами,
Ему больно,
У него режутся зубы войны,
А зубы мудрости
Догорают тщедушными
угольками,
Обжигая язык и дёсны.
Это обстоятельство тоже
не добавляет
Добродушия и спокойствия.
Мир состарился и разжирел
За долгие десятилетия без
Большой Войны.
Ну да, всё время что-то где-то
погромыхивало:
То там кольнёт, то здесь заноет,
То уши заложит, то хвост
отвалится…
Но он притерпелся —
И без хвоста можно жить!
Но Большая Война…
Это что же — вставай с дивана,
Срочно доедай всё, чем набит
холодильник,
Бери шинель (с)
И уходи в эту кровавую кашу,
Которую сам же и заварил?
И никогда уже не возвращайся?

КАМЕНОТЁС

Каменотёс мастеровит,
Но землю трогает устало.
Не стройте храмов на крови,
Не хватит камня и металла!
Солдаты там, где горький дым,
Дыханием придут и болью,
На этом выгоревшем поле,
Под небом тихим и седым,
Водою талой,
Зарёю алой,
Росою малой…

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

Сбежать бы туда, где снег
опаловый,
Где сосны такого роста, что
голову держи,
Там станция есть, Ерофей
Павлович,

Высокое небо, низкие этажи.
Мимо, мимо, на Амур везли
меня,
А потом обратно, хорошо, что
головой вперёд.
Три дня здесь стояли — забита
линия,
И любопытствовал местный
народ:
Что за вагон, гудящий стонами,
И, хотя нам не велели
высовываться из окон,
Понесли пирожки — корзинами,
молоко — бидонами,
А то и самогон, замаскированный
рюкзаком.
Санитарка Полинька, с округлой
речью,
С маленькой намозоленной
рукой,
Говорила мне: «Пей молоко,
еврейчик,
Поправляйся, а то ведь совсем
никакой...»
А я мычал, не справляясь со
словом,
Я нащупывал его онемевшим
языком,
Я хотел ей сказать много
такого,
С чем ещё и не был толком
знаком.
В мешковатом халате тоненькая
фигурка...
Вот и дёрнулся поезд, и все
дела.
Под мостом бормотала блатная
река Урка,
Что-то по фене, молилась или
кляла.

МАЛЬЧИКИ

Пахнет ли кровью, воняет
цветами,
Что с этой жизнью мы сделали
сами?
Где наших мальчиков след?
Не оглянувшись, уходят из
дома,
Время горит, как сухая солома,
Вот они, были и нет.
Только по небу следы
слюдяные,
Тени от крыльев — и присно,
и ныне...
Лучше б — во веки веков!
Чтобы хоть изредка смутные
вести...
Если бывает душа не на месте,
Век доживать нелегко.
Вдохом и выдохом, шагом и
взглядом,
Кажется — вот они, мальчики,
рядом,
Что же так сердцу невмочь?
Выкриком птицы, и ветром
упрямым,
Шелестом листьев — негромкое:
«Мама...»
И отлетевшее прочь.

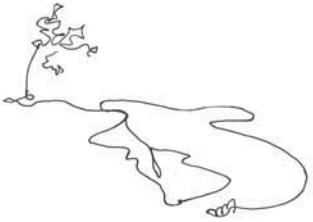
ГРАЖДАНЕ ФРОНТИРА

Смешные рыцари застоя
Любили женщин и застолья,
И фронду пафосных гитар.
А джинсы — паруса свободы
Нас выделяли из народа
И заменяли божий дар.

Когда ж всё рухнуло, ребята,
И брат опять попёр на брата,
И сдулся этот страшный век,
Мы потерялись в мире зыбком:
Те, кто давал нам «указивки»,
Толкаясь, вылезли наверх.

Мы стали граждане фронтира,
Но в девяностых нам фартило –
Не сгинули, хотя могли.
Нас годы рвали, словно суки,
Не дали помереть со скуки,
Не разменяли на рубли.

…Теперь ворчим по-стариковски,
Когда ночами ноют кости,
И прошлый век шумит в груди.
И говорим себе под утро,
Что это, в общем, было круто,
Но детям – Бог не приведи.



Александр КЕРДАН

ОПЯТЬ ПРО ЭТО...

Александр Борисович Кердан родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру военного университета. Полковник запаса, доктор культурологии, автор 38 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Лауреат Большой литературной премии России (2010), международных литературных премий «Золотое перо», «Честь и Отечество», всероссийских литературных премий им. А.Грина, генералиссимуса А.В. Суворова, П.П. Бажова, «Традиция» и др. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Главный редактор альманаха «Чаша круговая», газеты-журнала писателей Урала «Большая Медведица». Живёт в Екатеринбурге.

* * *

Любовь войдёт в тебя, как нож,
Внезапно и не больно…
Ну как любовь ты оттолкнёшь,
Как скажешь ей: довольно?

Ведь если, кто извлёк клинок
По прихоти по странной,
Жил после — одинок, как Бог,
С неисцелимой раной…

* * *

Признаюсь себе, ничего не тая:
Меня победила победа моя…
Так надо ли было к победе идти,
Чтоб стать побеждённым в итоге пути?
Так надо ли было, так надо ли бы…
Об этом вовек не узнать у судьбы,
Которая гонит и гонит вперёд,
Пока обладатель её не умрёт.
А если умрёт, то не нужен ответ…

И, значит, вообще победителей
нет
В сражении, где никогда не
равны
Мгновенье и вечность, реальность
и сны.

* * *

Надышаться тобой не могу.
Без тебя задыхаюсь, но лгу
Сам себе, что я твёрд, как
скала…
Так река, даже если мала,
Сквозь гранит себе русло
пробьёт
И беспечно помчится вперёд,
Омывая скалистое дно…
Вот и мне остаётся одно:
Если вслед за рекой не бегу,
Камнем быть на её берегу.

ОПЯТЬ ПРО ЭТО…

Она неуловима, как химера,
И всё ж сильнее, чем любая
власть.
Она сама — безверие и вера,
Которая не даст тебе пропасть…

А погубить захочет, так — навеки!
И всё-таки иного не дано:
Ты любишь и — зовёшься
человеком,
А ненавидишь — катишься на дно.

РАНЫМ-РАНО

Тьма рассеялась немножко,
И на сердце — хорошо.
Мимо нашего окошка
Дождь на цыпочках прошёл.

Так прокрался, как родитель
Возле спящего мальца,
И черёмуха — глядите! —
Распустилась у крыльца.

* * *

Всё, что ты ищешь, однажды
найдёшь —
Может быть, даже сегодня, под
вечер…
Только, не зная, куда ты
плывёшь,
Как же поймаешь попутный
ветер?

Впрочем, попутные ветры ловя
И отдаваясь теченью покорно,
Разве найти ты сумеешь себя,
Если не встретишь ни бури,
ни шторма?..

ПТИЦЫ

Вновь меня сорочий стрёкот
будит,
Вслед горланит воробьиный
хор…
Птицы интересней мне, чем
люди, —
Замечаю с некоторых пор.

Знать, душа моя к полёту
склонна:
Поутру, под птичий перезвон,
Так и норовит вспорхнуть
с балкона,
Притяженья позабыв закон,

Чтоб лететь, забыв свои утраты,
Будто в жизни вовсе нет утрат…
Просыпаюсь. Слушаю крылатых,
Так, как будто сам уже —
крылат.

* * *

Стихи — о невозможном
ностальгия —
Со мной всегда, в любые времена.
Я помню строчки, сердцу
дорогие,
И забываю лица, имена…

Пусть память с каждым годом
всё старее,
Но в каждом слове — прежней
страсти пыл,
И я уже люблю стихи сильнее,
Чем тех людей, кому их
посвятил.

* * *

Как ты рукой поймаешь ветер?
Удержишь разве ты его
В горсти?
От нас на белом свете
Не остаётся ничего —
Лишь тлен…
Душа? Хотя бессмертна,
Но и она — чужая тут:
Подобная порыву ветра
Взлетит в свой час…
Напрасный труд
Её ловить —
Не остановишь
И не удержишь хоть на миг!
Так что ж ты ветер дланью
ловишь,
Как тень минувшего, старик?

Светлана ВАСИЛЕНКО

ЁЛКА, ИЛИ ПРЕКРАСНЫЙ ЛЁТЧИК

Рассказ

Светлана Владимировна Василенко родилась в посёлке Капустин Яр Владимирского района Астраханской области. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького, Высшие сценарные и режиссёрские курсы при Госкино. Прозаик, сценарист, по её сценариям поставлено несколько художественных сериалов. Произведения переведены на 14 языков, вышли в Германии и США. Лауреат российских и международных премий. Член Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России. Первый секретарь Союза российских писателей. Живёт в Москве.

В конце декабря вдруг грянула весна. Сначала пошёл дождь, потом из-под обрушившегося, как крыша, неба, хлынул ливень. А из-под тех уже небесных обломков выглянуло тёплое-тёплое солнце. Они с сыном Сашкой пошли в степь, а там подснежники — в декабре — и много-много грибов весенних, сморчков, даже собрали немного, потом по дороге выбросили: вдруг зимой они ядовитые? Рядом стыла ледяная Ахтуба, они по льду перешли туда и обратно, чтобы удостовериться — лёд, а значит, всё же зима, — а перед льдиной и после, река вольно себе течёт, вода чёрная, как поздней осенью, и вот в середине реки — мост широкий, ледяной, непонятно.

И всё весна была и весна, всё это предновогоднее время, почки на смородине и вишне набухли, как предзнаменование чего-то чудесного, а дети в это время ходят в Дом офицеров на ёлку.

А под Новый год — вдруг ударил мороз, небо открылось, всё в звёздах, — крупные, чистые и холодные, они сияли в тёмном небе, словно вмёрзшие туда осколки льда. Десятилетний сын стоял у порога их финского домика, рядом со скрипучей заледенелой яблоней, и как юный Бог, глядя вверх на сверкающие сокровища, сказал ей: «Там тоже живут люди. Давай им помашем!» Она стояла, махала пушистой варежкой звёздам.

Новый год встречали втроём: она сама, сын и её старая парализованная мать. Выпили шампанское, посидели, потом и сын и мать легли спать. А она, пьяненькая, открыла дверь, вышла на крыльцо, поскользнулась, — и с ледяных ступенек, по садовой ледяной дорожке, сшибая ногами калитку, покатилась по тротуару, прямо на дорогу, и по ледяной дороге её помчало вниз, понесло прямо к колючей проволоке, которая отделяла их секретный военный городок от села и остального внешнего мира. Она застыла прямо на краю, между яром, на котором стоял их военный город, и пропастью, в котором лежало село. Головой она попала в дырку, кем-то проделанную для прохода через колючую проволоку. Она сидела на корточках, боясь пошевелиться. Рядом с пульсирующей жилкой на горле торчал ржавый шип, готовый туда вонзиться.

Там внизу, под ней, лежало село. Село — от края до края — было в огнях, словно опрокинутое на землю звёздное небо. И всё село пело, будто и не село поёт, а огни поют, тоже от края до края. На одном конце только запевают песню, а на другом — заканчивают. Голоса были пронзительные, прозрачные, и как дымы из печных труб в морозный день, уходили ввысь, в небо. Хор между землёй и небом стоял неумолкаемый.

Боже ж ты мой, какое счастье, подумала, а она одна колючей проволокой будто от этого счастья отрезана.

Эти моменты отрезанности, оторванности, выпадения из мира людей она, — близорукая, неуклюжая, застенчивая, не умеющая хорошо говорить, петь, танцевать, красиво одеваться, шутить, делающая всё невпопад, — не имеющая в себе ничего, кроме белозубой нелепо-счастливой — гагаринской — как все называли, до самых ушей, улыбки, да сердца, которое молчаливо, изо всех сил любило своего сына, свою мать, своих немногочисленных друзей и подруг, свою степь с звёздным небом над ней, — ощущала всегда, но особо остро стала чувствовать в последнее время.

С недавнего времени она стала ждать чуда.

Своего сына она родила в семнадцать лет от безымянного солдатика. После школы она пошла работать прачкой в

прачечную при солдатской бане, где работала её мать. В огромных чанах она стирала солдатские гимнастёрки, портки, простыни, одеяла, которые им привозили из казармы. Работа была тяжёлая, в три смены, но многие подруги ей завидовали, так как работы в городке не было. А тут иногда два раза в год, когда был призыв на военную службу, им вообще с матерью везло. Привозили призывников ещё в «гражданском»: джинсах, модных рубашках, свитерах, костюмах и куртках. В бане, помыв, их тут же переодевали в военное, а одежду с «гражданки» отдавали в прачечную. Постирав, они с матерью продавали её как «сэконд-хенд» по воскресеньям на местном рынке и имели маленький, но навар. И здесь же, в прачечной, она и зачала сына, — среди бурлящих котлов и пара, в которых варилось солдатское исподнее, — тот солдатик привёз бельё в прачечную из казармы. Затащив её в каморку, заткнув рот полотенцем, он изнасиловал её на тюках с грязным солдатским бельём и исчез. Когда она поняла, что беременна, избавляться от ребёнка было поздно.

Перед своим сыном она благоговела и мечтала о его прекрасном будущем: окончание школы, поступление в военное училище и — возвращение в родной городок уже офицером. И Саша действительно подавал такую надежду: он хорошо учился и рос красивым, умным, добрым ребёнком. Но недавно он вернулся домой, заплаканный, и спросил её: «Мама, мальчишки на улице сказали, что мой отец — солдат, и что я родился под забором. Это правда?» Она задохнулась от ужаса, поняв, что грязная тайна появления на свет мгновенно отбросила бы её сына вниз, назад, туда, откуда он появился, откуда он уже бы не выбрался, и тем самым убила бы его. И сказала первое, что ей пришло на ум:

«Твой отец — лётчик! Запомни: он выполняет важное государственное задание».

И вроде бы он поверил этому. Она проплакала рядом с ним всю ночь. И с этого времени она страстно стала ждать чуда. Чудо, которого она ждала, было простое. Она мечтала о том, чтобы у её сына Сашки появился отец.

Осторожно перебирая колючую проволоку руками, она потихоньку полезла наверх. Но, едва взобравшись на гору, снова сорвалась. Теперь она летела вниз, не касаясь ледяной дороги, как бескрылая птица, слепым комком, неумолимо падая в пропасть, погибая по-настоящему, крича от смертельного ужаса. Кто-то с кручи бросился вниз следом за ней.

Её поймал какой-то мужик в телогрейке перед самым обрывом. Схватил и прижал к себе так, что она губами неловко прижалась к его соску на теле, — голое тело было под телогрейкой. Она чувствовала его мужское,

крепкое, молодое, ликующее от праздника жизни тело, его стальные мышцы, гладкую кожу и глухие торопливые удары его сердца, бьющего ей прямо в губы.

— Ёлка, ты?

Она подняла глаза.

Славка, капитан молодой! С ним был небольшой роман. Давно, летом, когда он был ещё лейтенантом. Учил её танцевать. Танго. Ночью. Прямо на улице, под магнитофон. Спросил: «Сбацаем?» — и повёл, у неё не получалось, она, спотыкаясь о его ботинки, падала, он подхватывал и кружил над асфальтом, а сверху с ночного неба на них падали звёзды: был август. Закружив, потащил в сад, где стояла кровать под белым марлевым пологом от комаров. Ночью полог сорвало ветром, и они, обнажённые, обнявшись, лежали под звёздным куполом, одни во всей Вселенной, как Адам и Ева. Грызли яблоко — одно на двоих, пили вишнёвую бражку из трёхлитровой банки, неосторожно оставленную матерью в саду — и хохотали, как безумные: белый марлевый полог бродил по саду, словно привидение.

Он и придумал тогда звать её Ёлкой. Говорил, что любит. Обещал жениться.

А через месяц прибежала соседка, сказала, что Славка с Нинон живёт, скоро поженятся, он уже и вещи к ней перенёс. Нинон работала медсестрой в военном госпитале и была лучшей подругой Ёлки. После этого Ёлка уже ни в чью любовь к себе не верила. Поняла, что никому она с таким прицепом — маленьким сыном и больной матерью не нужна.

— Пусти, Слав… — она пыталась вырваться из его рук. — Где твоя Нинон?

Он разжал объятия, мотнул головой.

— Да вон, наверху стоит, — и растерянно, безнадёжно, совсем по-бабьи, пожаловался Ёлке. — Не знаю, что делать. Спивается она у меня…

Про это знал уже весь город. Нинон спивалась неудержимо. В госпитале, где когда-то Нинон слыла лучшей хирургической сестрой, она докатилась до санитарки.

— Ребята! — кричала им сверху Нинон, качаясь всем телом и чем-то размахивая. — Вы что там застряли?

Побрели обратно. А там под ледяным тополем — тополь аж хрустел над её головой — стояла Нинон, держа в руке бутылку. У Славы лицо, словно инеем покрылось, — так оно побелело от ярости.

— Где ты её взяла?!

— Шёл офицер. Я загадала. Имею право, — загадочно сказала Нинон. Слава выхватил у неё бутылку, грохнул о ледяной асфальт.

— Дурак! — сказала Нинон. — Припадочный!

— Да пошла ты!.. — Слава, развернувшись, пошёл прочь.

— Ты куда? — крикнула ему вслед Нинон и спросила растерянно у Ёлки. — И куда он?

Пошли за ним. По дороге встретили Галку, — молодую, разбитную, одинокую солдатку-контрактницу. Она бежала, отбиваясь от офицера.

— Ну и когда же мы с тобой увидимся? — спрашивал тот уныло.

— Ну как только — тогда сразу! — отвечала Галка.

Подбежала к подругам:

— Вот привязался на дискотеке… Думала мужика себе найти на ночь. Хочу, аж не могу! — Галка в выражениях не стеснялась и всегда говорила про свои любовные похождения, в которых участвовал весь воинский состав полигона — от прапорщика до генерала, — прямо, по-солдатски: с кем, когда и сколько раз.

— Так чего ты его прогнала? — удивилась Ёлка. — Если на ночь.

— Так не со всяким же, — удивилась Галка.

Печально возвращались они домой: Ёлка, Галка и Нинон. Пустынны были улицы.

Город после зимнего ливня и мороза застыл и был ледяной: ледяными были и дороги, и дома, и деревья. Всё было словно стеклянное, ненастоящее.

— Как первую ночь Нового года проведём, так и год пройдёт, — сказала Галка.

— Ночь уже пошла, — сказала Нинон.

— Хреновый год, значит, будет, — сказала Ёлка.

И вдруг…

Он действительно возник вдруг. Не было его нигде, не видели они его. Или чтобы не поскользнутся, в землю смотрели? Но когда кто-то загородил им дорогу, и они пытались его обойти, а этот кто-то не пропустил их, и они разъярённо подняли все свои три головы, как трёхголовый змей, — вот тогда и увидели они — его, прекрасного лётчика.. Он стоял перед ними огромный, в меховой лётной куртке и в лётном шлеме, красивый и пьяный вдрибадан.

— Девчата, — сказал он. — Я где?

— На Луне, — сказала Галка.

— Красиво, — сказал лётчик, оглядываясь.

Любуясь, он зачарованно обвёл взглядом лунный пейзаж их городка, и они вслед за ним осмотрелись тоже: кругом было тихо и торжественно.

Потом опять уставились на прекрасного лётчика, свалившегося с неба.

— А город, — спросил лётчик, — какой?

— Ты что, парень, на голову катапультировался? — спросила Нинон.

— Я посадил самолёт на площади, — покачал головой лётчик. —Кончилось горючее.

— Вы откуда? — спросила Ёлка вежливо.

— Из Эн-ска.

— Нормально, — сказала Нинон. — Три часа лёту отсюда.

— Сорок минут, — возразил лётчик. — Я на истребителе.

Галка подёргала Ёлку за рукав.

— Шиза. Или маньяк. Короче: делаем ноги, — шепнула она Ёлке на ухо.

И пошла. Ёлка с Нинон молча и быстро пошли за ней.

— Девчонки, вы куда? — окликнул их лётчик. — Не бросайте меня.

— Некогда нам, — они нерешительно стояли у калиток своих финских домиков, где жили, готовые разбежаться, а Галка озвучивала: — Родители будут ругаться. И что нам с тобой пьяным делать?

Пока она говорила, лётчик медленно приблизился к ним опять и сгрёб их в одном объятии.

— Я не пьян, — сказал он, шатаясь. — Я по заданию. За ёлкой…

— Вот чокнутый… Бежим! — крикнула Нинон. Вырвавшись из объятий, они бросились врассыпную. Спрятались за двери своих домов.

Он стоял один, среди незнакомых ледяных домов и звал их:

— Там, на Луне! Люди! Я замерзаю!

Первой не выдержала Галка. Вышла, сказала:

— Пойдём в сарай, переночуешь. Не замёрзнешь, на угле тепло.

Положила лётчика на антрацитовую кучу угля. И сама рядом прилегла.

— Ну давай! — сказала она.

— Чего? — не понял он.

— А ты не знаешь? — сказала Галка и бросилась на него, застонав. — Ты моё счастье…

Лётчик отбивался, как мог.

После всего деловито сказала:

— А теперь уходи. А то отец увидит, заругает…

Лётчик вышел на перекрёсток, поглядел на луну.

— Эй, мужик, — позвала его Нинон, подойдя к калитке.

— Чего? — обрадовался лётчик.

— У тебя выпить есть?

Лётчик достал фляжку.

— Что это? Спирт? — аж задохнулась Нинон от счастья. — Наливай!

Выпили из крышечки без закуски.

— Нинон, ты где? — из дверей раздался сонный голос Славы.

— Уходи быстрее… — сказала Нинон лётчику. — Муж проснулся.

Ёлка терпеливо стояла у дверей веранды, прислушиваясь. Видела, как лётчик пошёл к Галке, потом к Нинон. Когда шум стих, она приоткрыла дверь. Лётчик задумчиво сидел под фонарём на ледяном бордюре.

— Эй! — позвала его Ёлка.

Лётчик не откликался.

Ёлка боязливо подошла к нему.

Лётчик спал сидя. Она попробовала его разбудить:

— Вставайте, вы же замёрзнете… — уговаривала она его.

Лётчик только мычал и отталкивал её. Потом он рухнул на ледяную дорогу, раскинув руки и ноги, и лежал неподвижно, словно убитый.

— Господи, — взмолилась Ёлка, — он же и правда замёрзнет.

Она обхватила его руками и потащила по льду. Он был тяжёлый, словно тело его было налито свинцом. Но ведь как-то их выносили с поля боя, этих тяжёлых, свинцовых, раненных свинцом же, мужчин, думала она, выносили хрупкие и несильные, такие же, как она, женщины. Пока тащила, он ей слова бормотал, что, мол, выпил с ребятами-лётчиками. Новый год, а ёлки нет, кругом пустыня, он обещал достать. Полетел. Она положила его на диван и он опять заснул. Она расстегнула его меховую куртку, расстегнула шлем, — и ахнула. Он был действительно прекрасен, этот лётчик: с золотыми волосами, с высоким лбом, с твёрдо по-мужски очерченным ртом. Он был идеальным мужчиной, без всяких примесей.

Она долго смотрела на него. Её осенило ещё тогда, когда они его встретили. Она поняла, что чудо произошло, вернее, происходит сейчас. Она встала, прошла в другую комнату и разбудила сына:

— К нам гость, — таинственно сказала она ему и попросила одеться. Строго и торжественно ввела в ту комнату, где лежал спящий лётчик.

— Сынок, — сказала она. — Посмотри, кто к нам приехал.

Сын посмотрел на лётчика, потом на мать, и спросил её срывающимся голосом:

— Это мой папка?

Она молча кивнула. Чудо произошло. Завтра вся улица будет говорить о том, что у Сашки появился отец-лётчик, прилетавший на истребителе в новогоднюю ночь к своему сыну. Ближе к утру, когда все спали, она попыталась снова разбудить лётчика. Лётчик не просыпался. Утром он проснётся и спросит, где он и кто они такие, — и разрушит чудо. И тогда она решилась. Позвонила в военную комендатуру и сказала:

— Я задержала преступнника. Приезжайте. Он угнал самолёт.

Пусть они возьмут его спящего и увезут. Потом разберутся.

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

«Я ИДУ ПО ЛУЧУ...»

Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в Алейске Алтайского края. Около 50 лет проработал на опытном заводе государственного института прикладной химии, служил в рядах Советской Армии. Заочно окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по профессии инженер-электромеханик. Поэт, прозаик, член Союза писателей России, автор 14 поэтических книг, более 100 публикаций в отечественных журналах. Лауреат Всероссийских литературных премий им. А. Прокофьева, им. А. Невского, Пушкинской (Нью-Йорк), журналов «Москва», «Наш современник», «Нева» и др. Живёт в пос. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области.

* * *

Это было давно. Я не помню —
когда.
Только помню — в реке
отстоялась вода
От разгула весны, и в осколок
пруда
Волоокой коровой смотрела
звезда.

Ей-то что этот пруд? Не пойму,
не пойму!
И зачем это мне?.. Я накинул
суму
И с порога — в овраг, а вернее,
во тьму,
И — в огромную жизнь, как в
большую тюрьму.

— Принимай, вертухай, да
позорче следи!
Вишь, с сумой, значит, хочет
далёко идти...
— Никуда не уйдёт! Жуткий
мрак впереди!
— Но ведь прямо идёт! Может,
свечка в груди?..

И скрутили меня. Я хриплю и мычу.
Отворили ребро и забрали свечу.
Но... явилась звезда! Я иду по лучу
И над тем вертухаем не зло хохочу.

Он-то думает: я — без свечи, как с бедой.
Он-то думает: я — за питьём и едой.
И не знает чудак, что иду за звездой
В ту страну, где есть реки с живою водой.

* * *

Проезжая Урал, засмотрюсь на дома.
Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма,
Но, похоже, что так…
Полустанок, тулуп.
Я люблю тебя, стрелочник, — вечный Колумб!
Дом — барак на версту. Дым — согнутый в дугу.
И сохатый, плывущий в глубоком снегу.

Проезжая Урал, прикипаю к стеклу.
Всё меняю — пружину, пластинку, иглу…
Ярый камень на склонах.
Ступенчатый лес.
И в тоннеле состав, как в штанине протез,
Прогрохочет и гарью наполнит вагон,
И опять на простор — за закатом вдогон.

Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма…
Серый цвет этих брёвен, белья бахрома,
Нежилые огни слеповатых окон
Мнут пространство, как скатерть, и ставят на кон
Для игры с январём под вечерней звездой
Фонаря одинокого нимб золотой.

Но грохочет на стыках шальной подо мной
Малахитовый ящер на сцепке стальной.
Задержись на мгновенье! Дай глянуть игру!
Всё равно мы успеем на место к утру,
Потому что любое — в такой белизне,
В этой нищей, богатой снегами стране —

Нам к лицу. Но летим по уральской зиме
Мимо изб, что притихли (себе на уме!),
Протопились, поди, ни дымка из трубы,
Занавесили окна, катают бобы,
И не знают, что рядом, под сипы колёс,
Едет некто, который их любит до слёз.

Потому что он сам из такой же избы,
Потому что в эпоху сопливой губы
Он в ночах подсмотрел сквозь кружочек в стекле,
Как видения бродят в заснеженной мгле

И луны азиатской осколок скулы
Крошит воздух и делает резче
углы…

Здесь и брошу мой стих.
Посредине стиха.
Посредине страны. Горностаем
в снега…

Заморочат подворье, уйдут за стога
Голубые следы голубого зверька!
Утром выйдет парнишка из
сонной избы —
Всё крылечко в следах голубой
ворожбы,
Весь присад-палисад, все
дорожки-пути,
Ни «куда» отыскать, ни «откуда»
найти.

КОНИ КЛОДТА

1

Пропахший камышами и
туманом,
С батоном в сумке и пустым
карманом,
Счастливый, как Колумб,
открывший Новый свет,
Покинув мир скрипучего вагона,
И, примеряя зыбкий свет перрона
К своим плечам, я вышел на
проспект.

На всех домах сверкало и блестело!
(Наш председатель за такое дело
электрика уволил бы давно).
Но Невский был раскрашен и
расцвечен,
И каблучки стучали в этот вечер,
Как тысячи костяшек домино.

Я шёл — не знал куда, но знал
— откуда,
И верил я — должно свершиться
чудо,
Оно меня нашло на мостовой —
Какой-то парень с мышцами
атлета
Держал коня, а тот в потоках
света,
Подняв копыта, замер надо мной!

Как будто бы в ночном, в степи
Алтая,
На задние копыта приседая,
Не ощущая тяжести узды,
Он пляшет у костра в туманном
дыме,
Огромный!
И передними своими
Копытами касается звезды!

Был этот конь так хорошо
сработан,
(Наверно, скульптор конюхом
работал!)
И я надолго замер у коня,
Дивясь его забронзовевшей силе.
А люди воздух рвали и месили,
Толкались и ворчали на меня.

Но я не замечал их недовольства.
В моей породе есть такое
свойство —
Стоять и удивляться на виду…
И думал я, стирая пот с ладоней,
Коль в городе живут такие кони,
То я, наверно, здесь не пропаду.

2

Все несутся! Шальное отродье!
С опалённою зноем губой.

Я запутался в ваших поводьях
Всей своей непонятной судьбой.

Голубые гривастые звери!
Мост Аничков — родное село!
Подойду, засмотрюсь и поверю,
И услышу, как скрипнет седло.

Только скрипнет и — всё!
И — погнали!
Берегитесь подков, «жигули»!
Вы такое видали едва ли,
Да и где бы увидеть могли?

На Дворцовой? Так это не кони.
Их, покорных, ведут в поводу.
На таких не умчишь от погони,
И подковой не выбьешь звезду.

А для этих — все звёзды под ноги!
Унесут, растворятся во мгле,
Даже если не будет дороги,
Даже если я мёртвый в седле.

Унесутся! Хоть к Господу-Богу!
На кровавых губах унесут!
Потому что иначе не могут,
Потому что я знаю — спасут...

* * *

Вот и снова пурга завела карусель,
Развернула под окнами белую скуку.
Это Павел Васильев стреляет гусей,
Сквозь решётку просунув двуствольную штуку.

И валит белый пух, над страной гогоча,
А в подвалах Лубянки ни капельки света.
И озноб сотрясает плечо палача.
И оглохла Москва от казачьих дуплетов.

Ой, земляк, сколько выбил из птицы пера!
Ой, земляк, так стреляют лишь перед бедою…
Наберу полный чан голубого добра,
Растоплю и омоюсь небесной водою:

Отомрут все печали, пахнёт полынём,
И на гнутых ногах казаны возле стаек
Развернут животы над кизячным огнём,
И татарской луною сестрёнка босая

Станет дуть на угли, на колени припав,
И забулькает варево — пшёнка с картошкой.
Ах, как вкусен кулеш с горьким запахом трав
И печёной на углях пшеничной лепёшкой!

И овчинным тулупом туман от реки
Наползёт, и в ночное отправятся кони,
И в посконных рубахах замрут мужики,
Уронив на колени большие ладони…

Где ты, эта страна? Затерялась в веках.
Саманы, таганы, запах пала и каши,

И тяжёлая доля в тяжёлых руках,
И побитые холками задницы
наши...

Бей, Павлуха! Пали! Пусть
валит белый пух!
Коль не дали допеть, дайте здесь
насладиться...
Пролетит над страной
красноклювая птица,
Но напрасно замрёт в ожидании
слух.

Не допел... Вороной у далёкой
юрты
Не дождётся хозяина. Вымерло
поле.
Горькой солью, проклятою
горькою солью,
Забивали не только кайсацкие рты.

Я смотрю за окно. Я живу сам
не свой.
Эх, Россия-кошёвка, ну, что ж
ты, ей-богу,
Вновь летишь над обрывом...
убит ездовой...
Вороной без вожжей не осилит
дорогу.

* * *

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме...
М. Волошин

Я люблю мой народ, даже если
он злой,
Даже если он в вены заходит иглой,
Даже если он пьёт эту мерзость,
вино,
Даже если бомжует, люблю всё
равно.

Оттого, что я сам из такой же
толпы,
Мы однажды сойдёмся у края
тропы
И покатимся в пропасть, по
влаге скользя,
Потому что России без крови
нельзя,

Потому что она во вселенной
одна;
Потому что не знает, какая вина
У неё за плечами и кто по
ночам
Указует дорогу её палачам...

Новый Дант, наклоняясь над
новой строкой,
Пишет новое слово великой
рукой,
Но молитва святая из слов
дорогих
Не доходит до слуха ни тех, ни
других.

Это было. Волошин молился
уже,
Но сходился народ на крутом
рубеже
И, оглохший, стоял. И тупились
клинки.
И на четверть, на треть
поистёрлись бруски.

Я вперёд посмотрю — нет
печальней страны,
Я назад оглянусь — нет за мною
вины,
И не знаю, кто сможет меня
научить,
Что мне делать — молиться иль
саблю точить.

Но молюсь! И, склоняясь в ночи
над столом,
Я сжимаю перо троепёрстным
узлом,
Подбираю слова, потому что
люблю,
Потому что не выживу, если
убью.

* * *

*Но надо глубже вжиться в
полутьму
И глаз приноровить...
Р.М. Рильке.*

...Всё это так. Но если за углом
Войдёшь в толпу, как в жуткий
бурелом, —
Скрещенье рук и судеб. Толчея.
И ты корявой веткою людскою
Уже горишь. Томит огонь
тоскою,
Сравнимою с печалью бытия.

Но, если Невский тонкою стрелой
С гранёной золочёною иглой
Отпущен с тетивы, летит в закат,
И ты причастен к этому полёту —
Ты даже не завидуешь пилоту,
Вонзающему в солнце свой
снаряд,

Поскольку хорошо, и воздух
чист,
И переходы охраняет свист,
И не скрипит в «Икарусе» излом,
И можно сесть к стеклу,
смотреть на Думу,
И думать о прекрасном — вот
найду, мол...
Всё это так. Но если за углом
Отсутствует народ и тишина
Такая, что вселенная слышна,
И светит зыбким жёлтая игла,
И в царском доме зажигают
свечи,
И в небесах, где воздух пахнет
вечным,
Расправит ангел тяжкие крыла —

Ты повисаешь каплей, невесом!
И площади Дворцовой колесом
Раскручен, до песчинки
упрощён...
Россия, Русь! Темно твоё начало...
И где-то катер взвоет у причала,
И чёрный Гоголь прошуршит
плащом.

Куда спешит, несёт печаль кому?
И я, вживаясь глубже в полутьму,
Сужаю зренье и смотрю, смотрю,
И вдруг пойму сквозь темноту
воронью,
Что камни дышат. Прикоснусь
ладонью:
«Воистину живые...» — говорю.

У СТИКСА

Вот здесь и сядем около куста,
Где есть ещё свободные места
И солнечных лучей не очень
густо.
Пусть нам с тобой нальют вина
в сосуд
И каждому по драхме принесут,
Чтобы во рту не оказалось пусто.

Покой и свет. Медвяный запах
лип.
Издалека — уключин мерный
скрип...

Поговорим. Мы не наговорились.
Мы просто были, хлопали
дверьми,
И, хлопаньем довольные вельми,
В соку своём томились и варились.

Оглянёмся... — ах, эта колея!
Супонь, гужи, потёртая шлея,
Возницы брань, и кто-то лает,
лает.
Как будто ты не ради жизни жил,
А занят был вытягиваньем жил
Своих, а для чего — никто не
знает.

Теперь им нас назад не заманить.
Слабее пульс, почти незрима
нить...
Пора! пора... Старик всё ближе,
ближе.
Сейчас он нам засунет пальцы в
рот,
И, ухмыляясь, драхмы заберёт,
И мы увидим: не седой он —
рыжий.

А это — солнце. Он седой. Седой.
Он столько лет работает с водой!
Тяжёлая! На омутах играя,
Она несёт. А мёртвые идут.
Садятся здесь и переправы ждут.
Когда ж конец? Но ни конца,
ни края.

БАХЧА

1

Солнце жжёт тополя. Перевитые
жилы
Крутолобых корней роют дёрн и
песок.
Над вороньими гнёздами
Гнёзд старожилы
Зноем плещут и падают
наискосок.
Заплелись-расстелились
арбузные плети,
Лето стрепетом бьётся над
золотом дынь.
Осы чертят круги, и с махровых
соцветий
Горький запах роняет седая
полынь.
Дышит август расшитым
степным дастарханом!
Тучи по небу к вечеру ходят
гужом...
Я арбуз для тебя, внучка
славного хана,
Рассекаю на части казацким
ножом.
Брызжут семечки!
Ешь!
Наше лето созрело!
Твои руки нежны, твои губы
влажны.
У меня есть к тебе неотложное
дело
Прямо здесь и сейчас, посредине
страны!
Рядом с этой полынью духмяной
и горькой,
Возле этой тропы, что в бахчу
завела...
Конь арбуз добирает, и, хрупая
коркой,
Осторожно и мягко трясёт
удила.
Не стреножен, не спутан, стоит,
не отходит,
И глазищами, полными света и
тьмы,

Постригая ушами, внимательно
смотрит,
Как пропаще и жадно целуемся
мы.

2

Я думал: у монголок — поперёк.
Какая прелесть!..
Под высокой синью
С тобою нас Аллах не уберёг
От тишины, напоенной
полынью.
Раскинь же руки, милая княжна!
Мне в этих травах, посреди
вселенной,
Твоих сосков воинственные
шлемы
Напоминают прошлое.
Страна
В огне и дыме. Полнится гарем.
Степь задохнулась от копыт и
крика...
Ну, что теперь ты скажешь?
Кто под кем?
И как тебе любовной страсти
иго?
Смеёшься?
Хохочи!
Тебе идёт!
Полней, полней — и воздух
между нами
Нагрелся так, что твой
монгольский рот
Я зажимаю русскими губами!
И солнце, в небе кольцами
клубя,
Накрыло нас лучами, как сетями,
И ты, в сетях запутавшись,
ногтями
Рвёшь спину мне, чтоб помнил
я тебя;
Чтоб сохранил, чтоб на века
сберёг!
Храню, княжна!
И говорю: спасибо...
Я думал: у монголок — поперёк,
Не поперёк, но всё равно
красиво!

3

Прощай, любезная калмычка...
А.С. Пушкин

В глазах у Азии сполохи;
Глаза азийские мудры,
В них отражаются эпохи,
Цивилизации, миры.

Я загляну в зрачок бездонный,
Я сквозь ресницы протеку
И в мир иной, не заоконный,
Войти, конечно же, смогу.

Запретные плоды Эдема
Растут и здесь!
Бери... воруй...
Шелка холодные гарема,
Журчание небесных струй!

Столетий жаркое дыханье,
Сосков торчащих нагота,
И колыханье-полыханье
Уже горящего моста.

И остановится мгновенье,
Объединив мгновенья все...
И ты исчезнешь, как виденье
Неповторяющееся.

Сергей ПЫЛЁВ

МАТУШКА*

Повесть

Сергей Прокофьевич Пылёв родился в 1948 году в городе Коростень (Украина). Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Служил в Советской Армии, работал электриком, грузчиком, редактором отдела прозы журнала «Подъём», главным редактором журнала «Воронеж». Член Союза писателей России, автор 10 книг прозы. Публиковался в журналах «Москва», «Берега», «Молоко», «Север» и др. Лауреат премии «Кольцовский край». Награждён медалью общественного Совета ВДВ России «За верность долгу и Отечеству». Живёт в Воронеже.

Отец Пётр плавным, добродушным и в то же время полновесным голосом гулко произнёс молитву. Все в эту минуту стояли, склонив головы. Володин хотя и перекрестился в конце, но ни слова не понял, как всякий человек, непривычный к церковнославянскому языку.

Матушка Валентина тоже ни слова не поняла: вставая на молитву, Володин коснулся её рукой. Она явно не ожидала от себя такой реакции на это.

«Неужели я нравлюсь ему как женщина?.. — осторожно подумала Валентина. — Нет, ты явно дура... Какие у тебя к тому основания? А если?..»

Валентина сделала вид, что внимательно смотрит в тарелку. Чтобы это выглядело естественно, принялась ковырять вилкой свой праздничный кусок куриной

---

* Окончание. Начало в журнале «Гостиный Дворъ» № 4

грудки, запечённой в духовке с ананасом. Ей было стыдно перед мужем. В детстве Валюша считала, что папа — это и есть Бог. Потому что он в храме живёт. Дома-то она его почти не видела. Это особое отношение к священнику перешло у неё и на Романа. Она у него благословение берёт, целует ему руку, исповедуется и верит, что она, будучи соучастницей великих трудов священника, также станет соучастницей и его великих небесных наград. Выходя из алтаря, он спускается с Неба, и полученная благодать обильно изливается и на неё, сонаследницу вечной жизни. Как тут можно позволить не то чтобы нагрубить мужу, но даже косо на него глянуть? Ибо она есть «кость от костей его, и плоть от плоти его…»

Всем было подано по бокалу сакрального марочного кагора, крымского, «Чёрный доктор», и сказаны добрые, благолепные слова, а потом наступила как во всех обычных светских компаниях пауза объедения, когда гости старательно заняты ускоренным уменьшением обилия выставленной еды. Лишь изредка прошёптываются тихие, чуть ли не умилённо просящие фразы типа «Будьте любезны подать мне мисочку с холодцом», «Разрешите положить вам непревзойдённого салатика» и так далее, и тому подобное. Между тем рубиновый кагор со сказочным травным букетом пусть и по чуть-чуть, даже вовсе по чуть-чуть, но, однако, прибавлялся в крови милых гостей. И вот уже голоса праздничных едоков начали повышаться в тональности и звучать более весело, порой азартно: «Повторите мне порцию сальтисона! Сюда, сюда горячую рассыпную картошечку! Кто съел мои любимые сопливенькие маслятки?» и тому подобное по всей обширной географии застольных блюд.

Трапеза уже в разгаре, она вполне развернулась.

И вот вдруг раздался дребезжащий звук неуклюже отодвигаемого стула: поднялся, торопливо промокая салфеткой губы, иеромонах Василий Правдолюбов. Он с добродушным, ласковым прищуром поглядел то на одну сторону длинного стола, то на другую, явно с удовольствием озирая гостей, как крестьянин им взращённую добрую, вызревшую плодородную ниву.

Вздохнул сдержанно, ладно.

— Вот так помолчи полдня — много в себе всякого нового откроешь!.. — радостно проговорил отец Василий и взволнованно передёрнул своими маленькими, печально-покатыми плечиками.

Кажется, он при этом даже принюхался, как бы оценивая им сказанное ещё и на запах. И, по всему видно, остался достаточно доволен таким своеобразным анализом своего словесного аромата.

— У всех у нас здесь по жизни без вариантов один берег — земля-матушка, кормилица… — ласково сощурился он. — Ей

наша безмерная почтенная любовь. А где такую сыскать грешному человеку? Любовь есть там, где есть жертва! Любовь есть явление жертвенное. В ней ничего не обустроишь без триединства труда по устроению семьи, долготерпения и прощения.

Он нашёл глазами на стене вдохновенную икону «Святое семейство» и трепетно осенил себя раскидистым покаянным крестом.

Отец Василий замолчал, медленно поведя головой и точно норовя прозорливо, проникновенно всмотреться в каждое лицо. Почему-то дольше всего задержался он со своим важным доглядом на Валентине и на Родионе Романовиче. Кажется, это многие заметили.

И уже дальше преподобный как бы только для них и говорил.

— Душа наша сотворена деятельной. А к остывшей всякие насекомые как к падали липнут. Будем делиться мыслями, идеями! Духовно общаться. И всегда меняться! Согласны? Так тогда и приступим! — отец Василий взмахнул над собой руками, будто примеривался взлететь и звал всех за собой.

Родион Романович спортивно, легко встал, притом не расплескав ни капли из бокала, полного густым кагором, из которого он ещё ни разу не отпил, как видно радостно увлечённый необычностью всего, что вокруг него происходило и говорилось в этом незнакомом ему, до сих пор неведомом церковном домашнем житии.

— Извините, батюшка... — с новыми для Валентины застенчивыми интонациями вздохнул Володин. — Сейчас в аграрном университете вы студентам так замечательно рассказывали, как надо обустраивать молодые семьи. И высказали совершенно удивительную мысль про то, каким образом избежать той катастрофы, когда или муж, или жена вдруг влюбляются на стороне. Вам так аплодировали!

Отец Василий весело-строго наморщил нос, как бы этот вовсе не выдающийся на его лице элемент всё-таки реально был весьма важным инструментом мыслительной ориентации. Своего рода духовным компасом.

— Так, так... — вздохнул он. — Любовь... Любовь, это когда для всех обычный человек, может быть вовсе малозначимый, просто-таки ничтожный, а для тебя он — неповторимо уникален!

Отец Василий радостно, воодушевлённо сложил руки на груди.

— Что нам осталось в наследие от Рая? Семья, милые мои, семья! А как нам и её не утратить в греховности ползучей? Особенно в жутких тисках нынешней западной толерантности?! Вот мой рецепт. Надо мужу влюбляться в жену, а жене в мужа по новой каждый год! Как это так, по новой? Очень даже просто. За этот срок всяк из нас уже основательно меняется. Даже на

клеточном уровне! Вот и надо это новое очарованно открывать в милом тебе человеке и романтически возлюбить его! Тогда вам никогда не захочется искать всякой спорной необычности за порогом дома.

Василий Правдолюбов вдохновенно засмеялся и сел.

— Проняло?! — вскрикнул он с прищуром и, перекрестившись, принялся с двойным удовольствием за свой любимый салат с крабовыми палочками.

Тут раздался странный звук. Вроде как со стороны наружной двери. Только явно не звонок, но и не стук. Было похоже, точно по ней некто или нечто настойчиво скребётся. Однако с удивлением на всё это отреагировали только новые здесь отец Василий и Володин. Остальные заулыбались, если так можно сказать, с трогательной радостью.

Отец Роман влёт оказался у двери.

Звучно тыркая пол острым концом своей кривой клюки какого-то вполне сказочного вида, вошла, не поднимая лица, маленькая старушка. На ней обвисал линялый, некогда чёрный плотный балахон на больших железных пуговицах, длинный до пят и просторный на троих.

Ей тотчас хлопотливо поднялись навстречу родители юбиляров отцы Пётр да Григорий и их матушки Прасковья с Екатериной.

— Варварушка! Мы так рады! На своё место, пожалуйста, на своё!

Своим местом Варварушки был свободный стул во главе стола, куда она прошла достаточно шустро, чуть ли не напролом. Усаживаясь, старушка бдительно зыркнула по сторонам. На её бледном, аккуратном лице без морщин о восьмидесяти семи Варварушкиных годах свидетельствовала разве что россыпь коричнево-розовых бородавок, похожих на лесное семейство дружных опят, только что проклюнувшихся.

— Все тута гостюшки... — певуче, с удовольствием отметила старушка. — Одной Валюшечки ня вижу...

— Здесь я, бабушка!.. — растерянно приподнялась матушка Валентина.

— Рази ты энто?.. — усмехнулась Варварушка, разглядывая на просвет свою рюмку с тёмно мерцающим кагором. — Не похожа. Как подменили мою девку. И вместо винца водички мне крашеной налили. Может, я дверью ошиблась? И праздник не здесь вовсе?

Она вздохнула и, подмигнув почему-то именно Родиону Романовичу, вдруг занялась упорно обкусывать по краям котлету, старательно зажав её перед собой в обеих руках, — так, бывает, некоторые яблоко грызут. При этом всё лицо Варварушки деятельно участвовало в таком процессе: деловито морщились щёки, лоб и даже её уши азартно шевелились.

— Спасибо, бабушка, что не забыли нас, грешных... — тихо, нежно проговорила Валентина.

В ответ Варварушка покрутила пальцем у виска и опрокинула в себя махонькую рюмочку с вином с таким замахом и резвостью, как разве что видавший виды мужик бросает в себя стакан белёсого, как молочная сыворотка, самогонца.

— Простите мне моё любопытство, но кто это?.. — из-за спины Валентины шепнул Володин отцу Роману.

— Христа ради блаженная... — бережно ответил тот, прикрыв глаза в знак особой значительности сказанного им.

И проглядел, как Варварушка вдруг шустро потянулась клюкой и остро ткнула его в плечо.

— Негоже более Валюшечке перед тобой исповедоваться! Гони её к батюшке Петру.

Отец Роман распрямился, звонко загремев подпрыгнувшей тарелкой.

— Белорыбица-а-а-а у тебя завсегда, ой, вкусна... Подай бабке кусочек, — хмыкнула Варварушка.

— Так вы же вроде котлетку кушаете, — вздохнул Роман.

— Одно другому не мешает, милый... Тебе так, а по мне иначе. Не всё есть то самое, что наши глазоньки будто бы видят... — нахмурилась блаженная и по-девчоночьи надула губки в сторону Валентины.

Роман Родионович как почувствовал нараставшую в матушке смутную тревогу. Он тоже непроизвольно напрягся.

— С чего ты на меня осерчал?.. — теперь клюка Варварушки с зацепившимся на ней по дороге увядшим цветком фиолетового мышиного горошка указующе ткнулась в плечо Володина.

— Ваши парадоксы несколько напрягают меня своим глубинным подтекстом... — усмехнулся Володин.

— Миленький, я только рот свой непутёвый открываю... А слова за меня неведомо кто произносит... — не поднимая глаз, прошептала Варварушка. — А коли тебе обидеть меня хочется, так не боись. Я дурочка... Ещё и в ножки поклонюсь за то. Слыхал, если тебя за день никто не оскорбил, а ты ему не простил, так это время тобой зазря прожито.

Матушка Валентина машинально толкнула под столом руку Володина, давая ему понять, чтобы он ни в коем случае не возражал.

Но тотчас ей стало стыдно до слёз за такой порыв. Её испугала потаённо шевельнувшаяся в ней странная, болезненно напряжённая нежность. Ко всему это её почти мгновенное касание показалось ей словно бы говорящим. И он теперь будто знает о ней такое, чего не знает ни один другой человек. И даже она сама о себе.

— Отец Василий! — вдруг окликнул Володин преподобного. — Я в вопросах веры полный профан. Но особенно не даётся мне

внятно уяснить, что же такое святая Троица и как её реальность согласовать с единобожием?

— Вот оно!!! С этим вопросом не всякий батюшка в ладах! В нём для некоторых великий конфуз уготован! — быстро, восторженно подхватился иеромонах, заговорив с оглушительной горячечной радостью оттого, что ему вновь представился простор объясниться. Он так и сиял всем своим обветренным веснушчатым рыбацким лицом: — Тут в простоту надо верить! Святитель Афанасий Великий утверждал: «Если Бог не один, то нет Бога!» И что же? Мы ногами в жир попали? А вот вам дулю! Господь Бог в существе Своём один и единственен. Вместе с тем Бог Троичен в Лицах!!! Человеку надобно сугубо Верить во Единую Троицу, а не размышлять хило об ней на полусогнутых!

— А налей-ка мне еще винца! — вдруг махнула Володину Варварушка и послала ему через гостей свою пустую рюмочку.

Кто-то хотел сам ей услужить, но она так стукнула клюкой об пол, что соскочила гирлянда мышиного горошка. В итоге её «тара» благополучно дошла до Родиона Романовича. Он засмеялся и с гусарской лихостью плеснул старушке сладенького кагора.

— Я тебя простила, голубчик… Угодил, — хихикнула Варварушка, зачем-то дёрнув себя за ухо: может быть, волосик выдернула.

Родион Романович как воспрянул. В нём тотчас всколыхнулось что-то от площадной азартности отца Василия Правдолюбова.

— Позвольте несколько слов! — радостно заговорил он. — Заранее прошу извинить за их наивность. Но они от всего сердца. Я здесь почувствовал себя словно в другом мире. Не удивлюсь, если сейчас сюда войдёт апостол Пётр или Иоанн. Да кто угодно из тех двенадцати.

— Иуде тут лучше не показываться! — по-мужицки грозно вскрикнул отец Василий и воздел свой немалый кулачище, явно хорошо знакомый и с топором, и с кирпичной кладкой, и с рыбацкой сетью или вон теми же косой да ручным плугом; знал он и как ловко управиться с пастушьим кнутом, и с упряжью конской, споро собирая лошадку в дорогу.

— Да, да... — вздохнул Володин. — Лучшая форма разумной цивилизации уже давно создана на этой земле в православных храмах и монастырях. А вы слышали про Юрия Мильнера? Так вот этот известный миллиардер решил вложить сто миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций. И я было загорелся присоединиться к нему. А теперь думаю: зачем? Мной сейчас другая фантастика овладела... Вот только сейчас! Я не пожалею никаких средств, чтобы запустить на орбиту космический корабль-храм. Да, да, господа! И чтобы там виток за витком совершались над планетой все

храмовые службы в должной их последовательности!

Отец Пётр вдумчиво, прилежно огладил свою пухлую, словно клубком лежавшую на груди бороду, как бы тихо советуясь с ней в чём-то важном.

— Не тревожьте себя, Родион Романович, — вдруг сдержанно проговорил он. — Мира и радости вам во Христе Иисусе, Господе нашем! Только мы себя и наше служение Господу и людям иначе понимаем. Без такого смелого новаторства.

Родион Романович покорно сел на место. Только что охватившее его чувство, что ему настало время начинать бы свою жизнь заново, как говорится, с чистого листа, смущённо припогасло.

— Не отступайтесь... — шепнул, нагнувшись к нему из-за спины жены, отец Роман. — И запишите-ка на всякий случай меня в ваш будущий отряд священников-космонавтов!

— Всенепременнейше, батюшка... — также через спину Валентины заговорщицки шепнул ему Родион Романович, высветившись лицом.

Варварушка вдруг воздела свою клюку и так ловко провернула ей над головой, что явно могла бы и от дождя при необходимости отбиться этим оружием. А сейчас она им по разрешённой ей традиции гостей подняла. Такой у них всегда был обычай, чтобы ей в этом деле иметь полное пастушеское распорядительство.

— Спасибо энтому дому, пойдём ко другому! — строго хихикнула Варварушка.

На празднике засиживаться ни у кого не принято, в священнической семье тем более, памятуя, как мало времени удаётся батюшке с матушкой одним побыть: служит и по требам ходит он с утра до ночи. Ольга так та уже через месяц после хиротонии сказала своемуАндрею: «Ты получил алтарь, а я осталась одна!..»

В дверях отец Василий Правдолюбов радостно, сверкая слезами на глазах, благословил всех:

— Ангела вам Хранителя рядышком и Божией благодати! Спаси Господь! — зычно, победоносно пожелал он.

— Мира всем вам! — радостно поклонились гостям отцы Пётр с Григорием.

— Пирогами ты, Валюшечка, угодила мне. Сладенькие, пухленькие... — уходя, строго шепнула ей Варварушка. — Как ты, молодка наша аппетитная...

— Держись, подруга боевая... — ткнулась Оля губами в щёку Валентины. — Только слепой не заметил, как этот олигарх ноздри на тебя раздувал. Ох, ждут тебя великие испытания!

— Окстись... — угнулась матушка.

— Я тебе завидую! — поморщилась Ольга. — На меня так давно никто не смотрел.

— Давай не будем об этом.

— Гордись, дурочка…

Проводив гостей, отец Роман, на ходу расстёгивая ворот своего

стального, приталенного, чесучового подрясника, устало улыбнулся Влантине:

— А не переночевать ли нам с тобой сегодня на даче на свежем воздухе? У меня увольнительная как раз до завтрашнего утра.

— Ты же говорил, что у нашего «москвича» бензонасос не работает, — усмехнулась она.

— А я уже вместо клапана приладил кусок полиэтилена. Доедем с молитвой.

— Я бы с удовольствием... — вздохнула матушка. — Но как наш Ангел? Вдруг мы нарушим то чудо, которое сегодня произошло с ней...

— Мама, милая, Христа ради не беспокойся... — выглянула из своей комнаты Ангелина. — Я будто раньше не жила, а спала... А теперь вдруг проснулась! Как в сказке про царевну!

Матушка Валентина со слезами подвела дочь к отцу под благословение.

— Милость Господня сошла на тебя... — тихо, бережно проговорил он. — Бог услышал наши молитвы...

— А этот новый дяденька ещё придёт к нам?.. — аккуратно вздохнула Ангелина.

Матушке показалось, что она начинает краснеть. Так оно и было. Она уже казалась себе чуть ли не преступницей среди этих милых ей людей. Словно у неё камень за пазухой.

Все вместе втроём они стали на молитву в красном углу перед их домашним иконостасом, золочёно мерцавшим в густоте свечного огня пахнущих мёдом свечей. Впервые за долгие годы Ангелина говорила слова молитвы вместе с родителями. Она сбивалась, оговаривалась, но была настойчиво усердна.

Все плакали.

Когда приехали на дачу, раскидистый грозовой фронт от горизонта до горизонта завалил небо тяжёлыми, мохнатыми, призрачно мерцающими облаками всяких цветов и оттенков: глухо-чёрный, зыбко-фиолетовый, розовый, мертвенно-белый. Стояла удивительная тишина. Было ощущение, что мир вывернут наизнанку, разверзнуто обнаружив нутряные пласты планетных недр.

Гроза, однако, не состоялась. Её пугающая космическая махина без единого звука грома и капли дождя, но, тем не менее, величественно грозно, с неким строгим, властным дозором прошла окрест, обнажив за собой словно промытое до блеска сине-зеленоватое глубинное небо со смиренно стекающим за здешние леса солнцем.

— Мама, я, кажется, уже умею любить по-взрослому... — вдруг виновато поморщилась Ангелина.— Мне уже сегодня грустно, что я не вижу того дяденьку в куртке лётчика... А что будет со мной завтра?

«Что ты за человек, Володин?! — впервые на «ты» объявила для себя матушка Родиона Романовича. — Все от тебя в восторге или

уже влюблены! Даже мой муж и дочь! Одна я никак не определюсь, прости, Господи...»

— Завтра, надеюсь, ты про него забудешь... — строго сказала Валентина.

— Неужели это правда?!

— Да, милая. Так обычно и бывает в твоём возрасте.

— Как ужасно... — уныло задумалась Ангелина.

— Что такие скучные?.. Праздник продолжается! — объявил Роман. — Давайте прогуляемся по нашему лугу!

«Нашим лугом» отца Романа была пойменная раскидистая покатая низина перед излучиной Дона, в трёх местах рассечённая упорно бегущими к реке сильными родниками, незамерзающими даже морозной зимой.

Травы на лугу этим летом взяли такую силу, вскинулись на такую высоту, что в некошеных местах сам отец Роман при его росте едва выглядывал из них, или вовсе скрывался с головой. Тогда лишь одна его бархатная фиолетовая скуфья моментами поверху промелькивала.

— Торжественная симфония! Каково! — восторженно объявил отец Роман, остановившись на взгорье перед лугом и влюблённо оглядывая ботанические богатства здешнего медоносного травостоя. Главный тон луговому концерту задавали двухметровый синяк, красные и белые клевера по пояс, тмин, лядвенец рогатый, василёк луговой и пушистые метёлки жёлтого донника — и всё это было пробито фиолетовой дымкой везде поспевшего, густого цепкого мышиного горошка. Ближе к руслу Дона рослой заставой богатырской стояли непроходимые заросли раскидистого, воинственного татарника.

Над лугом незримо шёл густыми волнами тёплый плотный аромат июльского разнотравья.

— Я вас сейчас особо удивлю! — воскликнул отец Роман и как мальчик девочку озорно потянул за руку матушку Валентину. — Вы у меня такое увидите! Ахнете!

— Вот князь здешнего луга! — восторженно крикнул, когда они минут через пять пробрались до нужного места возле оврага. — Такого экземпляра я ещё никогда не встречал! Два метра двадцать три сантиметра высоты!

Перед ними, широко раскинув крылья седых листьев и блистая жёсткими костисто-жёлтыми иглами, мощно стоял высоченный жилистый татарник колючий, он же чертогон, царь-Мурат, дедовник, басурманская трава и так далее. В отличие от чертополоха кудрявого или того же осота он был увенчан цветками густого малинового тона, чем-то напоминавшими по форме уменьшенную в размерах шапку Мономаха.

— Красавец... — вздохнул отец Роман. — Это растение когда-то сам Толстой с восхищением описал! Кажется, в «Анне Карениной»?..

Вдруг чёткий звук мотора дерзко грянул над ними, напрочь разметав своим жёстким

напором предвечернюю пасторальную идиллию.

Как что-то чуждое, даже враждебное этому лугу, цветам и травам, покойной, сиренево блёсткой реке в этот мир хлёстко вломился пилотажный самолёт. Он пронёсся у них над головами, жарко обдав едким, горько пряным запахом авиационного бензина и жаром мощного резвого движка. Самолёт как будто не признавал никаких законов природы: он как наперекор им с весёлым азартом пронёсся кабиной вниз над лугом, уже подёрнутом зыбким туманом, и вдруг с надрывным скрежещущим звуком свечой рванулся вверх.

Матушка Валентина зажала уши и угнулась. Ангелина чуть ли не под юбку к ней забралась.

Отец Роман восхищённо перекрестил самолёт, свечой пробивавший небо.

Достигнув предельной высоты, машина, точно нехотя, приостановилась, огляделась окрест и вдруг, замедленно опрокинувшись, соскользнув на крыло, яростно блистая диском пропеллера, акробатически ловко свалилась в скоростное пике.

— Он сейчас разобьётся... — тихо проговорила Валентина.

— Ничего подобного! — радостно объявил отец Роман и вдруг удивил её знанием незнакомых ей, неведомых терминов высшего пилотажа. — Эта ловкая фигура называется очень красиво! Иммельман! Полупетля с полубочкой! Переходящая в штопор!

Машина с рёвом выровнялась и, раскорячив длинные стойки шасси, точно растопырив жилистые руки, прицелилась сесть на дальнем окошенном участке раскидистого пойменного луга. Пошевеливая элеронами и рулём поворота киля, похожего на хвостовой плавник большой акулы, самолёт дерзко подкрадывался к земле всё ближе и ближе.

— Ты что-нибудь понимаешь?! Что происходит?!! — крикнула матушка натужным голосом оглохшего человека, пытаясь обеими руками удержать на голове белый газовый платок.

— Господин Володин устроил этот романтический небесный танец в честь юбилея нашего венчания! — бодро объявил отец Роман. — Он меня предупредил, но просил сие держать от тебя в большом секрете. Вот такой вот сюрпрайз!

У матушки Валентины тотчас испортилось настроение.

Отец Роман вздохнул и поцеловал её в лоб.

— Тебе что-то не нравится?..

— Я думала, батюшка, мы побудем вдвоём...

В это время благополучно прибывший самолёт, простуженно чихнув раз-другой своим «пламенным» мотором, утих.

Стало так немотно, будто всё в этом подлунном мире как по команде мигом замерло, затихло с пальцем у рта. Даже лягушки в прибрежном аире прервали раскатистую булькотню.

Через пару минут, бодро раскидывая заросли коровяка и бора, вынырнул Володин. Он нёс перед собой корзину, от которой даже через ауру его бензиновой, ещё не рассеявшейся гари чувствовались изысканные запахи отменного ресторанного ужина. Наружу свободолюбиво торчали шейки бутылок трёх марочных вин: испанский херес, португальский портвейн и французский сотерн, какие в их городе отродясь было не найти даже в самом дорогом ресторане «Пушкин».

— Какой же вы, однако, как это там у Толстого, — весело усмехнулся отец Роман. — Ах, да! Комильфо! Моя Валюша точно в вас влюбится!

— Не надо! — захлопала в ладоши Ангелина. — Место занято! Я уже влюбилась в дяденьку Родиона!

— Кажется, мне осталась одна дорога — в монастырь! — расхохотался отец Роман.

Володин нагнул голову в сторону матушки Валентины:

— Кажется, моё схождение с небес лично вам не очень по душе...

— Вы явились как греческий Зевс в хаосе грома и молний... Простите, мы привыкли жить в покое и молитве... — осторожно отозвалась матушка.

— Неужели у вас нет желания хотя бы глазком увидеть иные грани жизни? Ощутить дух сегодняшнего времени?!

— И именно за этим вы здесь? — напряжённо проговорила Валентина.

— Вы останетесь у нас ночевать? — сказал отец Роман Володину. — Я бы вам такое знатное место нашёл на сеновале!

— Мне через полтора часа надо быть в Москве! — с досадой объявил Володин. — Дело решать неотложное. В администрации президента. Знать бы такое ваше предложение на полчаса раньше, так я бы всё на свете отложил!

— Как же вы успеете? — усмехнулся отец Роман. — От нас до стольного града полтысячи километров...

— Крейсерская скорость моего «ишачка» не позволит опоздать! — подчеркнул Володин с почти мальчишеским хвастовством человека, который кроме своих мощных денежных рычагов ещё и обладает исключительной, почти нечеловеческой властью над пространством и временем.

— Валюша, чай! Немедля! Уж темнеет! — бодро распорядился отец Роман и раскидистыми щажищами бросился на веранду за грушевой щепой и сосновыми шишками для старинного серебряного самовара эпохи изначалья священнического рода Яковлевых.

— Родион Романович... — сказала тихо, нервозно матушка Валентина. — Чем отличается жизнь жены священника от жизни всех других женщин? Ничем. Она просто абсолютно иная. Несопоставимая ни по каким

параметрам. Скажем, я многое что не могу себе позволить по отношению к мужу, даже грубого слова, он же — священник. Я у него исповедуюсь, благословение беру, целую ему руку, называю батюшкой. Он меня — матушкой, иногда мамой, а при посторонних —«матушка Валентина». Благодать священства отца Романа всякую минуту ощущается на мне. Она во всём очень помогает, укрепляет семью. И вот эту женщину вы хотите сделать своей любовницей?

Володин взял руку Валентины. Она не сопротивлялась. Он поцеловал её и прижался к ней щекой. Явно небритой.

— Каюсь, что я с первого взгляда по-мальчишески влюбился в вас. Но именно благодаря этому мне открылся неведомый мне раньше мир православной жизни. Поверьте, сейчас в моей судьбе происходит нечто важное, хорошее... Не отталкивайте меня...

Послышалось приближение отца Романа: ничего удивительного, ведь это шёл огромный человек, длинная священническая ряса которого только подчёркивала его нестандартную размерность, а ко всему в руках у него был, уже горько курясь подожжённой щепой, семилитровый шарообразный самовар.

На прощание самолёт Родиона Романовича с торжествующим нахрапистым рыком упоённо прочертил «мёртвую петлю» и, рассыпав над дачей ворох роз, дерзко занырнул в сгустившуюся тяжёлую темноту.

— Вот бы за кого тебе следовало замуж идти... Блистала бы в свете аки первостатейная львица...— вздохнул отец Роман с лёгким оттенком ревнивой напряжённости.

— Да разве же можно с чем сравнить моё счастье, обретённое рядом с тобой?! — со слезами в голосе проговорила Валентина.

— Естество наше страстно и сила наша немощна... — тихо проговорил отец Роман и вдумчиво перекрестился.

Валентина вдруг вспомнила про Анну Каренину, о которой недавно по ошибке упомянул муж. Она никогда не любила роман об этой женщине, хотя перечитывала его раза три-четыре; всё искала, но так и не нашла в нём достойного смысла.

Ей вдруг почему-то захотелось именно сегодня его перелистать. Кажется, он был у них здесь, на даче.

Действительно, большой красный том «Анны Карениной», изданный лет шестьдесят назад, словно на века, дерзко стоял среди книг, какие они держали на даче. Обыкновенно это были те произведения из домашней библиотеки, которые по разным причинам уже никак не могли заинтересовать их в городе, а здесь, на свежем воздухе у реки, читались только так за милую душу.

Матушка помнила свою всегдашнюю напряжённую неприязнь к Карениной. А красная

обложка была словно дерзким, настораживающим напоминанием о пролитой крови Анны.

Она всегда примерно так думала про Каренину: «Ненормальность и грех — вот что такое эта женщина. Когда она умирает от родильной горячки, Алексей Александрович с православным милосердием великодушно прощает ей измену! Более того, он готов был сострадательно взять её к себе в дом вместе с ребёнком от Вронского. Он молился за её спасение… Она же, выкарабкавшись из болезни, вновь дерзко сожительствует со своим полюбовником, то есть в ответ на христианское духовное милосердие мужа вторично предаёт его, выбирает для себя плотскую жизнь с этим распутным, вертлявым Вронским».

В книге оказалось много старых закладок. Её закладок. Словно пахнущие минувшей, навсегда утраченной эпохой, как пропитанные ей, стариковски бледные листки давнишних календарей. Вот лето 1992 года, когда ей всего 12 лет, далее 1998-й, но особенно много закладок в зиму 2002-го. С тех пор других не имелось. Она не брала эту книгу в руки 14 лет.

Первую минуту, оглядывая закладки, Валентина не знала, где бы ей открыть роман. Ей вдруг стало казаться, что там, в бесконечности романа, наверняка есть то место, именно которое ей сейчас необходимо прочитать. И оно всё расставит на свои места в том странном, что назревает между ней и Володиным. Только назревает ли?.. Или уже назрело?

Книга вдруг раскрылась будто сама. Именно в том месте раскинулись листы, в которое она прежде чаще всего заглядывала с особенным волнением, с нервозным намерением проникнуть в так и не ясную до сих пор тайну Анны и Вронского.

«Вронский слушал с удовольствием этот весёлый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твёрдым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, весёлым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.

Вронский только в первую минуту был ошеломлён после

впечатлений совсем другого мира, привезённых им из Москвы; но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошёл в свой прежний весёлый и приятный мир».

Валентина брезгливо впихнула книгу назад.

«После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений» — вдруг сурово вспыхнули в ней слова святителя Филарета, или когда-то прочитанные, или от кого-то услышанные.

«А может быть, ОНО того стоит?..» — вдруг неожиданно с неким вызовом подумала она, словно сама сейчас всё более становилась этой Анной Толстого.

Валентина покаянно перекрестилась.

... естество же наше страстно и сила наша немощна...

Неожиданно войдя, отец Роман испугался. Лицо жены было настолько бескровным, что казалось мерклым пятном. Матушка, кажется, дрожала. Ей только что ужасно показалось, что Анна Каренина, прежде чем прямо сейчас у неё на глазах под поезд броситься, шепнула, что, мол, каждая женщина должна, просто-таки обязана пережить падение, какое пережила она. Пасть безоглядно до самой грязной, подлой глубины. Без этого женщина никогда не постигнет себя, никогда не покается искренне. Не ощутит высокой истинной чистоты....

— Роман... — тихо, трудно проговорила Валентина. — Объясни мне... Я хорошая жена? Тебе не тяжело жить со мной?

— Что ты такое говоришь, Валюшечка! — взял он её в свои просторные объятия. — Я с тобой как у Христа за пазухой.

— Не поминай Господа всуе... — нервозно усмехнулась она. — А если я вдруг поведу себя как какая-нибудь последняя гадина, ты меня поймёшь, простишь?

— Это — святое дело... — вздохнул отец Роман. — Разве забыла? Господу нашему дороже иного праведника раскаявшийся грешник.

Такой неприятной тяжёлой ночи, как эта, у Валентины ещё не было. Погода резко переменилась не в лучшую сторону. От горизонта до горизонта разлеглась провислая, грязно-белёсая, клочковатая туча, театрально подсвеченная серебристо-сиреневой луной. Казалось, туча дымится, тлея в своих загадочных глубинах неземным огнём. Не уронив ни капли, она долго, злобно стегала окрестности фосфорно-синими, розовыми и зелёными молниями, похожими на разветвления гигантских небесных кровеносных сосудов.

Около четырёх сон чуть ли не обманом уволок Валентину в свои пределы: ей снилось, что она летает с Володиным на его дерзком, вертлявом самолёте.

Утром у неё было никудышное состояние. Отец Роман отчаянно возился со своим стареньким «москвичом», пытаясь запустить мотор: утро как всегда перед

жарким днём выдалось росное, и свечи у машины отсырели.

Собирая вещи, матушка чуть ли не воровски, тайно сунула поглубже в сумку тот самый выцветший красный том «Анны Карениной».

На веранде она вдруг остановилась у игриво блещущего солнечным огнём трельяжа и, щурясь, внимательно оглядела своё красивое густобровое лицо.

«А я ещё очень даже ничего...» — строго подумала она и свела плотно свои большие, сильные губы. Ей вдруг вспомнилось, как лет двадцать назад художник, расписывавший после ремонта сельский храм, в котором тогда служил её отец, однажды восторженно сказал, что у неё фигура Венеры Милосской. Он так оглядел Валентину, что она посейчас взволнованно помнила его прищуренные, строгие, зоркие глаза.

Эту ретро-паузу у зеркала властно прервал мотор «москвича», взахлёб, судорожно застучав. Его железный клацающий звук вновь напомнил матушке азартный рёв самолёта Володина. Всё это взволнованно вернуло её потаённые мысли по поводу Родиона Романовича. Что в самом деле происходит между ними? Как с этим жить? Об этом ей не говорили никогда ни мать, ни бабушка. Возможно, что они сами этого состояния никогда и не знали…

В городе Валентина, проводив мужа, почти сразу позвонила Ольге. Почему? И почему именно ей? Она не забыла её недавние «тонкие» намёки насчёт Володина... И сейчас её рискованно тянуло пообщаться с Ольгой, словно пройти босиком по острию лезвия.

— Доброе утро, Олюшка. Не разбудила?

— Приветик, моя дорогая! Я всю ночь не сплю.

— Что такое?

— О судьбе своей лучшей подруги переживаю.

— Кого ты имеешь в виду?

— Такая у меня одна — лучшая. А нынче с утречка из компетентных источников, которых не имею права открыть, мне стало известно о посещении красавцем авиатором Володиным вашей дачи-развалюшки. А если сей факт наложить на застольные особые взгляды на тебя со стороны этого известного змея-искусителя, так картина приобретает законченную цельность. Тебе не страшно, дева?

— Не надо так... — вздохнула Валентина.

— Ого! Боюсь, ты с этим Родионом по-настоящему влипнешь... Ты мужу исповедуешься?

— Да...

— Не завидую тебе. Кстати, вы ещё не спите с этим москвичом?

— Ольга, не дури... — поморщилась Валентина. — Я надеялась от тебя добрый совет услышать.

— Гони его от себя поганой метлой!

— Не могу... Уже не могу.

— А ты — через ногу! Эх, пока, дура... Ко мне тут пришли.

Никогда на памяти матушки Валентины она не чувствовала себя так одиноко и беспомощно, как сейчас. Всё, что было в её жизни крепью, спасительным прибежищем, вдруг разом стало ей словно недоступно. Она хотела молиться, но не могла с тем, что сейчас чувствовала в себе.

Валентина твёрдо решила просить у мужа благословения исповедаться в другом храме.

Отец Роман, плотно занятый после службы исполнением треб, наездившийся по разным концам города, вернулся поздно.

— Ты не будешь возражать, если я в этот раз исповедаюсь не дома, а в храме Преподобного Алексия, человека Божия? — аккуратно проговорила матушка.

— Так он очень далеко от нас.

— Я там давно не была. И у меня дело к ним есть по женсовету...

Отец Роман снисходительно усмехнулся. Он давно был готов к этому. Как там ни говори, но исповедоваться жене мужу это двойное испытание обоим. Он сам давно хотел предложить ей от этого отказаться, кроме особых критических случаев. Одно дело, когда они жили в селе, и до ближайшего другого храма было часа три езды на автобусе. А так ведь есть вещи, о которых стоит умолчать жене или мужу, чтобы не вводить друг друга в ещё больший грех.

— Как наша машина, не подвела тебя сегодня?.. — вздохнула матушка.

— Насчёт машины у нас с тобой будет разговор особый! — чуть ли не в ладоши ударил отец Роман.

— Господи, что случилось?! Опять оштрафовали? Права забрали?

— Вовсе не то. Как было у наших гибэдэдэшников уважение к человеку в рясе, так оно и осталось. Не смеют они к нашему брату придираться всуе, ибо сугубо почитают. Особенно, когда он едет на реально крутой тачке!

— Какие ты слова, батюшка, оказывается, знаешь... — смущённо улыбнулась Валентина. — Но только твой «москвичок» похож разве что на самодвижущийся металлолом.

— Согласен, матушка. Однако кто тебе сказал, что я именно на нём ездил?

— Он не завёлся, и ты катался на такси?!

— Эх, женщина!.. — усмехнулся отец Роман. — Наши священнические доходы тебе хорошо известны. Как и то, каким образом чаще всего появляется у священника машина. Как правило, это подарки духовных чад. В силу своего ощутимого достатка некоторые из них могут без ущерба для себя отблагодарить батюшку за его труд и дать ему возможность быстрее добираться до храма, до прихожан. Везде, где требуется духовная помога.

Валентина вдруг всё поняла, и даже поняла, кто стал виновником радости её батюшки Романа.

— Володин купил тебе машину?.. — тихо проговорила она.

— Тебе только в следственных органах работать! — вскрикнул отец Роман. — Да, так. Родион Романович проявил к нам участие. Теперь у нас с тобой в пользовании... Сейчас, сейчас... — он сосредоточенно поискал в барсетке какую-то бумажку: — Вот! Внедорожник «хонда Си-Эр-Ви». Вот так! Но и это ещё не всё. Им же передана нашему храму пассажирская «газель», чтобы инвалидов привозить, скажем, на службу. Хотя бы в большие праздники. Или по какому другому неотложному поводу. Но только условие Володина — тебе об этом ни под каким видом не признаваться. В общем, пойдём смотреть нашу новую машину! «Хонда» называется. «Си-Эр-Ви». Приятного такого тёмно-фиолетового баклажанного цвета.

Отец Роман хотел прокатить Валентину на новой машине, но только тронулись, как он ударил по тормозам: на дороге в свете фар лежал, топорща седые иголки, кем-то недавно раздавленный мёртвый ёжик.

Поездка не состоялась.

Утром, более не откладывая, Валентина поехала к матушке Софье. Чуть ли не каждая маршрутка шла от них мимо её дома около старинного Казанского Свято-Богородичного женского монастыря о трёх храмах (зимний, летний и семинарский), двух часовнях и духовной семинарии.

Езда в маршрутке не была для Валентины ни испытанием, ни наказанием; она для неё, как и для всех наших горожан, была истязанием. Если ещё не брать во внимание, что её белый платок, её своя, особая простая одежда, ни к какой мирской моде нынешней и прошлой непричастная, невольно обращала на себя повышенное любопытство пассажиров. Замечала взгляды и насмешливые, и суровые, но чаще задумчивые, уважительные, а то и вовсе благоговейно радостные. А то объявится какой-нибудь подвыпивший гражданин из тех, что через одного считают за обязанность завести с ней «умный» разговор о религии.

«Ты мерзкая, мерзкая, мерзкая...» — угнувшись, напряжённо думала по дороге Валентина, настраивая себя на покаянную встречу с матушкой Софьей.

Притихла, побледнела она.

Поодаль монастырского подворья на отшибе стоял отшельником домик игуменьи Софьи, — неказистая времянка, радостно освежённая к Пасхе известковой побелкой. Оконца с резными голубыми ставенками, в палисаднике понизу красно-сиреневый ковёр бегоний, бархатцев, лаванды, а над ними, под крышу, радужно пенятся пурпурная клещевина, золотарник и царственные георгины.

Тяжёлую дощатую дверь плечом открыла молодая, высокая монахиня в подряснике, сером полуапостольнике и со скуластым большеротым лицом: служка дерзко оглядела притихшую Валентину, как окаянную грешницу в ней враз разоблачила.

— Недолго чтоб!

Валентина стыдливо перекрестилась на иконостас матушки Софьи:

— Мир дому сему...

Какая-то сегодня особенно маленькая, съёжившаяся игуменья, будто замерзая, лежала в углу тёплой светлицы на старой плетёной качалке, во многих местах уже дырявой. Её посох ныне без надобности стоял возле русской печки. На ней рядом с чугунком варёной в мундирах картошки стоял заводной патефон. Шаляпина голос нравилось ей слушать.

Матушка Софья трудно зашевелилась, чтобы благословить Валентину золотым наперсным крестом с камнями, — наградным, за служение. Он уже был явно тяжёл для неё.

Рядом на коленях стояла сумрачная Варварушка, воинственно опершись на свою знаменитую «вострую» клюку.

— Под поезд собралась бросаться?! — едко вскрикнула она, только увидев Валентину.

— Хочу исповедаться... А к какому батюшке подойти, и подумать робею...

— Блудное разжижение, мечтания и пленения... Так и прёт из тебя... — бдительно сощурилась матушка Софья. — Как нам Григорий Богослов завещал? Любовь плотская и привязана к скоропреходящему, и сама скоро проходит, и подобна весенним цветам.

— Цветам же... — едва не вскрикнула Валентина.

Варварушка клюкой ощутимо ткнула ей в живот. Валентина быстрей быстрого пала на колени.

— Не девка, а цветок на загляденье! — нежно вздохнула матушка Софья.

— Вот через то и хочу покаяться: добрых людей с пути истинного сбиваю…

— Они без тебя в этом деле давно преуспели вполне самостоятельно! — усмехнулась игуменья. — Кобели суетные. Как там Филарет их остерегал?! «После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений!»

— Вот я и пришла к вам за советом... — Валентина на коленях, не вставая, придвинулась к качалке. — Из детства помню, как одна женщина на исповеди, прежде чем идти к священнику, всем в храме объявила о своём грехе прелюбодейском... Просто в голос! Это тогда так поразило меня, что прилюдно! Вот и я так хочу. Как клин клином! Чтобы наверняка сломить грех!

— Ох, бабоньки, известный вы народ... Остынь, суета! Как бы там ни было, блудные помыслы не есть блудные деяния... — прищурилась игуменья.

— А ты не кочевряжься, переспи с ним... Сбей бабскую оскоминку! — прыснула в кулак

Варварушка. — Господь милосерд, чай простит?..

Она тотчас, как для острастки, хлестнула себя клюкой по спине пару раз. И передёрнула плечами, словно от удовольствия причинённой себе наказующей боли.

— Простит... Уже давно наперёд простил всех нас! — вскрикнула матушка Софья, чуть ли не все свои силы потратив на эти слова. — Как на Голгофу взошёл с крестом, так и простил... А вот ты, Валюша, себя никогда не оправдаешь... За то, что мужа сердце поранишь... Отец Роман нежный, зла не хранящий, а ты его гвоздём к стене позора приколотишь. Грех ты ещё не натворила. Доверься милости Божией. И помни слова Исайи: «Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело своё трудами и воздержанием».

— Варварушка тоже влюбилась... В президента нашего Владимира Путина! — распластавшись на полу, хвастливо проговорила Варварушка. Она трудно вывернула набок своё грубое мужское лицо и подмигнула: — Наложи на меня, матушка, епитимью тяжёлую, неподъёмную, чтобы рожа у меня пополам треснула!

Матушка Софья как и не слышала этого.

— Ещё и разговоры разные пойдут… На всю епархию. Плохое быстро плодится! Тогда нашему отцу Роману Божий пост придётся оставить и идти через твою душеспасительную откровенность работать каким-нибудь дворником. Профессии толковой у него, как мне известно, никакой нет... Всё, устала я... В сон лечу... Ой, девоньки, детство своё вижу... Уже вот оно... Перед глазами... Как я у моего батюшки в сельском храме в хоре со старушками беззубыми пою… Такой у меня славный голосок... Его послушать многие нарочно приходили. Один дяденька из области приезжал даже. Часто... Звал поступать в музыкальное училище. Как это… на вокал! Но матушка не отпустила. Мол, Господь создал женщину рожать и быть зависимой от супруга.

— Ступай, дурочка, прочь! — вдруг стремительно нагнулась послушница-монашка к стоявшей сутуло на коленях Валентине.

Казалось, ещё миг и она её за волосы с силой дёрнет.

Валентина покачнулась.

— Не шуруди так, девка, оставь её... — осадила игуменья служку.

Монашка судорожно, сочно хлюпнула носом и всей ладонью огребла сверху вниз своё лицо, чтобы размазать вдруг объявившиеся скоротечные слёзы: страсть как переживала она за здоровье игуменьи.

— Ангела-хранителя тебе, Валюшечка... С Богом! Не убивайся... — с твёрдой нежностью напутствовала игуменья матушку. Я уже вижу скорую развязку твоего помутнения. Ангела хранителя тебе... Ступай с миром и в уныние не впадай.

— Прошу ваших святых молитв... — сдержанно отозвалась Валентина и, пятясь, неуклюже вышла.

Как злонамеренно угадав этот неподходящий момент, её смартфон тотчас зазвонил.

После встречи с игуменьей Валентине было ни до чего мирского, обыденного, суетного; хотелось настроить себя в лад с прежней, хорошо ей знакомой любимой жизнью.

«А вдруг это ОН?..» — смятенно подумала Валентина.

Звонил Илья Сергеевич.

— Валентина Петровна, миленькая... — простонал Гнездилов каким-то неестественно нежным голосом, каким он обычно пытался продавить невыполнимые просьбы. — Звоню вам, простите, с переполоху и в полной панике! Ребёнок у меня в хосписе умирает! Девочка, новенькая, шесть лет. А у неё ещё есть шанс! Один на миллион! Но есть!

— Господи, помилуй... — прошептала матушка Валентина, машинально нащупывая рукой хоть какую-то опору.

— У этой несчастной запущенный лейкоз. Она из такой глубинки, куда автолавка раз в год заезжает. Родители спились и умерли. Ни бабушек, ни дедушек. Вовремя болезнь не заметили. А теперь на спасение ребёнка срочно нужны тысяч триста. Одна инъекция — пятнадцать тысяч! А их надо двадцать, этих уколов. Мы сами на нулях полностью! Но если не начать колоть немедленно, девочка завтра может умереть... Как говорится, срок жизни ограничен! Более чем... И ещё жуть — нужного ей лекарства сейчас в нашем городе нет. Только Москва или Питер могут спасти положение. Вы бы поговорили, милая Валюшечка, с Володиным! Мне уже стыдно его просить...

«Опять Володин!..» — чуть не вскрикнула в голос Валентина.

Она поглядела на часы. Половина третьего.

— Я поняла вас, Илья Сергеевич... — строго вздохнула матушка. — Как вашу милую девочку зовут?

— Марина... Кажется, Марина...

— Так-так. Ясно. Да, я сейчас же поговорю с Володиным. Подробности вы сами ему потом объясните.

Она набрала его номер.

Губы матушки как судорогой прихватило.

Слава Богу, они поговорили без каких-либо намёков на то, что как бы уже начало складываться между ними. Более того, Родион Романович был чем-то явно смущён, озадачен, и впервые с тех пор, как Валентина узнала его, голос Володина звучал несколько растерянно.

Она, в свою очередь, не придала этому значения. Она была вся сосредоточена на другом.

Как носящая ребёнка будущая мать физически ощущает его в своём чреве, так Валентина сейчас почувствовала присутствие в

себе, в своей душе той девочки Марины. Которую она ещё и в глаза не видела, но уже взволнованно сознавала, что та отныне есть её плоть от плоти. Казалось бы, стань сейчас матушка Валентина на весы, так они бы показали её новый вес, утяжелённый Мариной.

У неё даже заболела голова.

— Не уговаривайте меня. Не теряйте времени! — поспешно отозвался Родион Романович. — Лекарство будет в хосписе через три часа.

Подъезжая в такси к детской больнице, матушка позвонила Гнездилову, — тот выбежал встречать её к шлагбауму, и даже сам его поднял, отстранив молодого сутулого охранника: приступа такой расторопности у Ильи Сергеевича не случалось даже при явлении в их краях ныне арестованного господина Четвертакова.

— Спасительница вы наша, спасительница! Вот так! Просто аплодисменты сплошные! Ура, народ! Сейчас всякие СМИ понаедут! Праздник чувств!!! — восторженно и аляповато витийствовал Гнездилов тем самым своим нарочито лакейским голосом, как видно специально отработанным для высших лиц, способных чем-то существенным помочь его клинике. — Сейчас налево! Да, да, вот по этой именно дорожке! Платьем цветочки не зацепите! Такие колючки злые! Розы-мимозы, разлюли-малина!

Вошли в паллиативный центр. Матушка Валентина не сразу решилась переступить порог. Она физически почувствовала присутствие смерти. Словно вон там, в уголке, стоит и раздражённо усмехается.

— А вон к нам уже и заведующая бежит! — чуть ли не озорно, заполошно вскрикнул Илья Сергеевич. — Наша всегда сердитая Эльза Митрофановна! Она из Ульяновска. Из своих никто на такую должность не согласился. Чтобы каждый день предсмертные глазки детишек видеть и дни сочтённые их потаённо знать...

Гнездилов вдруг аккуратно, даже нежно взял матушку Валентину за руку.

— Милая ты моя, Валюшечка! — он безотчётно перескочил на «ты», — ты, может быть, того, не пойдёшь туда? Зачем тебе? Пощади себя... Это нельзя видеть просто так. Из любопытства. Они дни свои крохотные доживают, часы, минутки коротенькие. Махонькие! А твою Марину сейчас выведут. Показать тебе.

— Вот это — отставить!.. — глухо вскрикнула матушка Валентина и решительно вошла в хоспис.

Её тотчас вывели обратно. Как больную. Тяжело больную. Матушка плакала. Её надёжно поддерживала ульяновская Эльза Митрофановна, которая оказалась ростом чуть менее отца Романа, узка в бёдрах, но широка в плечах столь, что при повороте тоже воздух вокруг себя взвихривала.

— Не убивайся! — рыкнула на матушку заведующая

паллиативным отделением. — У них у каждого здесь своя палата. Свой унитаз. Свои игрушки. Какие кому нравятся. Разных певцов к ним приводим, танцоров. Клоунов очень любят. Хохочут перед смертью жуть, кто не парализован.

Матушка Валентина поняла, что задыхается.

— Где ваша Марина?..

Вдруг какой-то носик девчоночий веснушчатый, пьяным папанькой три года назад разбитый и провалившийся в переносице, мелькнул за углом.

— Я же не велела ей без меня вставать! — рыкнула Эльза Митрофановна. — Кто разрешил? Урою!

— Это та самая Марина... Марина Полушкина... Такая шустренькая, такая пронырливая! Жить-то хочется! В смерть никто здесь не верит. Хотя играть в неё, бывает, играют. Потихоньку от нас... — объявил Гнездилов, весь такой умилительно ласковый, вдохновенно озарённый.

— Полушкина?.. — настороженно проговорила матушка Валентина. — Нет, уважаемый Илья Сергеевич. Она — Мария Яковлева-Покровская. Это моё вам решение. И просьба одновременно. В общем, займитесь, пожалуйста, документами на удочерение этой девочки нашей семьёй. А коли дни у них сосчитаны, так как можно скорей!

— И результатов лечения ждать не будете? — чуть ли не сочувственно вздохнул Гнездилов.

— У неё лейкемия — это как приговор! Высшая мера. Может, чуток подождать, поглядеть на ход лечебного процесса? Чья, мол, возьмёт? А вдруг смертушка начхает на все наши суперные-пуперные методы лечения? Давайте приглядимся, как организм Маринки на новое лекарство отреагирует? За которым Володин сейчас летит. Через жуткую грозу, между прочим. Я узнавал про его маршрут у метеорологов. Нелётная погода!

— Спаси Господи... — отвернулась матушка, но слёзы засекретить не успела.

Пока ждали Володина, Гнездилов организовал чай. Но никто к чашкам и разным там невиданным французским «печенюшкам» от спонсоров не притронулся.

Блёкло на глазах. Нагущался, приготавливаясь, ранний низкий вечер.

Вдруг непривычный для города азартно взвывающий голос пропеллера чётко объявил о себе. Через минуту точно флаг России энергично мелькнул над парком: это был красно-сине-белой окраски пилотажный «ишачок» Володина. Кувыркнувшись с густым переливчатым рокотом между ещё видевших солнце и словно розовощёких густых облаков, он азартно нырнул в крутое пике. Самолёт судорожно ныл, как сотня циркулярных пил, застрявших на каменном сучке.

Когда наконец «ишачок» судорожно задрал нос с блескучим

нимбом мерцающего пропеллерного сияния, у матушки зазвонил телефон:

— Сейчас вы увидите парашют. Там всё, что нужно Маришке. Прощайте!

«Почему «прощайте»?» — тревожно подумала матушка Валентина.

Как будто белый платок, колеблясь медузой, приник на клумбу перед паллиативным центром.

— Ай да снайпер! — мальчишески вскрикнул Гнездилов и первым бросился к посылке.

Через месяц врачи разрешили Марине жить у её новых родителей. А вскоре матушка Валентина и отец Роман усыновили семилетнего Гошу, тоже доживавшего в хосписе ограниченный срок своей маленькой жизни — медицинский консилиум определил, что опухоль мозга оставила ему быть на этой земле не более трёх месяцев… Через полгода его жизни в новой семье врачи, шокированные анализами Гоши, радостно объявили, что опухоль стала активно уменьшаться. Правда, непонятно почему...

Недавно Валентина как бы между делом поинтересовалась у мужа, куда делся господин Володин: его нигде не видно и не слышно уже какой месяц.

— Именно сегодня он будет у нас вместе со своим духовником отцом Василием! — рассмеялся Роман. — То-то опять будет разговоров про космический Афон над Землёй! Или храм на Луне! Так что славные пироги — за тобой! И не оговорись — прежнего Родиона Романовича более не существует. Он у нас отныне мантийный монах Макарий!

В этот день Макарий и Валентина впервые обнялись.

— Простите меня, грешного... — поклонился он ей со стремительной резкостью, до земли, как бы норовя оторваться от своих прежних неисчислимых душевных смущений. И тихо добавил: — А ведь это вы мне дорогу к Богу открыли...

— Да как же такое возможно? — засмеялась Валентина. — Разве я крестила вас?

— Что-то вроде того... — тихо проговорил Макарий. — Я почувствовал Бога через влюблённость в вас... Пришёл в ваш дом с одними мыслями, вышел совсем с другими...

Они ещё раз обнялись.

— А идёмте-ка есть пироги! — со слезами на глазах приказала матушка. — Только не завидую тому, кто их не похвалит.

Елена ОСМИНКИНА

БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ

Елена Фёдоровна Осминкина родилась в Москве. Поэт, филолог, критик, публицист. Член Союза писателей России. Автор шести поэтических книг. Руководитель литературного клуба КО СПР «Крымский писательский дом». Публиковалась в газетах «День литературы», «Российский писатель», «Слово», «Московский литератор», «Литературная газета, «Метаморфозы» (Минск), «Брега Тавриды» и др. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Гумилёва, литературной Пушкинской премии (Крым), международных литературных конкурсов им. А. Куприна, «Город у моря: Москва-Крым», «Чеховская осень», «Пристань менестрелей». Награждена Знаком отличия и Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым (2017).

ВОЛОШИНСКИЙ КОКТЕБЕЛЬ

Прошёл он равнины, холмы
Коктебеля
В полынном венке и холщовой
рубахе,
И волны ворчали, и тенькала
птаха,
И ветры любимые стансы
пропели.

Шагнуло столетие — вижу всё
то же:
Причудливы камни вершин
Карадага...
И море в седеющих буклях...
и птаха...
Холмы с бархатисто-коричневой
кожей...

Наивно тягаться во времени с
камнем,
Но с вечностью спорят — поэты
от Бога:

К признанью потомком находят
дорогу,
Стихами рождая бессмертную
память.

ЦВЕТАЕВА В ФЕОДОСИИ

Диптих

1

В центре тихой Феодосии
пахло морем, солью, дынями,
и над улицей пустынною
потемнело небо с просинью.

И в ночных часах, что таяли,
очаровывались звёздами,
и в рассветах ранних — вёснами
две души сестёр Цветаевых.

И Марина мелким почерком:
«сколько солнца здесь и зелени»
сентябрями и апрелями!
И не страшно одиночество.

И с тех пор хранила бережно
сердоликовую бусину,
генуэзскую искусную,
даже в будущем безденежье...

Снова лето в Феодосии:
щедрый зной и море тёплое
до дыхания, чуть робкого,
в позолоте лёгкой — осени.

Эта гавань стихотворчества
вновь наполнена поэтами,
и звучат стихи дуэтами,
и звенят стихи пророчеством.

2

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи...
Марина Цветаева

А тени немых кипарисов
и стен генуэзских[1] — длинней,
и сумерки резче, смелей
дохнули печалью и бризом.

Закат разгорается робко,
и первые звёзды дрожат,
Марина идёт не спеша
среди Караимской слободки.
Её в Феодосии манит
проулочков узость, дома
из грубых камней, крутизна
ступеней, холмов. И шаманят
ворчливые, пенные волны,
от церкви доносится звон,
но взгляд у неё отрешён
рождением строк своевольных...

СТАРЫЙ КРЫМ И ГРИН

Агармыш всё так же дремлет,
Будто сотни лет назад,
В старокрымских здешних
землях,
Где полыни аромат,
Можжевеловых иголок,
Диких яблонек и груш.
На его вершине голой
Среди лета, зимних стуж
Реет алый парус Грина.

---

[1] Генуэзская крепость Кафа, XIV век

И отсюда, с высоты —
И холмы зелёным клином,
И сияние воды
Круглобокого залива.
Здесь в свои рассказы Грин
Ярко и неторопливо
Перенёс любимый Крым...
Белый домик, и мечтатель
Словно в нём живёт опять:
Пишет свой роман писатель,
Ощущая благодать.

ОСЕННИЙ СПЛИН

Ветер сутулит спины
жёлтых берёз атласных.
Вечер печально-длинный
чёрным кострищем гаснет,
стелется под ногами,
там, где пестрит гербарий
листьев сухих. Дождями,
серостью дней и хмарью
сломлена я в унынье —
не помогает чаще
чай-бергамот с малиной
в розово-хрупкой чашке.
Верное средство всё же
есть и в таких печалях:
заворожит, встревожит
глаз бирюзовых пламя.

* * *

Свет луны, таинственный
и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Сергей Есенин.

Отчего-то лунность ночи
неизбежно грусть рождает,
словно что-то нам пророчит,
прежде чем в рассветах тает.

И в серебряную реку
обронила верба где-то
слёзы, вновь (как в прошлом
веке!)
вдохновив собой поэта.

И в таинственные луны
ворожит листва на клёне,
стоит ветру только дунуть
на зелёные ладони.

* * *

Ангел лёг у края небосклона.
Наклонившись, удивлялся
безднам.
Н.Гумилёв

На краю небесного простора
Ангел удивлялся синей бездне:
Не лилось оттуда райских
песен —
Доносились стоны и укоры.

От земли, где создавал когда-то
Бог приют из розового сада,
Раздавалась яро канонада,
Догорали в храмах свечи свято

Вслед скорбевшим, отлетевшим
душам.
А из бездны, где война пылала,
Горькое «за что?» в закате алом
Ангел немо и печально слушал.

Влажных крыльев мощное
движенье:
«Нет! Не Богу сетовать
пристало!

На земле, где роз осталось мало,
Вы себе и беды... и спасенье».

БЕРЁЗЫ

Окунулась в царство штапеля,
Где берёзы тихо, в лад
В сарафанах с чёрной крапиной
О России говорят.

То с грустинкою, то весело
Шепчут вечером и днём,
Вторю я припевам песенным
На певучем, на родном...

Я стволы шероховатые
Трону, вспомнив дедов дом.
Будто в чём-то виноватая
Капля падает в ладонь.
Летний дождь, узоры капелек
Обронив опять, на бис,
На берёзах в белом штапеле
Задержался и повис.

Александр ТИТОВ

СТАРШИЙ СЫН

Рассказы

Александр Михайлович Титов родился в 1950 году в селе Красном Липецкой области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы. Работал в районной газете, корреспондентом на радио. Член Союза российских писателей. Печатался в журналах «Подъём», «Волга», «Север», «День и ночь», «Литературная учёба», «Новый мир» и др. Автор семи сборников прозы, лауреат областных литературных премий им. Е. Замятина и им. И. Бунина, премии журнала «Петровский мост». Живёт в селе Красном Липецкой области.

В ПЛЕНУ У БАУЭРА

Его звали Иона Михалыч. Он жил на нашей улице и часто приходил к нам домой на посиделки. По вечерам у нас собирались мужики, чтобы поговорить о том, о сём. Все местные люди знали, что Иона был в немецком плену, работал на хуторянина-бауэра, однако из деликатности они его редко об этом расспрашивали. Что сам расскажет, то и слушали.

О своём пребывании в Германии Михалыч рассказывал неохотно. Мужчина высокого роста, мощного сложения, он чем-то был похож на Сапрона, который тоже часто приходил к нам в дом на посиделки. Но Сапрон, как и мой отец, были настоящими фронтовиками, а Иона — бывший пленник, оттого в общении между ними ощущалась неловкость, молчаливая недоговорённость. Хотя в войну многое происходило с людьми.

Если черты лица Сапрона при всём его богатырстве были тонкие, резкие, порой жёсткие, то Иона Михалыч то и дело расплывался добродушной улыбкой, его большой широкий рот с толстыми лоснящимися губами непропорционально выделялся на лице. Таким ртом можно, наверное, проглотить полбуханки хлеба. Шутил, что в плену «заработал» себе постоянный голод, и теперь всё время хочет есть.

Слушая необыкновенные, порой забавные истории, я хохотал, лёжа на печи, где мне было тепло, уютно и не страшно.

У нас дома к осени всегда были мочёные кислые груши, чугун с мочёнками стоял всегда на лавке, их можно было брать и есть сколько угодно, чем Иона и пользовался, опорожняя чугун наполовину.

Иона Михалыч во время своих воспоминаний по имени своего бывшего немецкого хозяина даже называть не хотел, вроде бы Иоганн его звали: «мой свинячий Гитлер», «мой фашист»... — бывший раб продолжал ненавидеть своего бауэра даже спустя десятилетия. Мечтал поехать в Западную Германию, поймать Иоганна где-нибудь возле усадьбы и от души набить ему рожу, отомстив таким образом за свои мучительные годы.

Однажды, собравшись с духом и перестав есть груши, Иона рассказал, как попал в плен, выбираясь из окружения под Смоленском, как на поезде его везли до лагеря Дессау — там Иона вместе с другими невольниками строил бараки, разгружал вагоны с углём.

Охранник Хайнц, коммунист в душе, тайно принёс в барак проволоку, наушники, серу, кусочек свинца от пули — для детектора. Смесь серы и свинца переплавили в напёрстке. Получился бурый кристалл, на который нацеливали остриё булавки с подключённым проводом, после чего происходило чудо: под действием тока, поступающего из антенны, звучали голоса и мелодии — постоянно шли сообщения из Москвы! Заключённые по очереди слушали голос Левитана, шёпотом повторяли текст сообщений. Мужественный, стойкий, совершенно непоколебимый голос! За голосом Левитана, звучащим над всеми просторами мира, стоял весь тогдашний необъятный и непобедимый СССР.

Чтобы лучше настроиться на советскую радиостанцию, подсоединили к приёмнику конденсатор, сделанный из консервной банки, намотали триста витков катушки из медной проволоки. Вскоре в наушниках заключённые услышали слово «Сталинград». «Наши разбили немцев под Сталинградом!»

Анна, чешка, которая поддерживала связь между лагерями, принесла записку о готовящемся восстании сразу нескольких лагерей. Шифр заключался в письме мнимой возлюбленной к

одному из заключённых. В каждом третьем слове вторая буква — шифрованная. Заключённые в лагерях Дессау, Рослау и других были готовы на всё. Планировалось захватить пушки, затем открыть огонь по гестаповцам.

Однако восстание провалилось, нашлись изменники. Анну и Хайнца расстреляли, самодельный приёмник отобрали. Заключённых отдали на работу в разные города Германии, Иона попал в деревню к бауэру.

«Разум тогдашних немцев ушёл в войну, они свой дух в неё полностью вогнали!.. — размышлял Иона во время посиделок. — Многое они делали по хозяйству механически, жалости к рабам не было. Бауэры с виду вялые, жадные, но хитрые, себе на уме. Типичные русские кулаки! Мой бауэр относился ко мне вообще как к скотине, свиней он уважал больше, чем меня...»

Работая на хуторе с утра до вечера, Иона часто вспоминал, что где-то далеко живёт и ждёт его освободительница земель — Москва. Она уже близко — идёт в Европу вместе со своими войсками, об этом открыто говорили на хуторе. Иона мстительно думал: вот придут наши, конфискуют эти мощёные дворики, каменные сараи, жирных свиней отправят на полевые кухни, солдаты хозчасти выдоят выскобленных до блеска коров...

В неволе Иона познакомился с будущей женой Верой Павловной, её также привезли в Европу в телячьем вагоне, на котором была надпись: «Да здравствует Германия!» Вера родом с Белоруссии — отец её погиб, брат партизанил, он остался жив. На малолюдном хуторе раб и рабыня встретились, познакомились, полюбили друг друга. Кругом тоска, тяжёлый труд изо дня в день: поля, хлев, огород, кухня... Казалось, ненависть к войне запечатлена в окружающем уютном пейзаже.

Однажды хозяйка отлупила ремнём бауэра за то, что приставал к Вере. Иона также ему пригрозил расправой. Иоганн не на шутку испугался — русские приближались к территории Германии.

Спустя годы Иона Михалыч размышлял: потерял он в плену своё человеческое достоинство или нет? Мужики за чекушкой водки его успокаивали — радуйся, что живой остался, что тут, в нашей стране, тебя не посадили как шпиона, разобрались, что ты пострадавший советский человек. Достоинство не в том, что пленный вынужден есть месиво вместе со свиньями и хочет выжить, а в том, что он, как и всякий воин, надеется на победу. Иона в плену мечтал совершить какой-нибудь подвиг. Но что же такого великого сделать? Хозяин при всей своей отвратительности и жадности смешон, свиней отравить — бауэр сдаст обратно в лагерь. Иона, будучи высок и полон телом, не наедался пайком, который выделял для своих

работников бауэр, поэтому Ионе приходилось становиться на колени, зачёрпывать пригоршнями месиво из свиного корыта и жадно, торопливо насыщать свой желудок. Свиньи серчали, норовили его укусить.

Бауэр заметил, что свиньи не наедаются, выследил Иону и в качестве наказания запер его в сарай, посадил на голодный паёк. Иона едва не умер от истощения, но Вера приносила тайком еды — она работала в поле и делилась с Ионой своим пайком.

«В нашей России нет ни одного бауэра! — с гордостью думал Иона, сидя в тёмном холодном подвале. — Одни только настоящие колхозы! В своём селе я опять буду вольный человек, там не придётся воровать корм у свиней...»

До военнопленных доходил слух, что с картошкой в России туго, собираются по весне картофельные очистки в землю сажать. Вера вздыхала, ворчала:

«Из очисток крупные клубни не вырастут... В Германии колхозов нет, народ живёт богато, чисто, а у наших колхозников ничего нет, живут в грязи и холоде...»

«У немцев все богатства не свои — награбленные со всей Европы! — объяснял ей с жаром Иона. — Всё здесь создано невольным трудом, как ты не понимаешь, Вера? От жира немец взбесился, попёр на Россию, сколько наших людей в землю положил!»

«Даже в свинарниках, конюшнях — каменные полы, чистота, много корма — разве это награбленное? — не унималась Вера. — Объясни, почему у них жизнь правильная?»

Иона озирался, морщился:

«Что же здесь такое «правильное»? Конечно, в хозяйственных делах, в чистоте и бережливости нам до немца далеко. Россия — страна отсталая, мы и в войне-то побеждаем с великим трудом... Мои родители в колхозе за «палочку» работают, недоедают, лишь бы армия в боях закрепила победу».

Через неделю бауэр освободил Иону из карцера, они запрягли в две большие телеги с высокими бортами коней-тяжеловозов, поехали в ближайший лагерь заключённых — за пеплом. Возле куч золы собралось много телег и грузовиков из окрестных хуторов. Зола людей — дармовое, насыщенное минералами удобрение, бауэры ссорились из-за места в очереди. Грузили пепел совковыми лопатами, Иона кашлял от серой пыли, глаза слезились...

Домой бауэр ехал сидя на мешковине, поверх горы пепла, насыпанного в телегу. Иона понуро брёл рядом со своей лошадью, хотя тоже мог ехать, постелив на пепел домотканый коврик.

«Чего же ты не садишься на телегу, пепел лёгкий, я тебе разрешаю ехать!» — оборачивался бауэр.

«Потому и не еду, что пепел этот слишком тяжёлый…» — вздыхал Иона.

На следующий день они этим пеплом удобряли поля, брали светлый лёгкий порошок лопатами, разбрасывали по грядкам.

Когда Иона Михайлович рассказывал про пепел, он вновь задыхался и кашлял, словно едкие частицы вернулись в нашу сельскую хату из тех давних германских лет, и опять человеческая пыль точила ему горло, вышибая из глаз слёзы. От пепла руки его становились красными, словно от негашеной извести. В куче пепла Иона нашёл оплавившиеся золотые часики, женские, страшные, без стрелок, похожие на сверкающую жёлтую каплю с вкрапленными чёрными точками.

Тучная выросла у бауэра картошка, и свёкла уродилась, было много других овощей, колосилась пшеница. Ионе казалось, что колосья сверкают под солнцем блеском миллионов глаз, в картофельных клубнях бугрятся человеческие лица, в бурачной свёкле — краснота чужой крови.

Иона в тот год совсем исхудал — великан брезговал есть хлеб и свиное сало, пропитанные сладким человеческим духом, перенесённым в еду из лагерного пепла. Иона во многом питался ненавистью к врагам: «Будьте вы прокляты со своей войной и со своими концлагерями!»

Бауэр, надеясь, что русских прогонят, стал ещё зажиточнее — двор заасфальтирован, скотные помещения вычищены, коровы пьют из чугунных раковин, нажимая мордой на клапан. Позже в советских колхозах появятся такие же автопоилки на молочных фермах, а Иона, работая в колхозной мастерской токарем, будет вытачивать для поилок запчасти. Он первым на нашей улице купил себе радиоприёмник «Рекорд» — ездил за ним в Москву, достал на складе у знакомого кладовщика. По приёмнику он иногда слушал западные голоса, надеясь что-либо услышать о своём ненавистном враге Иоганне, процветающем западногерманском фермере. Однажды радиоприёмник сломался, и он позвал меня его чинить. Я пришёл, снял с приёмника заднюю картонную стенку, стёр с неё пыль.

Иона Михалыч с напряжённым вниманием вглядывался во внутренности приёмника, стараясь разглядеть «детектор». Он считал, что все приёмники устроены из детекторов, вроде того, который изготовили заключённые немецкого концлагеря.

— Здесь должен быть серый камешек с жёлтыми блёстками, а в него упёрта иголка! — чуть ли не кричал он. — Я видел там, как устроен приёмник…

Я показал ему перегоревшую лампу, и тут же заменил её — приёмник заработал. Иона Михалыч огорчился, что в

приёмнике он не увидел знакомого ему «детектора».

Вскоре он купил телевизор. В то время это была диковинка, телевизоры доставали по блату, а у Ионы был в Москве знакомый по лагерю кладовщик. Мы с отцом в те годы часто ходили к нему, как тогда выражались, «на телевизор». Отец любил фильмы 30-х, я же предпочитал кинокомедии и футбол. Кстати, Иона Михалыч тоже был заядлым футбольным болельщиком. Правда, болел он только за сборную СССР и болезненно переживал каждый её проигрыш. А проигрывала команда частенько.

Мы, пацаны, в то время старались не пропускать ни одного матча международного масштаба. Иона был не очень гостеприимен, однако на футбол разрешал приходить всем желающим — мальчишки сидели на полу, на стульях, полностью заполняя небольшую комнату, где стоял телевизор. Всех наших футбольных противников Иона Михалыч называл почему-то «фашистами», громогласно кричал в экран телевизора, ободряя таким образом нашу команду и обрушивая на соперников шквал ругательств. После каждого гола, забитого в наши ворота, Иона Михалыч тяжко стонал, поднимался с табурета:

— Что за команда? Кого набрали — мазилы! У фашистов не могут выиграть, дармоеды!..

— Он хватал из кастрюли, стоящей на полу возле телевизора, большой пельмень, засовывал в свой огромный рот и мгновенно его съедал.

Мальчишки с изумлением смотрели на него — вот это едок! Пельмени и котлеты, говорил Иона, помогают ему заглушить гнев от поражения наших футболистов. Он не отрывал взгляда от чёрно-белого экрана, где советские игроки мужественно боролись хотя бы за ничью.

Иона Михалыч был в посёлке уважаемым человеком, считался токарем-универсалом. Водки почти не пил, заказы текли к нему со всех сторон, по тем временам жил он безбедно. Наголодавшись в плену, Иона сам готовил еду очень вкусную и в больших количествах. Домашние котлеты у него получались размером с мужскую ладонь, пельмени — величиной с лапоть. Он любил хорошо поесть, хотя в те послевоенные годы мясная еда для многих была роскошью.

Сковороды и кастрюли в его кухонном закутке были намного больше обычных, чем нужно для семьи из трёх человек — у него подрастал слабоумный сын Коля, жена Вера Павловна работала медсестрой. Я иногда дразнил бедного Колю, когда его приводили к нам на посиделки, подсовывал ему кислые груши. Коля машинально ел их, морщился и уже готов был заплакать, на лице его перед слезами

показывалась страшная, в полные зубы, улыбка идиота.

Иона Михалыч потихоньку грозил мне пальцем: не дразни его!..

Своего мучителя Иоганна Иона всё-таки однажды встретил... Нашего токаря-новатора за его рационализаторские предложения отправили вместе с колхозной делегацией на ВДНХ, где Ионе должны были вручить серебряную медаль.

Там как раз в эту пору проводилась выставка достижений немецких фермеров. Один из стендов был посвящён работе Иоганна, который в течение многих лет селекционного труда вывел нежирных свиней беконной породы. Под стеклом холодильника демонстрировался срез свиного сала с многочисленными прослойками мяса.

Протиснувшись сквозь небольшую толпу к Иоганну, Иона взглянул ему прямо в глаза. Обыкновенный седовласый человечек с красной от волнения лысиной водил указкой по срезу сала, объясняя, как он вывел столь полезную породу свиней. Увидев и узнав Иону, фермер потерял дар речи, указка со стуком упала на мраморный пол. Некоторое время два седых пожилых человека молча смотрели друг на друга. Затем Иона резко повернулся и ушёл. В тот же день, не дожидаясь окончания экскурсии и вручения медали, он забрал свой чемодан из гостиницы, уехал домой. А медаль ему спустя несколько дней привёз и вручил в своём кабинете сердитый председатель колхоза, обругавший Иону за неповиновение подходящими словами.

Я подрастал, увлёкся фотоделом. Иона Михалыч, глядя на меня, купил себе точно такой же фотоаппарат «Зенит», которым впоследствии не сделал ни одного снимка.

Увидев у меня катушечный магнитофон, Иона Михалыч поразился — он услышал звучащий с плёнки свой голос! Несколько раз он просил повторить запись, с удивлением прослушивая самого себя. Вскоре он купил себе точно такой же магнитофон, пригласил меня к себе, чтобы я показал, как нажимать кнопки. Затем до самой его смерти магнитофон пылился на подоконнике, Иона Михалыч не сделал на нём ни одной записи.

Он любил современные вещи. Доживи Иона Михалыч до наших дней, он бы непременно купил компьютер, чтобы ни разу не включить его.

В начале семидесятых он вдруг заболел и умер — народ говорил, что рак у Ионы Михайловича «приключился от пережитых нервов».

ПАТЕФОН-55

1955 год, мне пять лет, я сижу под вишней на одеяле и кручу хромированную ручку патефона. Для меня это вроде игрушки.

Родители и соседи собрались на лужайке нашего вишнёвого сада, чтобы отметить День Победы.

Не только из-за Дня Победы — эти люди были тогда ещё сравнительно молоды, им было лет по тридцать, им хотелось танцевать под патефон, немного выпить, полюбоваться цветущими вишнями.

В домах в те годы ещё не было телевизоров, даже чёрно-белых, радиоприёмники были не во всех семьях, на стенах домов висели картонные репродукторы в форме больших чёрных тарелок, их называли «лопухами».

Но вернёмся в тот замечательный весенний день, овеянный запахом цветущих садов и ароматами уже далёкой, но оттого не менее прекрасной и величественной Победы.

Сосед дядя Вася принёс в сад свой патефон, с десяток пластинок с танцевальными мелодиями.

Пары были одеты по-летнему, женщины в лёгких развевающихся платьях, с кудрявыми причёсками, мужчины в широких брюках и светлых рубашках с закатанными рукавами.

Я был доволен своим занятием — ел сладкий глазурный пряник и время от времени подкручивал пружину патефона, а когда забывал подкручивать, патефон словно бы угасал, мелодия звучала искажённо и дребезжаще.

Танец кончался, звенели стаканы, до меня доносился знакомый запах водки, по саду раскатывался громкий смех взрослых людей. Мужчины в перерывах между застольем и танцами курили, о чём-то разговаривали. Мой отец не курил, зато изрядно выпил, пытался танцевать гопак, из-под его каблуков летели клочки травы и земли, а когда он упал на муравейник, все засмеялись, я тоже.

Потом они подпевали своей любимой песне, звучавшей с пластинки: «Мы парни бравые, бравые, бравые...» А мне они, мои соседи и отец, уже казались старыми, немного полноватыми, покачивающимися, с чуть багровыми и какими-то одутловатыми лицами. «Мы парни бравые...» Даже я, маленький человек, понимал, что они уже не юноши и не солдаты, а взрослые, усталые от войны и трудов люди.

Я был доволен своим новым занятием, крутил ручку патефона почти не переставая.

Иногда хозяин патефона, дядя Вася, поворачивал раскрасневшееся лицо, шутливо грозил мне пальцем — крути патефон полегче, пружину сломаешь!..

Но я крутил почти без остановки, мне, пятилетнему мальчику, нравилось крутить эту замечательную рукоятку, легко отзывающуюся под ладонью. Неожиданно внутри волшебного музыкального ящичка хрустнуло, музыка пискнула и перестала звучать, пластинка остановилась, блестели неподвижные

сверкающие бороздки на угольного оттенка диске.

— Патефон! — схватился руками за голову дядя Вася и зашатался, словно раненый. — Санёк, ты сломал мой патефон! Я привёз его с войны, я его берёг...

Все заахали и заохали, праздник внезапно кончился. Мужчины выпили, но уже без весёлых шуточек, со вздохами, о чём-то говорили. Они вдруг загрустили, затосковали, словно замолчал не патефон, а исчез весь праздник. Притих солнечный день, в саду щебетали мелкие птахи... Меня никто не ругал, казалось, обо мне все забыли, и оттого мне было тоскливо и грустно. Я чувствовал себя виноватым — из-за меня праздник оборвался и внезапно кончился.

Дядя Вася сел на скамейку, продолжая сжимать голову обеими ладонями. Он вдруг встал, ушёл по тропинке вглубь сада, где цвела пышными цветами, распространяя конфетный запах, старая груша. Там он заплакал, зарыдал, тихо повторяя одну и ту же фразу:

— Мой патефон, мой патефон...

Все собравшиеся, даже я, понимали, что он плачет вовсе не о патефоне... Я знал, что дядя Вася был тяжело ранен на войне, у него не было нескольких рёбер и части лёгкого. Его жена, тётя Маруся, подошла к нему, начала успокаивать, поглаживала его длинный чуб, свешивающийся набок и забавно покачивающийся на лёгком ветерке.

— Фашисты хотели уничтожить Россию, уничтожить нас всех... На фронте погибли лучшие, остались мы — больные, с раненой душой... Думаете, товарищи соседи, мне жалко этот патефон? Да ни капельки мне не жалко это германское изделие... — Дядя Вася схватил с примятой травы патефон, поднял его обеими руками, собираясь ударить о корявый ствол груши, но мой отец успел схватить его за руки, крепко их сжал, и несколько секунд оба стояли посреди сада в таком положении.

Женщины с испугом смотрели на них.

— Успокойся, Вася… — сказал мой отец. Он аккуратно отобрал у него патефон, поставил его на зелёную траву.

Покачиваясь, мой отец подошёл к скатерти, грузно плюхнулся на колени, налил себе стопку, выпил её в одиночестве. Я знал, что на войне отец был танкистом, механиком, после тяжёлого ранения — шофёром, и сейчас он тоже работал шофёром в «Заготзерно». Я любил его машину ЗИС-5 и навсегда запомнил её номер ОЧ 72-45. Первая буква означало название области — Орловская.

Отец был в праздничных диагоналевых брюках-галифе, в светлой рубашке с короткими рукавами, которую он называл «тенниской».

Женщины поправляли скатерть с едой, хлопотали возле дымившего неподалёку самовара, сизый духовитый дымок плыл по белому вишнёвому саду.

Моя мать была самая красивая — тёмные густые волосы, перевязанные алой ленточкой, коса чёрная, уложенная венчиком на затылке. Волосы блестят на весеннем солнце. На матери единственное праздничное тёмно-зелёное платье в крупную клетку.

Мужчины разошлись по садовым тропинкам, курили. Мой отец никогда не курил, даже на войне, и сейчас он просто смотрел в небо.

Я, огорчённый поломкой патефона, чувствовал, как слёзы сами собой, в тишине, текут по моим щекам и тотчас заревел во весь голос, слыша как эхо моего плача разносится под кронами деревьев.

Все обернулись, подошла мать, взяла меня с одеяла на руки. Я чувствовал в настроении взрослых какое-то недетское горе и продолжал плакать, всё громче и громче, переходя на крик. Я чувствовал в себе войну так, как может её почувствовать ребёнок — как нечто чуждое, страшное, и в то же время навсегда свойственное этому миру; война была во мне, в моей детской крови, навсегда привнесённая в меня кровью отца.

Вишни отцветали, лепестки, словно снежинки, падали вниз с пушистых соцветий.

Фронтовики были без орденов — в те годы они редко их надевали, да и праздник Победы официальным праздником тогда ещё не считался, не было ни парадов, ни торжественных шествий. У отца было много медалей — «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», орден Боевого Красного Знамени. Вот он опять закрыл лицо ладонями, потом отнял их от лица, глаза его были влажны.

— Вась, я починю патефон... — сказал он, повернувшись к соседу. — Склепаю пружину, будет как новая!

Дядя Вася подошёл ко мне.

— Об чём ты плачешь, Сашок?.. Да кляп с ним с патефоном, я новый куплю (дядя Вася работал на лесоскладе и считался по тем меркам состоятельным человеком).

Я тогда не мог понять, отчего я плачу, хотя чувствовал, что это как-то связано с войной, которая кончилась десять лет назад, но тогда я не мог этого осознать своей детской душой.

СТАРШИЙ СЫН

Он приехал рано утром и спокойно сошёл со ступенек поезда. Набрав полные лёгкие зимнего воздуха, он не выдержал и улыбнулся — родина! Но тут же ноги его дрогнули, заскользили по обледенелому перрону сельской станции. Сергей Николаевич с

горечью вспомнил, что умерла его мать, и поэтому он смог наконец-то навестить родную деревню Тужиловку, до которой оставалось пройти два километра.

«Приезжай, сынок! — писала мать в своём последнем письме. — Целый год тебя не видала, боюсь, что не увижу тебя больше — плохая совсем сделалась… Приезжай скорее! И люди наши на тебя посмотрят, и все мы тут будем рады. Я знаю, что ты — знаменитый учёный человек, которого берегут для государства и процветания Родины нашей любимой! Видела тебя один раз в телевизоре, кое-как встала, потрогала стекло, а оно холодное… Телевизор у меня хороший, с большим экраном, Маша отдала, а себе они новый купили, плоский… Теперича я совсем двигаться не могу… Я не жалуюсь, просто соскучилась по тебе. Приезжай, сынок!»

И вот он приехал. Надо было приехать раньше, но Сергей не думал, что мать умрёт так внезапно. Ему на работе нужно было довести до ума сложный проект, аналогов которому пока ещё нет… И вот теперь, скользя по обледенелой полевой дороге, прикатанной колёсами тракторов, он медленно шёл в направлении Тужиловки, часто останавливаясь и разглядывая всё вокруг. Узнавал места и очень боялся идти домой, где его ждала мёртвая мать. Привыкший мечтать, он пытался уверить себя в том, что умерла чужая, а вовсе не его мать…

Деревня Тужиловка почти не изменилась за минувшие десятилетия, выросли несколько солидных особняков московских и областных дачников, а домик матери, его родной дом, был всё таким же маленьким, знакомым, будто Сергей только вчера уехал из него.

Задержался на пороге, прислушиваясь к неприятному гулу внутри дома, затем вошёл в душную, пахнущую ладаном комнату. И сразу же вздрогнул, потемнел лицом, снял шапку. Впившись глазами в гроб, он больше не отрывал от него взгляда.

— Сергей! Серёжа приехал! — разнёсся по комнате тихий старушечий шёпот.

К нему тут же подбежали две сестры, Оля и Маша. Заголосили, мокрыми красными лицами прижались к его небритым щекам. Потом сразу перестали плакать, наперебой начали говорить о том, как ждали его, но не знали, каким поездом он приедет. Спросили, не привёз ли он апельсинов, а то в автолавке нет, хоть и заказывали, и ещё какого-нибудь гостинчика для поминального стола.

— Я ничего не привёз, — ответил он, не узнавая свой глухой голос. — Я… Я не мог…

— Неужели там, в Москве, ничего нет?

— Я не мог! — повторил он глухим провалившимся голосом.

Старушки в углу снова зашептались.

— Какой, однако, жадный! И самолюб! — говорили тихонько старушки. Но говорили так, чтобы он мог слышать. — С мальству был такой нехороший. Только об своих железках и думал, всё изобретал чевой-то…

Он сел возле гроба и принялся молча смотреть на мать. Губы его были плотно сжаты, глаза почему-то оставались сухими. Волосы на лысеющей голове сбились в бесформенную кучу, но он не поправлял их. Шапку свою он уронил на пол и, не замечая этого, наступал на неё ногами.

— Хоть бы слезинку уронил или словечко какое вымолвил… — осуждали его старушки. — Сидит, как пень. Всегда был такой бирюк...

Сергей отвык от деревенского неспешного говора, и сейчас ему было забавно слушать, как соседки говорят, что хлеб, купленный на поминки в автолавке, — «твёрстый, учарашний». В соседней деревне со странным названием Цкнтроповка, хотя она совсем рядом, выговаривают по-другому, про вчерашний хлеб говоря так: хлеб «учорошний». Иногда Сергею казалось, что он от долгой жизни в столице и напряжённой творческой работы навсегда забыл родную деревенскую речь, когда слова выговариваются как бы сами собой, звучат кругло и бесформенно. Но иногда деревенские словечки вырывались и у него. Однажды директор института сказал Сергею, что его приглашают в ЦК КПСС для беседы.

— Чаво ж они тама от нас хочуть? — машинально пробормотал он.

— Не хочуть, а хотят! — поправил его директор. — Разговор будет секретный, там скажут, что нужно делать... Знаю одно — финансирование будет солидное, практически неограниченное!

Сходили с шефом на Старую площадь, получили срочное задание по улучшению систем коррекции движения ракет. Сергей активно, как это всегда бывало с ним при виде трудновыполнимой задачи, почти целиком ушёл в себя. Со школьной, согнутой пополам тетрадкой не расставался, она с привязанной ниткой карандашом по ночам лежала у его изголовья. Жена и дочь его не беспокоили, знали, что отец в таком состоянии почти не способен к бытовому общению. А мать тут, в своей деревне Тужиловке, удивлялась, почему от Серёжи за последние три месяца нет ни одного письма! И только позвонив из районной почты ему на квартиру, мать убедилась в том, что Серёженька жив и здоров.

Сейчас он смотрел на белое, словно бумага, лицо матери и думал о том, что прежде никогда не разглядывал её так внимательно и даже не задерживал на её лице взгляда. Ему всегда

было некогда, он думал только о своих увлечениях, о себе самом, мечты переполняли его, отодвигая обыденную жизнь на второй план. Сергей не замечал, как мать старела, не замечал, как она сама носит воду из колодца, сама колет дрова. Она никогда его ни о чём не просила. Наоборот, радовалась, что Серёженька сидит над непонятными схемами и чего-то рисует в тетрадку, с которой никогда не расстаётся. Она с небольшой своей колхозной зарплаты, состоящей в основном из «палочек»-трудодней, давала ему денег на покупку радиоламп и других радиодеталей, за которыми Серёжа ездил в Елец, а когда возвращался и с ходу начинал мастерить очередной прибор, в комнате пахло паяльником и жжёной канифолью. А скоро на единственном столе в углу хаты начинал петь и разговаривать самодельный радиоприёмник. Серёжа сиял, мать тоже радовалась — сынок сам смастерил приёмник, весть об этом разносилась по всей деревне. Жители радовались — свой радиомастер появился!.. И он, действительно, охотно чинил соседям первые, только что появившиеся в продаже советские телевизоры... Отца Серёжа плохо помнил, тот вернулся с войны тяжелораненым, работал на колхозном току учётчиком и рано умер от давнего осколочного ранения, которое вдруг обострилось. Теперь вот и не заметил, как умерла мать, которая до последних дней сама старалась ухаживать за собой, дочерей она также старалась не беспокоить... В сложенных на груди руках матери горела свеча. Свет её дрожал, жёлтыми пятнами танцевал на лице покойной. Сын смотрел на мать, и ему казалось, что сейчас она откроет глаза, вздохнёт, как вздыхала обычно, когда просыпалась поздней ночью и видела, что Серёжа чуть ли не до утра сидит над мудрёными книгами.

Старушки о чём-то тихо совещались, одна из них, читалка, или как её иногда называют в народе — «монашка», начала читать по церковной книге. Голос её — резкий, с подвывом, неприятно раздавался в душном приторном воздухе. Время от времени старушки хором подпевали: «Вечна-а-я па-а-мять!..»

«Монашка» читала о каких-то грехах, которые якобы имела покойница и которые должны были проститься ей на том свете.

— Перестаньте! — воскликнул вдруг сын. — У моей матери не было грехов!

Читалка обиделась. Закрыла книгу, ушла на кухню. За ней кинулись старушки, сёстры, и все принялись уговаривать читалку остаться на всю ночь, потому что так полагается:

— Э т о т ляжет спать, а мы потихоньку дочитаем...

Но читалка с брезгливой гримасой схватила деньги, которые ей протянула одна из сестёр, и ушла, громко хлопнув дверью.

Сергей Николаевич закрыл лицо ладонями и понял, что здесь он никакой не лауреат, не гений, а пожилой человек, такой же седой пенсионер, как и все собравшиеся к покойнице люди.

Вскоре в комнату шумно ввалились мужички, которые рыли могилу. На их лицах было написано спокойное самодовольство. Они потирали озябшие ладони, расстёгивали куртки с налипшими к ним крошками глины.

Сергей смотрел на обветренные лица копачей, и его сердце ныло от зависти и одновременно от неприязни к этим людям, которые спокойно и даже с каким-то торжеством хоронили его мать.

— Восемьдесят пять годов пожила на свете, это нормально! Дай нам Бог столько прожить!.. — беседовали меж собой те, кто пришёл на похороны.

— Хозяин! — сказал один из копачей, обращаясь к Сергею Николаевичу, как к единственному мужчине среди родственников. — Налей-ка нам, пожалуйста, по стаканчику. С утра ведь работали... Могила — красота! Сделали как положено — глубина два метра! А земля, я те скажу, мёрзлая, ломом едва продолбили первый метр…

Голос бригадира копачей казался Сергею чересчур гулким и басовитым.

— Не шумите, пожалуйста... — ответил задумчиво Сергей. — Мать умерла… Ступайте к Марии, к сестре!

— Ды-к я им на кладбище три поллитры завернула и закуску в придачу! — возмутилась Мария. — А они ещё просят. Думают, ежели учёный человек, так у него спирта целая бочка!.. Да сколько же вам, ненасытным, давать?..

— Так мы это, вроде как во вкус вошли, добавить надо бы, хозяйка!

— Дай людям, коли просят! — Сергей достал бумажник, вынул из него почти все деньги, довольно солидную пачку, оставив немного себе на обратную дорогу. Тысячную бумажку отдал копачам, которые поначалу не хотели брать купюру — «много, хозяин, что ты!..» Однако Сергей непререкаемым жестом велел копачам уходить… Остальные деньги отдал старшей сестре Марии. Денег было много, и она, остолбенев, застыла посреди комнаты. Лицо её просветлело, на нём появилась странная улыбка.

— Хвизик, лавуреват! Бонбы изобретая, новую «катюшу» изделал — по телевизору балакали об етом... Захоча — кнопку нажмёть, и всей Европе калпек... Недаром покойница говорила, что Серёженька ейный для Родины гораздо нужнее, чем для неё, для матери родной... — Старушки замолчали, с почтительным видом наблюдая, как Мария, вытирая заплаканное морщинистое лицо, прячет купюры во внутренний карман плюшевой

жилетки, застёгивая его накрепко булавкой.

— А глаза у него всегда какие-то дикие, ненашенские... — тихо сказала другая старушка. — С мальству он был потаённым человеком, чужим для всех нас…

«Я не чужой! — подумал Сергей машинально. — Здесь мой дом, и здесь моя мать».

— На похороны приходите, закапывать, дюже не напивайтесь! — крикнула Мария вслед уходившим мужикам.

Сергей просидел возле матери до часу дня, пока не пришло время выносить гроб. Сёстры в чёрных платках то плакали, то умолкали, успевая командовать приготовлением закусок для поминок.

Иногда старший сын выходил на улицу покурить, делал торопливые затяжки, чтобы скорее вернуться в дом, к матери. Морозный ветер шевелил остатки его мягких седых волос, вздымающихся вокруг жёлтой, будто отполированной лысины. Он вспомнил, как в годы перестройки, когда вдруг начались перебои с продажей сигарет и выплатой зарплат, мать присылала ему махорку, выращенную на огороде. Часть махорки она продавала на базаре, а вырученные деньги также отправляла Серёже — на хлеб и молоко семье. Деревенские люди удивлялись, упрекали мать — дескать, ты тоже на старости лет в «бизьнес» ударилась? Кому теперь нужны изобретения твоего Серёжки — СССР разваливается, ракеты на металлолом сдают!..»

Она молча перебирала пуговицы узловатыми руками, ей тоже было неловко, что она, ударница 9-й пятилетки, Почётная колхозница, награждённая орденом Трудового Красного Знамени, некогда «знатная свекловичница», фотографии которой публиковались в газетах, ныне вынуждена стоять с мешком махорки в райцентре, возле ворот базара и продавать её стаканами. Бандиты сколько раз подъезжали, требовали с «мамаши» деньги, кроме того, милиционеры с базара прогоняли, дескать, нельзя торговать без лицензии...

Она отвечала, что, дескать, Серёжа привык курить, без табака ему в голову ни одна научная мысль не приходит.

Сергей Николаевич, действительно, курил очень много, в Москве, в период нехватки сигарет, он, словно солдат, всюду таскал с собой отцовский кисет, который тот принёс с войны. Кисет всегда был наполнен махоркой. Однажды во время совместного симпозиума с американскими учёными, Сергей Николаевич, по обыкновению, во время перерыва, не задумываясь, свернул из обрывка газеты «козью ножку», насыпал в неё махорки, торопливо и жадно закурил. К нему тотчас устремился директор института,

протягивая Сергею Николаевичу пачку «Мальборо»:

— Сергей, пожалуйста, не позорь нас своими самокрутками, а то американцы подумают, что наши учёные совсем обеднели, коль курят махорку в самокрутках... Вот тебе настоящие сигареты!

Сергей Николаевич с любопытством разглядывал заснеженный деревенский выгон, из сугробов торчали обломки футбольных ворот. В детстве Сергей также любил погонять мяч, купленный мальчишками в складчину. Мяч, не выдерживая нагрузки, лопался по шву. Зашивать его доверяли старательному Серёжке, и он аккуратно шил мяч самодельной, с хитроумным изгибом иглой, используя для шитья просмолённые нитки, выдранные из транспортёрной ленты... Вот и сейчас рука его машинально потянулась к внутреннему карману пиджака, где у него всегда лежала свёрнутая пополам тонкая школьная тетрадка, прочих блокнотов он не признавал, новые идеи почему-то охотнее ложились на школьные синие клеточки... Всегда под рукой был карандаш. Привычка к тетрадке и карандашу осталась у маститого учёного с детских времён, когда он на каникулах помогал пасти колхозное стадо, и позже, студентом физмата, он в вагоне метро рисовал в помятой тетради схемы и формулы, а по вечерам, не расставаясь с тетрадкой, ехал подрабатывать грузчиком на овощную базу...

Не чувствуя холода, Сергей Николаевич достал тетрадь и углубился в расчёт формулы, совмещающий свойства сверхпроводимости металла, помещённого в мощное магнитное поле. Над этой темой он работал сегодня ночью в поезде.

Вернулись мужички, уже крепко подвыпившие, двое из них покачивались, подняли гроб на полотенца и, громко понукая друг друга, понесли его к выходу.

— Стойте, стойте! — закричали им наперебой старушки. — Куда же вы головой вперёд прёте, идолы!

После недолгих манёвров посреди тесной комнаты, мужикам удалось развернуть гроб, но, выходя из дома, один из них поскользнулся на льдистом пороге и упал на спину, глупо вытаращив глаза.

Тело матери качнулось, едва не вывалилось из гроба.

Лицо Сергея в этот момент исказилось ужасом. Он отчаянно вцепился ладонями в край гроба. Чувствуя руками свежеструганное дерево, он на миг испытал желание втащить гроб обратно — пусть мать ещё побудет дома…

Сестры охали, ругались на носильщиков, а те, в свою очередь, спорили, по какой дороге удобнее идти на кладбище. Старушки предлагали пройти по центральной улице, чтобы

все видели похороны, а мужики предлагали нести гроб ближним путём — наискосок через выгон.

Все ждали решения Сергея: пусть старший сын скажет.

— Какая разница? — удивлённо огляделся по сторонам Сергей. — Ведь матери всё равно уже нет на свете...

Сестры замолчали, но про себя обиделись на брата. «Всегда он был такой! Никогда ни с кем не любил попусту разговаривать. Ни с нами, ни с матерью. Всегда он что-то изучал, читал. Даже за едой читал! Насчёт домашней работы палец о палец не ударял. Эгоист!»

Подвыпившие мужики крякхтели под тяжестью гроба. Сколько они таких гробов перетаскали, неизвестно, сами уже седые, скоро их тоже, по очереди, отнесут на заросшее бурьяном кладбище.

— Сырые доски! — ворчали мужики. — Сама-то бабка лёгкая, маленькая. В ней и нести-то уж нечего.

Они говорили также вполголоса о том, что погода портится, опять сверху несёт крупой, дорога становится «склизкой».

Сергей молчал, старушки всю дорогу распевали «Вечную память». Он шёл с суровым лицом, возвышаясь над маленькой кучкой людей своей непокрытой лысеющей головой. Снежная крупа набивалась в его редкие смятые волосы, била его по лицу.

— Серёж, одень шапку! — несколько раз предлагали сёстры. — А то можешь голову застудить, а ведь она тебе для работы нужна...

Он ничего им не отвечал.

— Гордый какой! — удивлялись старушки. — Хочет из себя особенного человека показать. Авось што с ево взять — хвизик!

«Какая она худая стала! — думал он о матери. — Болезнь её совсем истончила».

С горькой усмешкой вспомнил о том, что иногда забывал посылать матери денег. Да и сама она писала в своих редких письмах:

«Зачем мине твои деньги, Серёжынька? Я в деревни живу, пенсию получаю, двенадцать курей держу, дочеря мои, твои сёстры, всегда рядышком...»

Вспомнил, как в раннем детстве ему, пятилетнему, мать сама перешила красное пальто, перелицевав его из большого женского в маленькое детское. К пальто был пришит овчинный воротник, и все люди говорили: «Какой аккуратненький мальчик, и с каким умным личиком!»

На кладбище, когда гроб уже забили гвоздями, и когда сёстры кричали в голос, обливая гробовую крышку слезами, сын молча стоял, казалось, ничего не видя вокруг себя.

Мужички начали бодро засыпать могилу землёй, смешанной со снегом.

Все молчали, сёстры вытирали мокрые лица и вполголоса беспокоились о том, что подгорели

блины, и холодец никак не хочет застывать, хотя его вынесли на улицу и поставили в снег.

Постепенно вырастала кучка земли, принимая форму могильного холмика. Мужички уморились, часто отдыхали, рассуждали о том, что в городах земля на кладбищах расходуется более экономно. Там, дескать, не разрешают рыть могилы на большую глубину. А вообще-то лучше всего, когда мертвеца сжигают. Тому, кто помер, уже всё равно, что с ним сделают, а живым больше места и меньше хлопот.

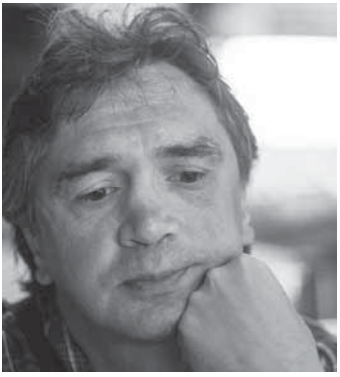
— Ну всё, Сергей, зарыли! Пусть ей земля пухом будет. Пойдём её поминать!..

— Вы идите, я потом. Побуду здесь.

— Пусть побудет... — перешёптывались старушки. — Может, у него душа отмякнет...

В тесном жарко натопленном домике всех ждал накрытый стол с обильной выпивкой и закуской.

А Сергей остался на кладбище совсем один и с какой-то глупой улыбкой на лице пытался вспомнить живую мать, смотрел вниз, словно хотел увидеть её через двухметровый слой глины. И вдруг звонко, по-мальчишечьи вскрикнув, упал на свежие глиняные комья могилы и начал говорить матери давние забытые слова.



Дмитрий АРТИС

«КОГДА НЕ СТАНЕТ СМЕРТИ...»

Дмитрий Юрьевич Артис (Краснов-Намарский) родился в 1973 году в г. Королёве Московской области. Окончил Российскую Академию театрального искусства и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических книг. Член Санкт-Петербургского Союза писателей. Живёт в Санкт-Петербурге.

* * *

Пока деревья были меньше,
чуть выразительней травы,
ладошки некогда умерших
моей касались головы.

Пока дома стояли вровень,
их тени так же вровень шли.
Кольцо больших и малых родин
сжималось в области души.

Пока созвездия сливались
в одну немыслимую нить,
я мог два слова боль и зависть
на десять букв разъединить.

* * *

Стоял у берега моря, и море
было совсем синим,
бежал по равнине, и равнина
была совсем узкой,
и видел горы, и в каждом камне
видел своего сына,
и видел дочь свою в каждом
пологом спуске.

Руки тянул вперёд, пальцы,
будто слепец, на ощупь,
пил воздух, был воздух полон
грозы, был полон,
открывал глаза, и день
представлялся ночью,
закрывал, и ночь была светлее
июньского полдня.

И поднимал голову, и голова
была выше солнца,
и смахивал пот со лба, пока
стоял, бежал, смотрел я,
и если был вокруг меня так
называемый социум,
то он был для меня не более чем
иная материя.

ПЕСОЧНИЦА

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.
Осип Мандельштам

Не тень цветущего каштана —
побеги от скрещённых спичек.
Вот этот низенький куличик
пусть будет холмик
Мандельштама.

Какая, в сущности, умора
произносить: никто не вечен.
Пиковой маковкой увенчан
свод жестяного мухомора.

Песок рассыпчатый, неловкий,
чуть намочить его из лейки.
На разноцветные скамейки
садятся божие коровки.

От песнопений карусели
до колокольного разлива.
И скорбь воистину красива,
чиста, как детское веселье.

* * *

Когда не станет смерти никакой —
ни медленной, ни скорой —
никакой,
щемящий неминуемый покой
миры наполнит жизнью
никакой —
ни медленной, ни скорой —
никакой.

И мы одни с тобой (рука в
руке)
пойдём к реке, и будем налегке,
и перейдём ту реку налегке —
рука в руке — моя в твоей руке
спульсирует, как рыба в
тростнике.

И снова станет жизнь такой,
какой
была до самой смерти никакой,
и снова станет смерть такой,
такой,
какой была до жизни никакой,
какой была и — никакой другой.

* * *

«Не убоится верности
предавший» —
ввернёшь и замолчишь на пару
дней,
обдумываешь реплику: чем
дальше
уходишь в речь, тем паузы
длинней.

«Не убоится пастыря
заблудший» —
и тишина, хоть колоколом бей,
величественна поза, лик: чем
глубже
суждения, тем выглядишь
глупей.

«Не убоится вечности
убивший» —
молчание, по-гамлетовски тих,
взволнован как ребёнок, но чем
ближе
тебе слова, тем непонятней стих.

* * *

Три года мне, и было мне
когда-то
всегда три года, словом, ерунда,
и падал снег, вставал и снова
падал,
и было так светло, как никогда.

И было так воистину спокойно,
и тихо так, что не хватало сна.
Я лез на стул, потом на
подоконник,
смотрел в окно и прыгал из окна,

и падал в снег, вставал и снова
падал,
и вырастал на четверть головы.
Оно мне надо было? Надо, надо,
увы.

* * *

Снова зима, и снег за окном
величиной с горошину,
и нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

Это всё сна небывалый путь,
коего так не хватало.
Холодно, некому подоткнуть
краешек одеяла.

Выйду во двор, пойду босиком,
как по траве некошеной,
и — нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

Если зима и если кругом
белого неба крошево,
то нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

* * *

Научись молиться моим богам:
для начала медленно, по слогам,
округляя рот, расправляя плечи,
постигая смыслы печатной речи.

Всё быстрее, мягче, в конце
концов
уберёшь в сторонку молитвослов
и, слегка сбиваясь, за фразой
фразу
повторишь на память. Конечно,
сразу

не сумеешь, но не гневи богов,
если спать пойдёшь, не увидишь
снов,
потрудись ещё, перечти и снова
отведи глаза от молитвослова.

За печатной речью не виден край,
научись молиться, потом — ругай,

разучи молитвы, потом — суди
до морщин, до судорог,
до седин,
до потери пульса, до кома
в горле,
остановки сердца, удушья,
астмы...

Верю: нету богов покорней,
знаю: боги мои всевластны.

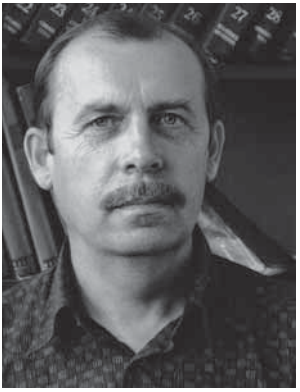
* * *

Это жизни моей торжество:
с теплотой неземною
вынимать из кровати того,
кто считается мною,
ставить на ноги или держать
на весу, не роняя,
выдавая пустую кровать
за преддверие рая.

Вот и доброе утро, страна,
слишком доброе утро.
Я почти отошёл ото сна,
улыбнулся как будто,

и, нащупав рукой пустоту
на соседней подушке,
потянулся, отмеря версту
от мысков до макушки.

По холодному полу туда,
где находится ванна,
и сказал, что уйду навсегда,
и ушёл, как ни странно…



Дмитрий ВОРОНИН

МИРОТВОРЕЦ

Рассказ

Дмитрий Павлович Воронин родился в Клайпеде Литовской ССР в 1961 году. Окончил Калининградский государственный университет. Работает учителем истории и географии в сельской школе. Публиковался в периодике России, Украины, Германии. Член Союза писателей России, Конгресса литераторов Украины, Межрегионального Союза писателей Украины. Автор трёх прозаических книг, лауреат международных конкурсов «Согласование времён» (Германия), «Славянские традиции» (Украина), «Национального конкурса «Золотое перо Руси – 2011» и др. Живёт в Калининградской области.

Утром колхозники по старой привычке собрались у конторы. Бабы визгливо бранились между собой, мужики, покуривая «Приму», пересмеивались, обсуждая государственные новости да вчерашние свои похождения.

— Костыль, а чё ты здесь делаешь? Ты ж вчерась уехать грозился.

— Куды это? — воровато улыбаясь, забегал глазками щуплый рыжий мужичок.

— Как — куды, сербам помогать, забыл, что ли? — притворно удивлялись мужики.

— Не помню такого.

— Не помнит он!.. Вчера вечером полдеревни взбаламутил, ходил, кричал, что, мол, поеду браткам православным подсоблю с Клинтоном разобраться.

— Не может быть, — скромно зарделся Костыль.

— Не может быть!.. — со смехом передразнили его. — А кто с себя одёжу срывал да в грудь

колотил, мол, всех к едрёной матери перестреляю, и Клинтона, и Коля, и Ельцина, а сербов в обиду не дам, — мы, что ли?

— Да брешете вы всё, — отмахнулся Костыль. — Я вчера рано домой пришёл.

— Шур, — окликнул Костылёву половину Васёк, — твой говорит, что намедни домой без проблем добрался.

— Убила бы гада ползучего! — раздалось в ответ из бабьей кучи. — Алкаш недоделанный. Явился в одних трусах, еле на ногах держится да и орёт: «Собирай меня, жена, в освободительную армию, повестку для меня из Кремля сегодня прислали, что направляют меня на защиту Югославии! Так что собирай меня в путь-дорогу, закуски в мешок сложи, сальца там, лучку, огурчиков, хлебца и рублей сто на поездку давай. Еду я, жена, на войну, может, и не вернусь уж обратно, знать, судьба моя такая». Вот ведь какой Илья Муромец выискался!

Вокруг все грохнули хохотом.

— Ну а дальше? — подзуживали Шуру.

— А что дальше? Самой интересно стало, что дальше будет. Стою, молчу, а этот освободитель чокнутый распинается передо мной в одних трусах. Я, мол, не могу простить такой наглости империлистам, отвечу на весь их наглёж со всей своей душевностью! Я им покажу русскую славу своих предков, напомню, как братья-славяне их колотили, всё НАТО вздрогнет... Чего зенки свои вылупил? Пусть все знают, какой ты дурак, — под оглушительный смех набросилась на Костыля супружница. — Козёл драный, вояка голозадая, пьянь придурочная!

— Замолчи, змеюка! — взвился Костыль. — Будет брехать-то, вот погоди уже, дома поговорим.

— Нет уж, пусть все слушают, — отвернулась от мужа озлившаяся бабёнка. — Ну вот, дальше — больше, расхрабрился совсем, кричит: баба, где моё оружие? Какое? — спрашиваю. Промычал что-то невнятное, — видно, соображал, а потом и заявляет: топор, мол, возьму — буду в горах партизанить, и нож — на разведку ходить. Партизан за... Спрашиваю, а как партизанить-то будешь? Отвечает: соберу по югославским деревням всех мужиков-колхозников и уйдём, как Ковпак, в горы — эшелоны натовские подрывать и на их гарнизоны нападать, а там и наш десант с Лебедем подоспеет. Разгромим врага — и на Вашингтон, за Родину. Ну а дальше что? — интересуюсь. А дальше, заливает, Клинтона трибуналом судить будем, НАТО разгоним и Аляску назад себе заберём.

— Что ты брешешь, что брешешь? У, тварь, из ума совсем выжила! — побелел от злости Костыль.

Народ, хватаясь за бока, животы и прочие части своих тел, приседал, подпрыгивал и покачивался от безудержного смеха.

— Костыль, помолчи! Шур, продолжай, не бойся!

— Ну вот, значит, как войну закончим, говорит, вернёмся с победой домой. Ты, значит, Шур, всех в деревне собери, столы накрой, самогону побольше навари, я речь толкать буду. Про что? — спрашиваю. Про войну и победу, про партизанов и трибунал, отвечает, про то, как дальше жить станем. Ну и как, спрашиваю, жить дальше после всего этого с тобой придётся?

Вокруг Шуры раздавались стоны и всхлипы, у баб кончились силы для смеха, мужики, окружавшие Костыля, икали и хрюкали. У многих из глаз катились слёзы.

— Шурка, Богом заклинаю!.. — приказывал опозоренный Костыль. — Что вы верите этой злобной дуре, не видите, что глумится она надо мной?! — заорал он на мужиков.

— Шурка, — давились слезами бабы, — про жизнь после победы расскажи, каково нам в ней будет!

— Ну вот, я, значит, мешок в дорогу ему готовлю, а он стоит посередь кухни в одних трусах, руками размахивает и будущее мне расписывает, как тот Кашпировский.

— Ой, Шурка, ой, невмоготу уже! — взмолились бабы. — Ой, Костыль — предсказатель!

— Руками, значит, размахивает, дурак рыжий, мы, говорит, и тут порядок наведём, когда возвернёмся. Сразу, мол, как прилетим, — десант на Кремль сбросим, всех заарестуем и разберёмся, кто там у них в предателях числится, кто нашу страну империлистам продавал. Всех, кричит, в лагеря, на Колыму, в пожизненное заключение на хлеб и воду, а потом новую жизнь зачнём строить.

— Заткнись, убью! — рванулся Костыль к супруге, но тут же был перехвачен мужиками. — Всё равно убью! — дёргался в их объятиях строитель новой жизни.

— Поди Клинтона убей, герой югославского народа! — огрызнулась Шурка. — Там тебя, поди, заждались, когда ты поезда под откос пускать начнёшь.

— …в горах! — грянули с новой силой мужики. — Давай, Шур, про счастливое будущее!

— Ну, я и говорю, запел, значит: Шур, колхозы восстановим, деньги вовремя платить начнём, всех чиновников в районе в дерьмочисты переведём, а нашу бухгалтерию — им в помощники. Зарплату положим для них рублей в десять, доллар отменим и всех спекулянтов землю пахать пошлём. А сами в ихние дворцы вселимся — и на Кипр, в море купаться, каждую неделю на выходные ездить будем.

— Ай да Костыль, ай да сукин сын! Небось, дворец-то Березовского себе присмотрел, не больше и не меньше, а?

— Да идите вы… — слабо отбивался незадачливый партизан. — Нашли кого слушать.

— Продолжай, Шурка, — задёргали бабы не на шутку разгорячившуюся жену героя.

— А чего продолжать, заканчивать пора! Я к этому времени мешок с продуктами ему собрала, протягиваю и говорю так жалостливо: «Вот, Ваня, харчи тебе на дорогу, паспорт там в тряпочку завёрнут. Всё, Ваня, иди отсюда и без победы не возвращайся. Я тебя ждать буду».

— Ну а он что? — застонали бабы.

— А что? — уставился на меня, как баран, да как заорёт: ты куда это, мол, меня гонишь? Я ему втолковываю: как — куда, в горы к сербам — эшелоны подрывать, сам же собирался. Да?.. — удивляется. Забыл, видать, начало разговора. Так, может, спрашивает, это до завтра отложить? Нет, отвечаю, раз собрался — иди. Да куда я на ночь глядя, кричит, и без одежды? Одежду, говорю, тебе в Югославии дадут, ты, мол, домой уже без одежды пришёл, а ночью, продолжаю, добираться сподручней — никто тебя не заметит, когда через границы переходить станешь, да и сам говоришь: партизанить собрался, а партизаны только по ночам и орудуют.

— Врёт! — забился в бессильной ярости Костыль.

— Не вру, вот те крест, — перекрестилась Шурка. — Заныл, значит, как я, мол, без денег, дай хоть сотню. Не, говорю, русские деньги тебе там ни к чему, а долларов у меня отродясь не бывало. Ступай, говорю, Ваня, время не терпит, а то как не успеешь к сроку в горы прийти, до рассвета не управишься, импирилисты перехватят, они ведь тоже не дураки, на разведку ходят, — закончила Шура.

— Не томи, рассказывай дальше, — загалдели вокруг.

— А всё.

— Как — всё?

— А так. Я ведь другой рукой уже скалку над головой занесла, он-то понял, что не шучу, и шмыгнул за двери. Я — дверь на крючок и спать. Вот сейчас только и встретились.

— Где ж ты, Костыль, был всю ночь? — повернулись к рыжему мужику сельчане. — К границе разведку делал, что ли?

— На сеновале спал, — уныло прохрипел Костыль. — Проснулся — ничего не помню, слез с сеновала, смотрю — одежда на заборе висит.

— Это я тебе вчера её туда повесил, — засмеялся Васёк, — когда ты её по дороге разбрасывал.

— Не помню я ничего, — стыдливо оправдывался Костыль.

— Цирк с тобой, да и только, — похлопывая Костыля по плечам, успокаивались мужики. — То ты армян рвёшься от землетрясения спасать, как напьёшься, то Белый дом защищать, то в Чечню воевать, а теперь вот в Югославию собрался. Клоун ты, Костыль.

— Так ведь душа у меня не на месте, — защищался сердобольный мужичок. — Как выпью, так всю эту несправедливость готов одним моментом изничтожить, а то ведь жить невозможно.

Андрей РАСТОРГУЕВ

РУССКОЕ ПОЛЕ 90-Х

*О романе П. Краснова «Заполье»**

Андрей Петрович Расторгуев родился в 1964 году в Магнитогорске. Окончил Уральский государственный университет и Российскую Академию государственной службы при Президенте России в Москве. Кандидат исторических наук. После окончания университета долго жил и работал на Севере, потом вернулся на Урал. Поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов, переводов и литературно-критических статей, многих публикаций в литературных журналах, участник ряда антологий. Лауреат Государственной премии Республики Коми, литературной премии им. Бажова и ряда других литературных наград. Живёт в Екатеринбурге.

В пограничном Оренбурге родился русский роман о национальном поражении.

Несмотря на небольшой тираж, роман оренбуржца Петра Краснова «Заполье» добыть легко — он есть в Интернете. А прочесть непросто, о чём в той же всемирной паутине поведали миру уже несколько человек. Думаю, однако, что они просто чересчур привыкли к современной укороченной прозе. А чтобы осилить «Заполье», дыхание требуется иное — долгое. Вроде того, что для «Войны и мира».

Белая с красным подбоем

Сопоставимы ли таланты — это, как говорится, на вкус и цвет. Здесь говорю только о местами

* Краснов П.Н. Заполье: роман / Пётр Краснов. — Оренбург: Печатный дом «Димур», 2015. — 564 с.

весьма протяжённых фразах, длина которых подчас достигает толстовских периодов. Впрочем, интересы у Льва и Петра тоже сходятся: обоих интересуют Россия и её народ. Однако время, за которое взялся Толстой, как известно, окончилось национальной победой. А 1990-е годы, о которых пишет Краснов, — совсем иначе.

Мне, чтобы прочесть и подумать, тоже немало времени понадобилось. Первый раз сделал это ещё в 2015-м, когда роман вышел и получил Южно-Уральскую литературную премию. Позднее перечитал уже не как член жюри, а на спокойную голову. И написалось тоже не сразу… Впрочем, у автора тоже — над романом он, по его словам, работал полтора десятка лет, да и с его завершением темы отнюдь не исчерпал.

Итак, любителям экшена «Заполье» глянется вряд ли. Фабула тоже отнюдь не затейлива. В 90-е годы известному в неназванной области журналисту Ивану Базанову предлагают возглавить и «раскрутить» новую газету — интеллигентную, но «в меру, без слюнявости», патриотическую, но без «обкомовской брутальности».

Времени с перестройки прошло немного, идеи ещё владеют массами и сталкивают их. Одна из этих идей — «белая с красным подбоем» мысль о воссоздании и развитии державы, в которой разные сословия согласуют взаимные интересы и обязательства — и ложится в основу редакционной политики.

Формально независимая газета быстро становится популярной, в том числе среди думающих читателей. И начинает настолько мешать власть предержащим, что губернатору даже предлагают закрыть её «за разжигание социальной розни». Так что весомая и прочная «крыша», как финансовая, так и политическая, требуется как никогда.

Да вот незадача — у членов правления концерна, который стоит за газетой, расходятся интересы. Одни, в том числе его председатель Леонид Воротынцев, выступают за развитие производства. Другие — за то, чтобы переключиться на спекуляцию, приносящую гораздо больше денег. И когда в голосовании побеждают первые, вторые убивают Воротынцева.

Следствие, впрочем, спускают на тормозах, так что исполнители и заказчики остаются неизвестными. Но факт остаётся фактом: вместе с раскладом голосов меняется и стратегия концерна. А Базанова и ведущих журналистов, которые способствовали победе первых, вынуждают уйти из редакции.

В общем, несмотря на детективный элемент, фабулой своей роман едва ли не напрашивается на звание производственно-политического. Если бы не те самые размышления и споры героев, а также его завершение.

Карлик без возраста

Даже сегодня, когда прежние части большой страны, иные безумно и кроваво, пытаются оторваться от неё, а люди разбрелись по соцсетям, споры в Интернете идут немалые. В конце же 80-х и в 90-е, напомню, всё это плескалось в реале и в традиционных СМИ. Так что наполнение значительной части романа моно- и диалогами, на мой взгляд, вполне адекватно возвращает в атмосферу тех лет, когда люди пытались понять, что происходит, и сложить новую картину мира из обломков прежней.

Сделать это пытается и Базанов, главным партнёром и оппонентом которого становится некий Владимир Мизгирь. Знакомятся они ещё в 92-м, «больше беспечном, чем растерянном году», когда приватизация и номенклатурная революция ещё предстояли, но уже на всём были навешаны ценники, пусть и невидимые на фоне рыночно-романтических туманных посулов.

Несколько неприятному ощущению от паучьей фамилии соответствует и внешность: «рахитичное, если не вырожденческое… выглядело странным в давно взрослом, за сорок лет человеке… что-то всё мнилось в нём от карлика без возраста». Потом, однако, первое впечатление почти сошло на нет: «…человек как человек, и уж куда поумней, дерзостней по мысли и проницательней этого подавляющего… и дичающего на глазах большинства человеческого…»

Так что Базанову в первые встречи Мизгирь скорее понравился или как минимум заинтересовал его — в том числе циничной, но подкупающей откровенностью, а также весьма аскетичным бытованием. И стремление противостоять ненавидящему и пренебрегающему миру выглядело как самость, а не гордыня. Хотя и виделось: «Чему-то другому предназначил себя хозяин этого тщедушного тела и большой головы, подчинил тому иному все страсти свои, по-видимому, немалые, никак не дюжинный, диалектически подвижный ум…»

Где страсти — там и романтика, причём весьма серьёзная, угрюмая и едва ли не юношеская. Явно ощущая «упоение в бою, и бездны мрачной на краю», Мизгирь ссылается на молодёжь. И вспоминает при этом Дмитрия Богрова и Гаврилу Принципа, чьи выстрелы сразили не только Петра Столыпина и австро-венгерского эрцгерцога, но и весь прежний мир: «…детишки… беспощадны, как никто… Плевать им на отмирающее, прошлое, им нынешним жить надо… плевать на материнское, родовое, это для них не почва даже — грунт! Вот ведь романтизма основа…»

Он и сам при знакомстве говорит о своём происхождении — мол, из галицийских русинов. Но, по его мнению, «род есть, пока ты сам есть… А сдохнешь

в бореньях с собой и средой — и рода для тебя не станет…»

Встречных убийственных аргументов Базанов не находит, тем более трудно возражать, когда тебя называют первым журналистским пером области и предлагают написать книгу. Он лишь ощущает: «…чисто личностного тут и не может быть ответа… только с родовым вместе, продлённым в роде твоём и дальше тебя…» И, даже почти согласившись с Мизгирём, с пренебрежительной трактовкой родового не примиряется.

Победитель получает всё

Навязанную обстоятельствами «жестокую необходимость» остаться собой Мизгирь связывает не с прочным фундаментом, а с движением: «…это не статика вовсе, это динамика личности, развитие…» И, нацеливаясь на решительную, как гражданская война, борьбу с собою и средой, видит, что победитель этой войны получает всё.

В 93-м во время очередного «типичного переворота» он вроде бы оказался на проигравшей стороне: «…нас грубо и умело побили…» Но кто не учился на ошибках? Так что потом и в действиях Мизгирь проявляет «по-животному чуткую,.. мгновенную на отзыв интуицию,.. умение с тою ж быстротой просчитывать ситуацию и чаще всего безошибочно выбирать нужный вариант…»

Постепенно это приводит его к успеху. Новый дорогой чёрный костюм на нём сидит так же плохо, однако: «…комического в этой вдвойне теперь, казалось бы, нелепой фигуре не виделось уже, не усматривалось, настолько подпёрто все было внутренней личной серьёзностью…»

Теперь он рассуждает о наркапе — народном капитализме: «…это проверенное, твёрдо во многих хороших домах Европы поставленное дело, это их жизнь сама… Социализм… как раз в механике-то этой и недобрал малость… идеи мешают…»

Именно Мизгирь и предлагает Базанову создать новую газету, обещая независимость не только формальную, но и реальную — «без всякого идеологического патронажа». Хотя некоторые оговорки по поводу формы руководства при этом звучат, и желание влиять, причём отнюдь не по мелочам, просматривается. Он же и приводит Базанова к Воротынцеву как человеку «приятственному, с кругозором», который «мыслит без цитат и со свободой, не всем доступной», но советуя ухо держать с ним, в любом случае, востро.

Воротынцев и вправду мыслит масштабно: «…народная самодеятельность во всех областях, да, инициатива, законность со справедливостью в ладах, сотрудничество межсословное. И, наконец, чувство хозяина в народе — как решимость строить жизнь на общественных

началах, на естественном праве всякого суверена…»

Желая, по его словам, «дома жить и нигде более», он считает необходимым противостоять происходящему. Поскольку «феодализм мафиозного толка, да ещё без аристократии — это даже не тупик, это хуже… С быдлом рабочим, по терминологии некоторых, никто ничем делиться не собирается, и это уже явным стало, мало того — политически, законодательно обеспеченным… Сословное сотрудничество в колыбели душат…»

А что же Базанов? Для него беседы с Мизгирём относились к числу разговоров, «чаще всего довольно беспорядочных… и ничем не кончающихся, по видимости откровенных, а то исповедальных почти по части мировоззренческих блужданий, блуда тоже, где парадоксы с прописями вперемешку, долгоживущие наши и оттого упрямые предрассудки с провинциального пошиба озареньями…» Так, как это «бывает в сужденьях малость уже помятых несообразностями жизни интеллигентов в первом поколении, в глубинке живущих, где-то у европейско-азиатского водораздела, почти дорослих, как кажется, до своего потолка и уже о том начинавших догадываться…»

Короче, свойственный тем временам и людям трёп, причём обессиливающий. И тут внезапно один из этих разговоров кончается «весьма дельно» — тем самым предложением делать газету.

Этика переходного периода

Таких предложений у Базанова поначалу было немало, но речь шла большей частью про «газетки демократически мутного розлива, мелкими скандалами и перевранной светской хроникой живущие, кормушки… растратчиков демократии». Он же проявил себя как «ломака идейная». Но к коммунистам тоже не пошёл: «…марксизмом не вышел, а более того интернационализмом обрыдлым… тотально равноправным, но всё за твой же опять, угадывалось, русский счёт…»

А теперь вроде бы ожидать было уже нечего — и вдруг алтын да карт-бланш «идею эту белую с красной на личике сыпью аллергической проводить-выстраивать». Принял, правда, настороженно, даже ощутив «тёплый интерес Воротынцева»: «…неужели свобода, неужто хозяином быть себе?»

К тому же Мизгирь «усмехался вроде уголком чувственно-тяжёлых губ» и слушал того «будто в первый раз, упорно глядя, будто запоминая». И вставил реплику, что в такое время нужны в первую очередь не профессионалы, а верные «с животной в этой неразберихе реакцией моментальной… с этикой переходного периода, если угодно… энергетикой брать, напором…»

Так что, хотя Воротынцев «чем-то всё-таки ближе оказался ему», после первой встречи Базанов решает ему верить

«с известными себе оговорками». А в то, «какой такой идейной масти кошка меж ними пробежала» с Мизгирём, не влезать: «Пусть разбираются сами; а он… будет делать единственное, что он умеет, — свою газету…»

Да и потом ещё долго не понимал, «что искал в них или через них этот… пахан одной из спекулятивных группировок первоначального накопления…» Однако, не веря таким вполне, герой Краснова и сам ищет способы противостоять многослойному злу «средь всего этого оголтелого рвачества, звериной делёжки власти и собственности, бесхозными объявленных на время «большого хапка». И принимает предложение о союзничестве.

Дистанцию и нейтралитет, однако, удержать не удаётся — слишком явным становится противостояние. Что в обществе, о чём однажды говорит Воротынцев: «…Всё протухло, воняет, и как скоро! Демократия наспех в плутократию конвертировалась, золото власти — во власть золота… старо как мир. Ввели народ в помешательство — и сами обезумели…» Что в самом концерне.

В ситуации раскола заманчивые предложения Базанову делают обе стороны. Воротынцев, проникшийся к нему доверием, приглашает «его, незнайку, человека заведомо неделового, да и нищего», войти «в синклит владельцев». Мизгирь через если не подложенную, то подставленную ему любовницу Алевтину — достаток и политическую карьеру: «…издательский центр — ваш, собственный, депутатство, известность, да что хотите…»

И он ставит на проигравшего. Дело здесь не в идейности даже, хотя выбор между поддержкой реального промышленного и сельского производства и быстрым обогащением, который приходится делать концерну, безусловно, связан не только с деньгами. В последнее время журналистская профессия и мораль как-то совсем разошлись в общественном представлении. Но в ту пору и в той ситуации для Базанова выбор оказывается, скорее, нравственным.

Когда играют втёмную, когда манипулируют людьми, явно считая их расходным материалом, — значит, и цели отнюдь не светлые. А, кроме того, чисто по-человечески ему ближе именно эта сторона.

Сначала, впрочем, Воротынцев и его союзники, в том числе и примкнувший к ним Базанов, побеждают. Но вскоре оказывается, что пуля заказного убийцы перевешивает все пакеты акций, которые учитываются при голосовании.

Ничего личного

Определённый выбор, судя по всему, в этой ситуации делает и Мизгирь — однако без особых внутренних метаний. Для него это — результат обычного

расчёта. Погибнуть за идею? Таких всегда немного, их выбивают в зародыше, тем более «гении игры», что применили к России основанное на чёрных технологиях системное оружие. Русский народ? Он «раздавлен, потерян для себя и других, полубеспамятен», неспособен отличить друзей от врагов и всё сдал с потрохами за колбасу и ношеное барахло из гуманитарной помощи.

«Молчит богоносец, кряхтит только». А потому «переходная бодяга эта на десятилетье-другое, может, растянется». Победит же, в конце концов, то, «что будет по-настоящему делаться, расти и развиваться».

Правда — таково уж человечество, плоды этого развития, очевидно, должны доставаться немногим. «Истинно думающих, предвидящих — единицы. Человек же массовый — это обезьяна прогресса», он, по словам Мизгиря, «без всякой жалости… опущен в природу: и в свою телесную, животную… — и во внешнюю, злом до краёв таки полную, где походя смерть царит…»

Любовью «всё это безобразие» не перемочь, ибо вырождается. И во всяком добре имеется доля малозаметного неискоренимого зла. Но строить можно и на таком человеческом материале — «знаете ли, на всяком строили».

Если «ад — он здесь и сейчас, в каждой душонке», то дальше, разумеется, прилетает Всевышнему: «…Бог этот, демиург? Так сей шалман вонючий, творенье бездарное и злобное — не клевета на него даже, а обвиненье тягчайшее всему, проклятья наши…»

Ну, и последний шаг — сочувствие дьяволу: «…А Денницу — отчего б и не понять? …бунт обретает смысл — как апелляция хотя бы…»

Впоследствии подтверждается, что никакой особой эволюции у Мизгиря за этим нет. Как узнаёт Базанов, и этническая принадлежность его иная, и от органов, которые «не женские», недалёк, и в том же Белом доме в 93-м неясно, чем занимался — не зря уклонился от участия в круглом столе, который на годовщину тех событий был редакцией проведён. И что кличка у него уже в школе была «крошка Цахес» — продвинутая, видно, школа была, если Гофмана в ней читали.

Полагаю, однако, что большинство этих подробностей разве что напоминают читателю о различных схемах из конспирологии, которыми и сегодня те или иные люди объясняют события 90-х и всё, что за ними последовало. Фигура же Мизгиря и без этих дополнений выглядит вполне инфернальной — подобной, учитывая словарное значение его фамилии, толкиеновской паучихе Шелоб.

А что же, повторим, Базанов? Нежный и сладкоголосый Лель, если вспомнить «Снегурочку», где одного из персонажей тоже зовут Мизгирём? У Островского, впрочем, такого зловещего смысла это имя не имеет…

Цена искушения

Одному из искушений — уже упомянутой Алевтине — красновский герой поддался: «...В паутину попал, надо признать — уловисто устроенную, сотканную...» Но в том числе потому, что его семейная жизнь к тому времени уже подошла к разводу: «...уже не раз и всерьёз каялся, что взял эту фифу городскую, по убогим образованческим калькам выделанную». И, хотя эта связь на стороне вроде бы оказывается для жены последней каплей, похоже, она нашла бы и другой повод отказать ему в свиданиях с недавно рождённой дочерью.

Вроде бы и другим соблазнам Мизгиря адекватного противостояния не просматривается — во всяком случае, словесного. Но что можно было сказать тогда, к примеру, в защиту русского человека, который сам «обрушивался... в животное своё или в рефлексию ту же русскую бездонную... и вправду не ограниченную ни волею, кажется, ни смыслом, разве что... догадкой, что он, человек русский, пуст, выхолощен кем-то или чем-то уже давно...»? Как просветить люмпен-интеллигента — полуокультуренного горожанина, материальная основа существования которого донельзя изъедена «ржою обывания»?

Если пошарить по тогдашним литературным журналам, то, может быть, в них чего духоподъёмное и обнаружится. Но у Базанова вот не нашлось — ни для себя, ни для окружающих, поскольку его газета, судя по всему, тоже усердствовала в критике происходящего.

Эпизод же, связанный с его собственным заходом в редакцию одного из знаменитых, «с давно и старательно наведённым демократическим лоском и лицом всегда чем-то оскорблённого интеллигента» московских журналов, где на его глазах беседуют либеральный завотделом и прозаик-патриот, и вовсе отдаёт сатирой. Тем более на фоне грязного двора, в который открывается дверь «под известной всему свету вывеской... красой и гордостью интеллигентской...»

Москва 90-х у Базанова, как и у многих иных, кто в ней тогда бывал и живал, тоже оптимизма не вызывает. Ни вблизи, ни издалека — что рассказами о кремлёвском окружении Ельцина и Семье, что угрозой скупки столичными мародёрами всего и вся в провинции за счёт избыточных «башлей».

А духоподъёмное опять же требуется — теперь уже самому Базанову. Ибо приводит его в Москву болезнь, что внезапно проявилась незадолго до краха, которым по сути и ощущению стал конец его газеты — в том её виде, который формировал он.

Ранее — стало быть, не поэтому. И курить он сразу же, как установили диагноз, бросил. И лечили его в областной онкологии отнюдь не хуже, чем в столице.

Вообще не о болезни и лечении речь — или не только о них.

«Выкарабкивались в ходе обычной терапии совершенно безнадёжные… — говорит ему московский профессор. — Бывают вообще поразительные случаи — самовыздоровленья… Мы имеем дело с необъяснимым, и не с болезнью… а с мобилизационными возможностями человека…»

Этих возможностей и сил у него, похоже, и не осталось. Или того, ради чего стоило бы их найти. Ни работы, в которую стоило бы вложить душу. Ни ребёнка, с которым его разлучили. Ни старая мать в родном Заполье, ни наконец-то появившаяся по-настоящему любимая и подходящая ему женщина удержать уже не могут.

Поле покоя

Признавая, что «вся-то история человеков… либо фарс всякого рода и вида, либо жестокость запредельная…», Базанов однажды соглашается: «…без бога, как олицетворения высшей воли, человеческое — лишь гнусная пародия не только там на смысл существования разума, но и на разум сам… Без высшего всё это не имеет ни смысла, ни цели, вся дурная бесконечность недалёкого человеческого произвола, себе довлеющего, себя не разумеющего…»

Финал после этого вроде бы вполне предсказуем: фраза про дорогу к храму памятна ещё с тех же перестроечных времён. Вот и сосед Базанова по палате областного онкодиспансера конструктор-оборонщик Никита Леденёв по этой дороге прошёл довольно далеко. И всё-таки, отвечая на его сомнения — мол, «кем же ещё обитель эта земная измышлена и сотворена, как не врагом рода человеческого», посетовал: «Всё глубже, Иван… Нам не донырнуть, духа не хватает. Духа. А душою такое не возьмёшь…»

Так что даже в последние часы жизни рядом с любовью в Базанове сохраняется пусть и незлобная, но ненависть — «ко всему, что мучает, измывается, изводит не только его, но и живое всё, страдающее неимоверно в безжалостном, иного, кроме мучительной смерти, исхода не имеющем существовании». И всё же уходит он, ощущая незыблемый покой, который «никак не обнаруживается в беспощадном мире», но, оказывается, «везде растворён, всё пронизывает смыслом своим…»

Покой этот дарует ему житное поле. Вначале оно предстаёт перед ним на картине местного художника — «немаленькое, все другие картины как бы в тень своим светом отодвигающее, отстраняющее полотно: поле, начавшее колоситься уже, подымающееся к близкому горизонту под пустоватым, но и будто ожиданием каким полным, даже напряжённым небом…»

Алевтине, которая выкупила для него эту картину и держала её

дома, с ней было неуютно — как будто прореха на стене. А Базанова оно звало уже тогда: «Поле подымалось, уходило к горизонту, и воздух над ним, подразмытый первым летним маревом, словно позолочен пыльцою цветения был — ступи и иди средь лёгких ещё, колени царапающих колосьев, всё дальше уходи и дальше…»

Поэтичная картина бесконечного ржаного поля, пробуждающего мысли о земле и жизни на ней, обозначает и перевал романа. Эта земля сохраняет всё — кроме человека, «воплощённого слова жизни… слово через и сквозь него лишь пересылая будущему». Сам человек на это и жалуется. И лишь те, «кто верил в видимую или истинную простоту мира, могли и умели иногда обрести в нём покой и уважение к своему существованию». Для этого, однако, надо было почувствовать себя частью всего, его «вечной, недодуманной всегда, незавершённой мысли».

На краю этого поля, желая только пройти его, ощущая в этой главный смысл — «идти дальше, к ждущему его отцовскому» — и наконец-то одухотворяясь, Базанов оказывается и в последние свои минуты. Но ещё ненадолго возвращается и только потом «беспрепятственно уже идёт в хлебном, житном к осуществлению чаемому, зовом его живёт, время тут теперь не властно, и все сроки близки». Тоже в Заполье, но уже нездешнее.

К чему ближе такая натурфилософия — православию, язычеству или ещё чему, надо спрашивать священника или богослова. Так или иначе, а для героя, что начал жить в атеистические времена и уходит в смутные, агронома, который было оторвался от земли и теперь возвращается в неё, такой финал представляется более правдивым.

Что же до мобилизационных возможностей и сил душевных… Ржаное августовское поле, конечно, делает завершение романа отнюдь не мрачным. Точно так же сохраняют надежду, скажем (не сочтите за излишний пафос), «Сказание о погибели Русской земли» и легенда о Евпатии Коловрате. И всё-таки найди главный герой в себе эти силы, ощущения от финала были бы куда более оптимистичными.

Однако такой финал, похоже, разошёлся бы с правдой времени, о котором рассказывает «Заполье». Да и с задачей, которую, судя по всему, поставил перед собой Пётр Краснов, взяв эпиграфом слова известного критика Вадима Кожинова из его письма поэту Виктору Лапшину: «Не рассчитывать на победу — высшая победа. Пораздумай…»

А роман о новом торжестве России и русских людей, в том числе над самими собой, напишет уже другой автор.

Валерий КУЗНЕЦОВ

ПИСАТЕЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

К 80-летию со дня рождения писателя-оренбуржца Георгия Саталкина

Георгия Саталкина жизнь помотала, считай, с младых ногтей. Родился в 1938 году в Белоруссии, в селе Малая Горка. В воздухе уже пахло большой войной, и если бы не драматичный случай, кто знает, читали бы мы сейчас прозу Саталкина. Работавший на конном заводе отец Георгия после падения с лошади получил туберкулёз позвоночника и возвратился в Чкалов, как тогда называли Оренбург, на землю отцов. В Оренбурге, в Нижней Павловке жили несколько поколений его предков — оренбургских казаков, а одному из них даже довелось в казачьем конвое в Зимнем охранять Николая II...

После Великой Отечественной войны отца направили на Кировоградский конный завод, там Георгий пошёл в третий класс, а аттестат зрелости через семь лет получил на двух языках: украинском и русском. Позже это позволило ему щедро озвучивать образы украинских персонажей колоритной мовой.

Школа кончилась и продолжились странствия и поиски себя: валил лес в Республике Тува, ходил матросом на Каспии, служил в армии. Потом переехал к родственникам в Оренбург: работал на областном радио, в многотиражных газетах, учился в двух институтах: сельскохозяйственном и педагогическом. Писательством серьёзно занялся, работая в районной газете с традиционным названием «Путь к коммунизму». На Всесоюзном совещании молодых писателей Урала и Западной Сибири в оренбургском селе Нежинка (руководили семинаром С. Залыгин, Н. Есин, П. Краснов, А. Афанасьев) за книгу «Скачки в праздничный день» был принят в Союз писателей СССР и в перестроечную смуту руководил Оренбургской писательской организацией. Это в его руководство писатели переехали из двух мизерных комнаток Дома печати в бывший купеческий двухэтажный особнячок с уютным конференц-залом и садом при нём. Отдал писатель и долг предкам, став инициатором создания общины «Оренбургское казачье войско».

Нельзя сказать, что Георгий Саталкин не публиковался и не был замечен критикой, были публикации в центральной периодике, в журналах «Москва» и «Октябрь», но ни книжными изданиями, ни критикой писатель не был избалован и по стоической привычке писал «в стол». «В стол», по сути, была написана и «полуподпольно», по недосмотру главного редактора, опубликована в газете «Южный Урал» моя статья «Половодье жизни» к тогдашнему 60-летнему юбилею писателя, которую предлагаю вниманию читателей.

Половодье жизни

Недавно неведомо для местной читающей публики тихо прошло шестидесятилетие нашего земляка, укоренённого в крае многими поколениями казачьих предков, — писателя Георгия Саталкина. К юбилеям принято подвёрстывать итоги. В случае с писателем ему обычно подыскивают место в творческой иерархии, взвешивают «вклад в литературу» и тому подобное. Поскольку читающее (не хотелось бы разочаровываться в этом) окружение отделалось на этот раз самым страшным ответом для работающего художника — молчанием, решаюсь на, мягко говоря, несколько запоздалые заметки о творчестве одного из лучших, на наш взгляд, прозаиков России.

Плох был бы художник, если бы в книге[1], вышедшей в России накануне «последнего дня Помпеи», не дал бы объективной картины общественных «подземных толчков». На этих страницах не только художественно высказанные диагнозы недугов народной жизни, — проза эта пульсирует болью времени. Но пульс этот уже некому было слушать — всё погреблось под обломками рухнувшей страны.

Для творчества Георгия Саталкина, как, впрочем, и всех остальных, началось время испытаний исповедуемых ценностей. Теперь, по прошествии смутного семилетия, можно уверенно утверждать, что такое испытание его художественное слово выдержало. Было бы естественным попытаться «востребовать» его, посмотреть новыми глазами на глубинные характеры, проживающие в хорошо знакомых нам «родных углах» свои неповторимые жизни. Ещё раз почувствовать всю роскошь забываемого нами родного языка, богатством метафор заставляющего видеть за рассказом — повесть, за повестью — роман. Поистине, чем

[1] Родной угол. Челябинск, 1989

продолжительней молчание, тем удивительнее речь...

Попробуем пройти по этому психологически напряжённому полю действия его характеров, художественных причин и целей.

Георгий Саталкин — традиционный художник, если в традиции видеть тяготение к народным идеалам. Отсюда творчески воспринятые уроки русской классики: Пушкина, Гоголя, Достоевского — внимание, сострадание «маленькому человеку».

Нелеп газетчик Гриша Сумкин из рассказа «Из жизни районного оптимиста» — это «пустое место» с его попытками из своего ничто сделать нечто,

Георгий Саталкин, начинающий писатель. 1960-е годы

но тайными пружинами действия художник заставляет не только и не столько смеяться (хотя комическое чувствует непревзойдённо), сколько сопереживать ему.

Подобно коринскому замыслу «Уходящая Русь», писатель, следуя своему принципу контрастов высокого и низкого, создаёт свою галерею национальных типов конца века, совпавшего с концом Системы. Но как бы ни был далёк от идеала созданный им образ, художник не забывает, что он пришёл не судить, а понять и воплотить этот мир.

Кажется: в его прозе сама действительность страдает от несовершенства бытия. Мотается по России лишний человек на земле Михаил Сиволапов, ищет, как в поговорке, маленького дела или большого безделья. Насильно пытается осчастливить человечество в лице вчерашнего заключённого Леньки Лапшина управляющий совхозным отделением Серый. Это он родил афоризм, понятный пожившим на Руси: «Приказ такой есть, чтоб понравилось!» Не изменяет себе, родным далям и родительскому погосту старый колхозник Тимофей Бородин из оставленной блудными сынами деревушки Северный свет. «Обмирает от скудной какой-то жалости к родному своему углу, столько горя доставившему ей»,

доярка Наташка — героиня одного из пронзительных рассказов — «Родной угол». Образ этот подтверждает одинокое на земле свойство русского народа, теперь уже угрожающее самому его существованию: чуткое восприятие других душевных состояний. Будто подслушала Наташка мысли о себе западного исследователя: «Русский переживает мир, исходя не из «я» и не из «ты», а из «мы». Вряд ли поймёт Наташкину молитву современное прямоходящее с компьютером вместо души: «Как всех ей жаль в эту минуту, как всех готова она принять в душу свою, отдать себя, ненужную, всем. Господи, бери её за так, задаром, ей ничего не надо, лишь бы сойтись с людьми, перебраться к ним через давнюю пропасть!» Так психологически ясен и точен, так исповедально открыт миру её образ, что остаётся согласиться уже с отечественными мыслителями: русская душа живёт на земле только половиной своей, другой же — там, на недоступных высотах духа...

Озноб одиночества и бездомовья бьёт всё существо Саньки Лошакова из рассказа «Побывка». Озноб этот преследует его везде, куда бы он по-детски ни тыкался: в построенном на семи ветрах училище, где он ведёт безуспешную борьбу за существование; дома, куда сбегает, как в спасение, но и там мыкает горе его мать-одиночка Мария Лошакова. Она совсем ещё девчонкой — не то с шестого, не то с седьмого класса впряглась на ферме в работу, размеры которой превышали её силёнки». Ей и жизнь сама оказалась «не по размеру», как её слишком большая одежда — мужские сапоги, телогрейка, валенки, в которых она утопает, проваливается... Нужна бесстрашная художественная и гражданская сила, чтобы на пространстве двадцати страниц создать ощутимо-предметный образ угла планеты под названием «российская действительность», мало оборудованного не только для веселья, как сказал советский классик, но и для самого существования. «Господи, как трудна жизнь!» — сколько отверженных на Руси, добывающих ей хлеб насущный, могли бы повторить один из главных рефренов этой книги... Тяготение к народной правде жизни — в этом видишь главную причину и цель возникновения слова Георгия Саталкина.

Особого разговора требует повесть «Скачки в праздничный день». Начало её можно отнести к сквозному образу для всего творчества писателя: «После долгой зимы в бильярдной комнате отворили окно. Запах овражной земли, молодых трав, древесных

светлых соков хлынул в сонный настой мела, пыли и табачного перегара». Напряжён её сюжет, основу которого составляют три главные фигуры: директор конезавода Павел Степанович Козелков, недавно уволенный в запас капитан (действие происходит в конце сороковых годов прошлого века), которому всё ещё казалось, что он по-прежнему держится прямо, строго, с уставной молодцеватостью; тренер скакового отделения Кулиш, «напоминавший яйцо», — фигура, как видим, не без гротескового усиления; и пастух Иван Агеев — причина раздражения Кулиша: «Зачем ему такой лоб? Ему всё равно думать не над чем, из навоза ноздри не выставляет, всю жизнь лошадям хвосты крутит. А глаза какие — страх даже берёт: серьёзно всегда смотрит и умно. В иную минуту усомнишься даже: да Агеев ли это?»

Обманчивы смирение, исполнительность Агеева. «Он не считал, что, работая, он выполняет чью-то волю. Он знал, что предназначение его на земле — работа, и с глубокой верой в справедливость и благо такого предназначенья брался за любое дело — кто тут мог повелевать и принуждать?»

Мается тайной характера мужа «широкая душа» Фроська: «По своим твёрдым, молчаливым правилам живёт этот человек. Тысячу раз она убеждалась в этом, тысячу раз изумлялась и гневалась: да что ж это за правила такие? Почему от них одни убытки, неприятности, лишения? И почему он с такой неподкупностью держится за них, не боясь ни осуждений, ни злых шуток, ни глухой, необъяснимой вражды?»

Фроська — другая очевидная удача повести. Сцену встречи с ней Агеева, вернувшегося из степи, можно отнести к лучшим страницам русской литературы. Чудом искусства в них, верится, надолго поселён противоречивый мир живых людей, переданный с той непосредственностью, которая под силу только народному таланту. Трудно отказать себе и читателям в щедром цитировании этой сцены: «Как только Иван Иванович свалил у порога сбрую, Фроська, проснувшись, вскинулась, замерла, ещё ничего не понимая, с открытыми бессмысленно глазами и ртом. В ошеломлении этом она пролежала всего две-три секунды, потом тихонько застонала, спросив слабеньким, едва живым голосом:

— Хто там?.. Это ты, Ваня?

— Болеешь? — спросил Иван Иванович сипловато и кашлянул.

— Ох, боже мой! Думала — помру. Лежу одна, и воды некому

Молодая семья Саталкиных

подать, бедолаге. Так чогось в грудях схватило и держит, и держит. Ну, дыхнуть просто невозможно, — говорила она, глядя в стену перед собой.

Повернувшись крепким, сбитым телом с бока на спину, Фроська вдруг сладко зевнула, точно не жаловалась только что мужу на хворобу свою, с наслаждением стала тереть кулаками глаза и длинно, опять сладко-сладко, даже квакнуло что-то в глубине её горла, зевнула ещё раз.

Подойдя к лавке, Иван Иванович заглянул в вёдра, донца которых были совершенно сухими.

— А воды-то и нет, — опять кашлянув, проговорил он, ни к кому, собственно, и не обращаясь, разве что к вёдрам самим, и как бы им адресуя упрёк.

— Чи ты оглох? Кажу — захворила! Бачишь от — лежу! — сердито отозвалась Фроська.

Улыбка тронула сухие губы Ивана Ивановича: ни врать толком, ни притворяться долго его жена не умела и от этого всегда, неизвестно только на кого, сердилась. Ну что ж, болеешь — так болей себе на здоровье... Он взял вёдра и, нагнувшись, отворил дверь, и дверь длинно и разочарованно заскрипела: за водой, мол? Ну — и чмокнула в досаде, закрываясь за ним».

Неизъяснимое очарование излучает Фроська, это нецивилизованное дитя природы, — тёплую женственность, бескрайность, до самоотречения, души, и — удивительнее всего — при всём легкомыслии, способность к цельному чувству. Вот до неё доходит, что Козелков и Кулиш ради местных выгод «поставили» не только на негодных для скачки Зигзага и Беса, но и на её мужа, рассчитывая на его нерассуждающую исполнительность: «И как же я, Иван? — спросила она. — Они же и коня, и тебя скачкой этой погубят — как же я без тебя тогда? — заламывая ёлочкой брови, распяливая

В минуты отдыха

губы, она вдруг молча заплакала, и крупные слёзы потекли по её щекам. — Голубчик, не скачи, ты ж у меня один на всём белом свете. Я ж без тебя пропаду!..» Соединяя в сюжетной и диалогической зависимости «святую душу» Агеева и греховную Фроську, Агеева и нетопыря Кулиша, писатель разностью их нравственных зарядов создаёт то высокое напряжение жизни, без которого нет подлинного искусства.

«Если я художник, — считает Саталкин, — то самое презренное действующее лицо выше меня, потому что идёт от жизни». Оттого так и сострадаешь этим никому не нужным судьбам, оттого так мгновенен твой отклик выкрику — моменту истины «дикого» Васьки Цыгана из «Скачек...»: «Ах, боже ж ты мой! Как мы живём?!»

Художник уподобляется самой действительности, которая учит острыми углами, нуждой, а не поучениями. Он и развязку повести — моральную победу или поражение Агеева — оставляет на совести читателя, как бы предлагая ему самому довести логику характера Агеева до завершения.

Писатель раскрывает своих героев через их взаимодействие, да и всё в его художественном мире находится во всеобщей диалогической связи: люди, вещи, явления природы, сам космос. Бессловесно говорят с Агеевым его конь Бес, избяная дверь, даже «его одежда как бы пришла в себя и заявила: а вот она я», «столб посреди хаты подпирает потолок охотно и вроде даже гордится своей выправкой и бравым видом: я тут самый главный!»

Персонажи прозы Саталкина действуют не только поступками, но и равными им диалогами, выговаривая свою сущность. Говорят они и сами с собой, сомневаясь, споря, утверждая — внутренние диалоги ведут многие его герои, создавая обертоны жизненного многоголосия в полифонии произведения. Это можно отнести к творчески воспринятым

урокам Достоевского, когда диалог не только изобразительное средство, но и цель, и единственная, прав Бахтин, подлинная сфера жизни языка.

И ещё об одном голосе нельзя не сказать: о голосе окружающего героев мира. Образами «степняцких заборов из белого, словно кость, плитняка», звёздного неба, овражных растений, увиденных под художественным увеличением, «иссиня-пыльного мрака» грозовой тучи он, этот мир, взаимодействует с действующими лицами прозы — посредством авторского языка. Слово же автора новорождённо светится, не успело затереться, метафоры свежи, неожиданны при всей простоте, природные состояния пейзажей напряжены, словно в страдании предельного самовыражения, — ими любуешься: «Невелико оказалось возвышение, на котором они остановились, но так бесконечны, ясны были полевые дали, открывавшиеся с этой точки, что небесный купол как бы не вмещал под свои пределы все окрестные пространства, и за его краями были видны уже нездешние, потусторонние земли, другое небо над ними и другой, в млечно-розовой дымке младенческий горизонт».

С каким чувством закрываешь эту книгу? Перефразируя автора, мы «вошли не с обычной, а с другой стороны, малоизвестной», во вселенную его героев, увидели, почувствовали, сопережили их отношение к себе и миру. Отношения эти органично правдивы, и выражена эта правда эстетически прекрасно.

Георгий Саталкин заканчивает работу над большой рукописью. Зная его изначальную неспособность к повторению пройденного в творчестве, верится, что это будет новое слово о сегодняшнем взорванном и ещё более усложнённом мире. Как читатель жду этого нового, понимая всю огромность такой художественной задачи.

Газета «Южный Урал», 1998, 8 апреля.

Падение блудного сына

Большой роман, обещанный в конце предыдущей публикации, опубликован, скажу, не боясь ошибиться, случайно, спустя десять лет. В такие условия поставлен отечественный писатель. И заметка о романе, эта первоначальная попытка критики, складывалась не сразу, рассчитанная на существование «в столе». Поэтому, пользуясь случаем, предлагаю читателям эту каскадную методу разговора о творчестве художника.

Миновавший пять лет назад 75-летний и сегодняшний

юбилей писателя Георгия Саталкина, по сути, заново открывают его как художника больших форм. Первый раз это было эпоху назад, в 1984 году, когда вышла его книга одноимённой повести и рассказов «Скачки в праздничный день». Это была книга, неожиданная по метафорическому богатству языка, по изящной свободе владения им, по тяготению к народной правде жизни. В ней уже слышались подземные гулы и толчки будущей общей катастрофы, которые мало кто слышал тогда. Воздухоподъёмной силой «Скачек...» автор легко преодолел барьеры на пути вступления в писательский Союз, а вскоре и успешно руководил областным отделением Союза писателей.

Георгий Саталкин — профессионально работающий писатель, каждый день солнце застаёт его за рабочим столом, но с выхода «Скачек...» почти четверть века не выходило его книг, всё это время он работал «в стол». Главная причина — в гибельных девяностых годах, в неспособности угождать времени, в котором вдруг бешено завертелась стрелка нравственного компаса.

Саталкин никогда не принадлежал к писателям, по поводу которых спрашивают, зачем они снова издают и переиздают себя, — для меня, читателя, который интересуется литературным процессом, он всегда был неожиданным и потому жданным художником.

Время действия его нового произведения «Блудный сын»[2] — семидесятые годы прошлого века, когда советские люди, одни смеясь, другие плача, расставались со своим прошлым, то есть роман принадлежит нашей новейшей истории. По поводу этого романа ломаются и ещё будет сломано немало копий.

Не открою большой истины, если скажу, что творческий акт есть тайна. Особенно это справедливо по отношению к роману. Каждый день, садясь к столу, художник трепетно добавляет к вчерашней тайне романного действия тайну сегодняшнего дня. В этом смысле романное действо напоминает реальную жизнь, в которой ожидаемое далеко не всегда отвечает совершившемуся.

Я доморощенный критик, поэтому, говоря языком героя романа — студента-заочника Поротова, скажу «своими словами» о том, что считаю главным, о первых подходах к роману. Его эпиграфом стали слова из летописи 14 века: «Увы, увы! Кто возможет таковую сказати страшную и умиленную повесть?..»

---

[2] Блудный сын. — Оренбург, ООО «Губерния», 2008 г. — 480 с.

Дополнить эпиграф могли бы строки из Державина:

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!

Роман говорит о глубочайшем внутреннем освоении писателем русской литературы XIX века от Державина до Достоевского и Толстого. В этом смысле «Блудный сын» — роман реминесценций, отголосков, напоминаний о круге идей гениальных предшественников, где первенствует, конечно, Достоевский. Определяются параллели: Василий Поротов — Рогожин, Таисия Кийчатова — Настасья Филипповна и многие другие. Если бы на этом дело и заканчивалось, заслуга художника-эпигона была бы невелика и говорить, по правде, было бы не о чем. Но Георгий Саталкин открывает, глубоко исследует в причинах и следствиях XX века как бы «второе дно» роковых русских вопросов о «слезинке ребёнка», о «красоте, которая спасёт мир», о Боге и Дьяволе, вере и неверии и многом другом.

В связи с этим хотелось бы поделиться некоторыми соображениями о главной проблеме исторического романа, как она видится: о соответствии современного изображения историческому времени и его духу.

Кризис исторического романа видится частью общего кризиса художественной литературы. Читателям, обожжённым адским огнём современности, стали неинтересны

Георгий Саталкин с другом, поэтом Валерием Кузнецовым на встрече со школьниками. 1970-е годы.

Георгий Саталкин, г. Оренбург, 1979 г.

романы-реконструкции «с их оживляжем», добросовестные, в лучшем случае, макеты навсегда ушедшего и отмершего, — такие романы устаревают уже во время написания. Музейное замыкание в ушедшей эпохе неинтересно, как прошлогодний снег. Более дают подлинные документы интересующей эпохи, целое я как читатель синтезирую сам.

Как роса конденсируется от избытка вечерней и утренней влаги, так ныне более интересны, если можно так назвать, романы-конденсаты, рождённые от избытка исторически напряжённых реалий. Если же говорить о прошедшем, которое может оставить живые занозы, то мне нужно знать, каким образом непрерывно ускользающее время вместе с автором в крови и страданиях вынашивало художественно-историческую версию того, что должно остаться. Потому что этот процесс становления художественной истины сам по себе есть часть общего исторического процесса. В романе «Блудный сын» прошлое и настоящее неразрывны, как неразрывны корни, листья и плоды дерева.

Круг действующих лиц романа — коллектив районной газеты «Путь к коммунизму», место действия — старинное казачье село Гнездилово, в котором «никто ни перед кем никогда не извинялся». Главные герои: рефлектирующий интеллектуал — «пакостник», склонный к самообличениям до ненависти к себе, заведующий сельхозотделом Рудольф Степанович Мокрицын и «вселенский подкидыш», по собственному определению, безбожный, всё вокруг себя ломающий заместитель редактора Василий Курмангалеевич Поротов. На них в основном завязано всё нравственное движение действующих лиц в этом романе.

Сквозная тема романа — тема подполья сознания.

Автор не скрывает своего художественного родства с Достоевским, стилистически даже подчёркивает его. В советской литературе эта тема была под негласным запретом, хотя двадцатый век не уставал давать потрясающие материалы к истории отечественного нравственного подполья, и Георгий Саталкин здесь — один из пионеров его философского и художественного освоения. Далеко не каждому под силу увидеть себя действующим участником такого подполья, сказать: «Господи, и я здесь!»

Почему не устаревает Евангелие? Паскаль заметил, что при всей любви к Христу евангелисты не поносят его врагов и палачей, не хулят Иуду, Понтия Пилата и других. Зло наказывается самим положением вещей. Как говорит Поротов в «Блудном сыне», зло наказывает самоё себя. «По этому же принципу созданы «Слово о полку Игореве» и «Тихий Дон»...

При всём торжестве исторического пессимизма автор остаётся художественно великолепным бытописателем. Как и по творчеству любимого им живописца-реалиста заслуженного художника России Александра Овчинникова, по его прозе можно в деталях восстановить ушедшее время. Вот, например, картина села: «Стояла жара. Был тот бесконечный, знойно пылающий день, когда всё изнывает от раскалённого солнца. Железные бурые крыши старых казачьих изб струились тёмным стеклом. Шиферные кровли слепили глаза неистовой серо-искрящейся белизной. Иссохшие

На презентации своей книги в областном Доме литераторов, 2001 г.

ставни были наглухо затворены. Каменные низкие заборы из белого в основном плитняка, казалось, сложены из костей».

Или гастрономически-роскошная картина редакционного пиршества: «Канцелярские сдвинутые столы были застелены рулонной белой бумагой. Стояли и скалили зубы бутылки с водкой, чёрно-красное вино в больших зелёного стекла бутылках ждало с нетерпением женщин. В огромных мисках пестрел и маслился салат из огурцов, зелёного лука, укропа и разварной картошки. Колбаса, сыр, копчёное сало млели на плоских тарелках, а в глубоких тарелках золотисто-коричневой, сочащейся жиром горой лежали куски жареной рыбы. А ещё тушилась картошка с мясом — на горячее. Запах её тучный давно клубился по всей редакции. А кроме того, из погребов извлекли остатки солений — отощавшие угрюмоватые огурцы, всё еще молодящиеся тугие перцы, красные разнюневшиеся помидоры. И был ещё большой, с запавшим, как у старика беззубый рот, боком солёный арбуз. Все даже закричали, увидев это чудо — тёмный, с проступающей в одном месте аппетитнейшей желтизной, солёный арбуз и — среди лета! Сразу он сделался гвоздём стола...»

Мы переживаем время перехода от литературы соцреализма к новой для нас литературе действительности. От того, как пройдёт этот процесс отторжения глубоко укоренённой в нас «лжи во спасение» и преобладания нового, без розовых очков взгляда на реалии возврата к нам «каменного века» сознания, зависит, останется ли с нами художественная литература в классическом понимании искусства или — признаком новейшей цивилизации — её заменят всё более и более безграмотные рекламные тексты и беллетристические жвачки на уголовные темы.

XXI век — время, когда, прошу прощения за тавтологию, нравственное подполье, ранее скрываемое запретами, «вышло из подполья» и расцвело очевидными пышными «цветами зла».

Роман «Блудный сын» — не для слабонервных, это умная, хотя и глубоко пессимистичная книга падений человека. Это реквием по человеку, по созданному им обществу, по человечеству с его мировыми идеями спасения. Апофеоз пессимизма — заключительная фраза романа: «Да разве можно о человеке всю правду сказать? Никто её никогда и не скажет».

Хочется верить, что роману Георгия Саталкина предстоит пусть нелёгкая, но долгая творческая жизнь.

Валерий Кузнецов.

Оренбург, 2013 г.

С течением жизни всё убедительнее кажется, что время движется скачками. Вот, вдруг, нынешним январём, прошло ещё одно пятилетие, сделавшее явью 80-летний юбилей Георгия Саталкина.

С председателем правления Оренбургской региональной писательской организации, главным редактором журнала «Гостиный Дворъ» Натальей Кожевниковой мы навестили с юбилейными поздравлениями писателя. По состоянию здоровья он сейчас не пишет. Сейчас на него «работают» неподъёмные кипы написанных «в стол» произведений. И для его творческого поведения всю жизнь был главным этот писательский завет: «Ни дня без строчки!» По давней привычке, не признавая письменного стола, он устраивал на коленях чертёжную доску и шариковым стерженьком писал то, что, в конце концов, становилось радостями, болью и раздумьями времени.

Прощаясь, писатель передал нам объёмистую рукопись нового романа, законченного в начале 2000-х. Будем надеяться, что у этого романа будет лучшая издательская судьба. Многая лета, художник!

Георгий Саталкин с женой Анной Николаевной на даче, 2012 г.

Игорь ГЕРГЕНРЁДЕР

ГРОЗНАЯ ПТИЦА ГАЛКА

Повесть

Игорь Алексеевич Гергенрёдер родился в 1952 году в Бугуруслане Оренбургской области, в семье выселенных во время войны и мобилизованных в Трудармию немцев Поволжья. Окончил факультет журналистики Казанского университета, работал корреспондентом в газетах «Советская молодёжь» (Рига), «Молодой ленинец» (Саранск Мордовской АССР), зав. отделом городской газеты «Знамя коммунизма» (Новокуйбышевск). Публиковался в сборнике «Поиск-85» (Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство), в альманахах, журналах и в коллективных сборниках бывшего СССР. С 1994 года живёт в Берлине. Автор шести книг и более ста пятидесяти публикаций в изданиях русского зарубежья и России.

В середине октября 1918-го наша 2-я добровольческая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце; идём просёлком, кругом убранные поля, луга со стогами сена, тихо; кажется, и войны нет.

Около полудня наш батальон вошёл в деревню, где мы должны закрепиться. Разбегаемся по дворам с мыслью перекусить; не успел я заскочить в избу, как с улицы закричали:

— Лёнька, к начальнику дивизии!

Розыгрыш. Зачем я, ничем не приметный рядовой, могу понадобиться генералу? Тоже мне, остряки! Однако на улице в самом деле ждал вестовой верхом, держал за повод лошадь для меня. Оторопев, я спросил, для чего вызван?

— Скажут... — не глядя на меня, неохотно бормотнул пожилой вестовой; у него было унылое лицо крестьянина, ожидающего зиму после неурожайного лета.

Штаб дивизии расположился в селе Каменная Сарма, до него вёрст шесть. По дороге я стал думать, что разгадка вызова нашлась. Мой старший брат Павел командует конной дивизионной разведкой. Он похлопотал — и меня берут в разведку? От этой мысли было так радостно, что я суеверно боялся: неудержимая радость всё испортит. И заставлял себя думать о чём-нибудь другом. Например, вот-вот хлынут дожди, а отступление продолжится, и тогда тащиться по просёлкам станет ещё скучнее…

Вестовой направил коня к чисто выбеленному зданию сельской школы. В классной комнате на столе расстелена карта-двухвёрстка. Над ней склонились офицеры штаба. С ними — начальник дивизии генерал-майор Цюматт: русский немец, как и я. Погоны змейками, мундир свободно сидит на сухоньком торсе, белоснежный воротничок перехватывает морщинистую шею. Мне, пятнадцатилетнему, генерал кажется глубоким старцем: даже брови седые. Белые ухоженные усы нацелены вниз, меж стрелками усов розовеет выбритый подбородок.

Вытягиваюсь — руку к козырьку, называю себя. Генерал просит извинения у офицеров и, обращаясь ко мне, кивает на дверь сбоку:

— Пройдёмте в курительную.

Следом за ним выхожу в узкий, ведущий на задний двор коридорчик. Здесь стоит лавка. Цюматт достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю; на самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет… Скажет — и моё мучительное волнение взорвётся восторгом.

Он затянулся так жадно, что я услышал потрескивание в папиросе. Стоит в облаке дыма; у него встревоженные глаза нервного молодого человека.

— Ваш брат Павел пал за Россию! Пал смертью храбрых!

Зажав папиросу во рту, Цюматт взял меня за руки. Стоим минуту-вторую, третью… он не выпускает мои руки.

— Сядемте, — пригласил сесть с ним на лавку.

Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа — дивизия чехословаков — всё время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьёз воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш фланг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа.

Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк прикрытия.

Остальными силами — при поддержке соседа слева — нанесёт красным неожиданный удар.

— И мы разобьём их без никакой помощи чехословаков! — Цюматт поспешно поднёс папиросу ко рту, костлявая рука дрожит. — Представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата?

Попрощался генерал немного картинно:

— Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели! Дорогой мой, служите, как ваш брат!

Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка.

Постоянной линии фронта не было, и разведка — тридцать конников — без труда проехала в расположение противника, на ночь остановилась в незанятом им селе Голубовка. На крыше сарая залёг дозорный. Лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи дозорный поднял спавших: в Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из села. Четверо оказались ранены, и не было Павла.

— Остановились в селе, в десяти верстах от Голубовки, — рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усиками и бородкой. — Днём приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали…

Павел, седлая кобылу, задержался. Когда поскакал со двора, красные были уже рядом, простреливали улицу продольным огнём. Лошадь под ним убили. Он — в ближние ворота; взобрался на гумно, отстреливался, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились: спрыгнул с гумна, саблю держит, шатается, а красные — вот они, перед ним. Кричат: «Бросай шашку!» Не бросил, замахивается — его и застрелили.

— Крестьянин уверен, — закончил разведчик, — что кто-то из своих, из голубовских, привёл красных.

Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цюматт. Наш полк был заблаговременно переброшен на участок, только что оставленный чехословаками: они, по своему обыкновению, продолжали отходить без боя. Красные, не ожидавшие серьёзного сопротивления, атаковали нас без подготовки, но под огнём залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около сорока пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами.

Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологого холма на открывшееся в седловине село. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот.

Возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик.

— Вот эта самая Голубовка! — он показал на село. — Через час вы в ней будете. Глядите: церковь, две избы вправо, за ними, подальше — три двора. Там мы ночевали… Узнаете, где Павел… гхм… — разведчик смешался, порывисто бросил: — Извините!

Я его понял: он не уверен, погребено ли тело Павла.

Он сел подле меня на траву. Помолчав, рассказал: утром они захватили красного — из тех, кто напал на разведчиков в Голубовке. Вот что выяснилось.

Красные в ту ночь стояли в деревне — от Голубовки верстах в четырёх. Их было не больше полуста, и, когда прибежал голубовский пацан: у нас, мол, разведка белых ночует, — командир не решился нападать. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись…

— Мальчишку, конечно, отец послал, — разведчик глянул мне в глаза. — Глупостей не наделайте! А вообще… — с минуту думал. Вдруг у него вырвалось: — Я бы расстрелял!

Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал.

Мы не оказались в Голубовке ни через час, ни через два. Красные, засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнём винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки.

Темнело. Мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись вокруг них группками.

Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов вроде меня. Прошло немногим больше трёх месяцев, как мы в Сызрани вступили в Народную Армию Комуча[1]. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносов — один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии с высадившимися там германцами. Ему года двадцать три; рослый, плотный. Ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он — старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в Народную Армию с напутствием: «Жалко, но надо! А то х…ета безлошадная нас уделает».

Санёк нашёл неподалёку болотце и, процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит её в котелке.

— Лёнька, чай, мыслями в Голубовке, — произносит в раздумье, ни к кому не обращаясь, — казнит братниных убивцев…

Молчу. Думаю о Павке. Думаю — почему я не мучаюсь горем? Когда я услышал о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но боли, ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в

[1] Комуч — Комитет членов Учредительного собрания (Прим. автора).

себе мысли о том, каким хорошим был Павел.

У меня есть ещё два старших брата, сестра. Чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1914 ушёл добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпоручиком? В Народной Армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот в двадцать два года, провоевав три месяца, он погиб.

Обстоятельный Санёк говорит мне с нотками превосходства:

— Генерал тебе потрафил: братана хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он лошадь расседлал — командир! А все так сделай? И накрылась бы разведка. По дури попался орёлик. Любил вы…бнуться! — он с удовольствием выделил матерное слово.

Я понимаю, что он прав. Для меня это — пытка. С дрожью бросаю:

— Ну, чего привязался?

Мой бывший одноклассник Вячка Билетов замечает:

— Павел погиб от предателя.

— А он те на верность клялся никак, мужик, что пацана послал? — с ехидцей поддел Санёк. — Может, он и был за красных? По его понятию — хорошо сделал.

— Значит, Лёнька и отплачивать не должен? — вознегодовал Вячка.

Санёк поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб.

— Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому же, братан — своя кровь. Может, бил тя по башке, жизни не давал: до расчёта это не касаемо. Не рассчитался — не человек.

— Ишь, как! — вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин. — А военно-полевой суд на что?

— Прям у начальства забота теперь — суды собирать!

— А иначе, — не сдался Чернобровкин, — сам под суд попадёшь. Как за грабёж.

— Грабёж — дело другое, хотя и тут: как посмотреть… — Санёк дует на размоченный в кипятке ломоть хлеба. — А у Лёньки — дело без корысти.

На рассвете мы обошли Голубовку с севера, наткнулись на полевой караул красных. Поднялась стрельба; опасаясь окружения, противник оставил село, и мы вступили в него.

Я и мои друзья искали указанное разведчиком место, где погиб Павел, приблизились к церкви. У одного из дворов стояла нестарая баба в валенках, хотя снег ещё не выпадал. Бросилась к нам:

— Солдатики, у нас вашего офицера убили, у гумна! А красным сообчили Шерапенковы-соседи. Они погубили, они! — в притворстве завывая, показывала нам рукой на соседский двор.

— Обожди! — властно обронил Санёк. — Где офицер лежит?

— Схоронен! Мой-то сам и старшенький на кладбище снесли, после батюшка вышел — похоронили…

Она привела нас к могиле на тоскливом, почти без деревьев, кладбище. Я смотрел на свежий холмик земли и вдруг почувствовал: вот тут, неглубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка — такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный.

— Крест втыкнуть поскупились, — сказал Санёк.

— Поставим, миненький! — баба стала приглаживать землю на могиле ладонью. — Чай, мы уважа-ам…

Острейшая жалость к Павке полоснула меня. Из глаз хлынуло. Я услышал исполненный значимости, как у судьи, голос Санька:

— Ну всё! Снялось с него. А то он был оглоушен. Теперь будет мужик — не пацан.

Баба упала на колени, тычется лицом в землю холмика. Как мне гнусно!

Шерапенковы нас ждали. В избе чисто, будто в праздник. Топится побелённая на зиму печь. В правом углу — выскобленный ножом свеже желтеющий стол. Над ним — тусклые образа. Свисая с потолка на цепочке, теплится лампадка зелёного стекла. Слева, на лавке у стены, сидят крестьянин, баба и четверо детей. Среди них старшая — девочка, ей лет двенадцать. Цветастая занавеска скрывает заднюю половину избы.

— Извиняйте, что без спроса! — Санёк снял заячью шапку и, придерживая винтовку левой рукой под мышкой, перекрестился на иконы. — Вот он, — указал на меня, — родной брат офицера убитого.

— Так… — крестьянин встал с лавки; волосы густой бороды мелко дрожат.

Дети таращатся на нас в диком ужасе. Младший, лет четырёх, разинул рот, смотрит с невыразимым страхом и в то же время чешет затылок.

Равнодушно, точно по обязанности, Санёк спросил:

— А куда дели сынка, какой призвал красных?

— Лешему он сын — аспид, собака! — вскричала крестьянка. — А на нас нету греха! Поди, угляди за ним, уродом…

Из-за занавески вышел подросток в потрёпанном пиджаке.

— Кому меня надо? — спросил низким, с хрипотцой, голосом мужика.

Я увидел, что «подростку» никак не меньше двадцати пяти.

— Мой меньшой брат, — сказал крестьянин; потоптался, добавил: — Бобыль.

Тот стоял, небрежно расставив ноги в шерстяных носках, одну руку уперев в бок, другой держась за отворот пиджака. Бритое лицо выражало спокойную насмешку.

— Я красных притащил! Так захотел!

В словах столько невообразимой гордости, что Вячка Билетов пробормотал:

— Он в белой горячке…

Санёк, вглядываясь в человека, рассмеялся смехом, от которого любому станет не по себе:

— Смотри-ка, грозная птица галка! Ох, и любишь себя! Спорим: всё одно жизни запросишь?

— Дур-р-рак! — Не передать, с какой надменностью, с каким презрением это было сказано.

Почти неуловимый взмах: Санёк двинул его в ухо. Ноги у человека подсеклись — ударился задом об пол, упал набок. Дети закричали; старшая девочка визжала так, что Чернобровкин с гримасой боли зажал ладонями уши.

Санёк тронул лежащего носком сапога:

— Поднять, што ль, под белы руки?

Тот встал, одёрнул пиджак, шагнул к двери с выражением поразительного высокомерия — мы невольно расступились. В сенях он с привычной основательностью обул опорки. По двору шёл неспешно, деловито: как хозяин, знающий, куда ему надо. Он словно вёл нас. Завернул за угол сарая, встал спиной к его торцу. Это место не видно ни с улицы, ни из окон избы.

— Ты не думай, что я от страха, — усмешливо глядит мне в глаза, — я не из-за этого говорю… Сожалею я, что отдал твоего брата. Я думал, он дешёвка, а он — не-е… Нисколь не уронил себя!

Санёк хмыкнул.

— Началося! Сожаленье, покаянье. И в ноги повалится. Ох, до чего ж я это не терплю!

— Иди ты на … — хладнокровно выругался маленький человек. — Не с тобой говорят. — Он не отводил от меня странного, какого-то оценивающего взгляда: — Давай, што ль, пуляй!

Я — хотя стараюсь не показывать этого — ошеломлён. Может, он не понимает, что у нас не игра? Шут, идиотик, он думает: всё — понарошке? Хотя какое мне до того дело? Если б не этот замухрышка, Павел был бы сейчас жив-здоров.

Я понимаю, что должен вскинуть винтовку, выстрелить. Но я ещё ни в кого не стрелял в упор.

— Сознаёшься, что сам, по своей воле побежал… выдал… привёл? — держу винтовку у живота, страстно желая, чтобы меня захлестнула злоба.

— Верно балакаешь, — он заносчиво улыбается. — Не угодил мне твой брат! Форсистый, саблей гремит, ходит-пританцовывает, ляжками играет. Ну, думаю, красавчик, как поставят тебя перед дулом, будешь молить…

Меня взяло. Я дослал патрон, упёр приклад в плечо. Сейчас ты отведёшь взгляд. Я увижу ужас. Мгновение, второе… Он негромко смеётся: кажется, без всякого нервного напряжения. Бешенство не даёт выстрелить. Вонзить

в него штык — колоть, колоть, чтобы пищал, взвизгивал, выл! Я отчётливо понимаю: если сейчас застрелю его, он, безоружный и смеющийся мне в лицо, останется в выигрыше. Мои друзья будут поговаривать об этом.

— Делай, Лёня! — Санёк легонько шлёпнул меня по спине.

Опускаю винтовку, смятение рвётся из меня неудержимым сумасшедшим смехом:

— Не-ет, я ему, хе-хе-хе, не то… я ему получше…

Вдруг вспомнился захватывающий роман о покорении французами Алжира. Молодой французский офицер попал в плен к арабам, и они под страхом мучительной смерти заставили его принять ислам, воевать против своих.

— Или он с нами пойдёт… — не могу смотреть на него, отворачиваюсь, — или издырявлю его штыком!

— Он — с нами? — У Вячки Билетова — гримаса, точно он надкусил лимон. Издаёт губами неприличный звук.

— С на-а-ми… — протянул Санёк; ему забавно в высшей степени.

— Мы не можем это решать, — неопределённо сказал Чернобровкин, обратился к виновному: — Вы, конечно, отказываетесь?

Он безразлично сказал:

— Могу пойти. Но, само собой понятно, не со страху, а от сожаленья. Вина на мне.

— Но вы не подлежите службе! — воскликнул Чернобровкин. — Вы… э-ээ… маленький.

— Я на германской полных три года был!

— В обозе ездовым? — спросил Санёк.

— Правильно мыслишь. Имею два ранения. — Сбросил пиджак на землю, сорвал с себя рубашку, нагнулся. Вся левая сторона спины покрыта застарелыми язвами.

— Шрапнель, — определил Санёк. Раны от шрапнели, бывает, не заживают по многу лет.

— Считаю за одно, а это — второе, — человек распрямился, показал нам на груди ямку от пулевого ранения: пальца на три выше правого соска. — Лёгкое — насквозь.

— А чего… — Санёк остановился на какой-то мысли, — иди, в самом деле, с нами. Интересно будет поглядеть на тя.

— И правда, интересно, — согласился любопытный Вячка. — Звать тебя как?

— Шерапенков, Алексей.

— Ха-ха-ха, Лёнька! — Билетов ликующе, точно он ловко открыл что-то мною скрываемое, обхватил меня за плечи. — Тёзка твой! Вот это да.

Шерапенков пошёл в избу собраться. Через минуту выбежал хозяин, поклонился Саньку, потом — мне.

— Благодарствуем! Вы не сумлевайтесь, он воевать будет, хотя и мозгляк. А убивать его — чего… Ой, занозистый, ирод, а жалко…

Повёл нас в сарай, нырнул в погреб. Мы получили два десятка яиц и шмат сала фунта на полтора.

Шерапенков вышел в шинели, в сапогах. И то, и другое ему велико. Несуразно огромной выглядит на нём баранья папаха. Вячка отвернулся, чтобы скрыть смех. А Санёк с самым серьёзным видом похвалил:

— Гляди, а военное-то как ему к лицу! — незаметно подмигнул мне.

Я увидел угрюмую злобу Шерапенкова. Пришла мысль: вероятно, при первом же удобном случае он постарается убить Чуносова… или меня… «Ох, и следить я буду за тобой! — как бы предупредил я его. — Убью, лишь только что замечу!»

Мы пошли к ротному командиру, уговорившись, чтоб не возникло затруднений, не открывать ему суть дела.

Ротным у нас прапорщик Сохатский, бывший до германской войны банковским служащим. Попив чаю в доме священника, он как раз спускался с крыльца, когда подошли мы.

Чуносов поставил впереди себя Шерапенкова. Тот вместе с папахой — ему по подбородок.

— Малый с этого села, всю германскую прошёл ездовым. Просится к нам в роту.

— Где служил? — спросил Сохатский.

Шерапенков ответил, что в 42-м Самарском пехотном полку. Оказалось, полк входил в корпус, в котором воевал Сохатский.

— Отчего надумал с красными драться?

— Должен, господин прапорщик! — твёрдо сказал, как отрезал, Алексей.

— У него красные невесту снасильничали, — с выражением сострадания объяснил Санёк, — она с горя удавилась. Он и рвётся мстить.

Шерапенков обернулся: я думал, он подпрыгнет и вцепится лгуну в горло. Было слышно, как у разъярённого человека скрипят зубы. Сохатский смотрел с изумлением. Решил, что Алексея раздирает ненависть к красным.

— Что ж, раз есть желание честно воевать — зачислим. Но предупреждаю: чтоб никаких измывательств над пленными!

В тот день основные силы дивизии стремились опрокинуть противника на линии село Хвостово — хутор Боровский. Выйдя из Голубовки, мы получили приказ обеспечить правый фланг наступающих. В то время как полк наступал на северо-запад, на хутор Боровский, наша рота отклонилась на две версты вправо и развернулась фронтом на север.

Было три часа пополудни, погода ясная. Вдали на равнине перед нами видна деревня Кирюшкино. Вдруг из неё поползло скопление людей. Скоро донеслись звуки пения.

— Стеной прут, — с мрачной напряжённостью сказал Мазуркевич, ученик фотографа из Сызрани. — Значит, резервов у них… до чёртовой бабушки!

Красные шли плечом к плечу, сплошным массивом. Если командиры даже не считают нужным растянуть их в цепи, сколько же сил в их распоряжении?..

В рядах противника раздаются выстрелы, стали посвистывать пули…

В нашей цепочке не наберётся и ста штыков, а на нас шагают четыреста? Пятьсот? Тысяча солдат?

Окапываться мы только начали. И хоть бы был пулемёт! Сейчас они рассредоточатся, легко окружат нас на ровном пространстве и задавят. Уже можно разобрать, что они поют: «Вихри враждебные веют над нами…»

Сохатский во весь рост прошёл перед цепью, бодрясь, прокричал:

— Ну, молодцы, дадим залп и в штыки — покажем подлому врагу, как нужно умирать!

Шерапенков встал с земли.

— Чего умирать-то? — крикнул с издёвкой. Если б не обстановка, показалось бы: безобразничает какой-то наглец в форме солдата. — Это ж рабочие из Самары, два дня винтовка в руках, — кричал он с презрением (с презрением не только к рабочим, но и к ротному командиру). — Какой им: по местности двигаться? Они команд не понимают. Видите: на ходу стрелять учатся…

Сохатский вытаращился на него, затем повернулся к неприятелю, прижал бинокль к глазам, вгляделся. По цепи меж тем побежало оживление: вспомнилось, какими беспомощными были мы сами три месяца назад. Правда, в отличие от этих громко поющих людей, мы обожали оружие, умели стрелять: почти каждый дома имел охотничье ружьё или малокалиберную винтовку «монтекристо».

Позади нас, параллельно цепи, тянется полевая дорога с жухлой травой меж колеями. Сохатский приказал роте быстро отойти за дорогу. Там мы залегли. Дорога перед нами шагах в ста пятидесяти. Приказ: установить прицел по линии травы.

По позвоночнику, от затылка к копчику, протёк холодок. А что если Шерапенков лжёт? Может, эти люди идут стеной не от неумения? Они опьянены ненавистью настолько, что им наплевать на смерть. Остановит ли их ружейный огонь одной некомплектной роты? Наш отход растравил их — катятся на нас валом. Различаю крики: «Сдавайсь!» Нет и попытки обойти нас.

Шерапенков лежит слева от меня. Он угрюмо-важен и от этого выглядит ещё смешнее в огромной, наползающей на брови папахе. Левее его растянулся на земле Санёк, жуёт корочку хлеба.

— Ой, сымут они с тя шапку, Алексей…

— Смолкни! — Алексей кривыми зубами грызёт соломинку.

По цепи передают:

— Частым… начинай!

Вал красных накатился на дорогу. Справа от меня шарахнула винтовка Вячки Билетова. Через секунду нажимаю на спусковой крючок, выстрел почти сливается с выстрелом Шерапенкова. Слева и справа — резкий сухой треск, словно досками, плашмя, с невероятной силой бьют по доскам.

Вместо сплошного вала атакующих оказываются разрозненные кучки и отдельные фигуры. Наверно, в горячке порыва они не замечают урона — бегут на нас, как бежали. За ними возникают новые, новые группы. Тут и там несколько красных — впереди остальных: видимо, командиры. Слышны крики: «Товарищи, бей гадов! Их мало!»

Ах, мало? Посылаю пулю за пулей, то и дело замечаю падающих. Приближается человек в пальто, за ним — довольно плотная кучка красных. Он оборачивается к ним, подбадривает, размахивая рукой с пистолетом. До человека — шагов полста. Прицеливаюсь, но слева хлестнула винтовка: командир подскочил, упал. Шерапенков, дёрнув затвор, выбросил дымящуюся гильзу.

Бежавшие за командиром — точно это был его последний приказ им — легли.

Не боясь их бестолковой стрельбы, ведём по ним огонь с колена. Доносится: «Товарищи, вперёд!», «В атаку, товарищи!», «Ура!» — пуля обрывает призыв.

Красные вдруг начинают суматошно вскакивать с земли, кидаясь прочь, бегут сломя голову, многие побросали винтовки.

Продолжаем прицельный огонь.

Преследовать их значило бы далеко оторваться от полка, атакующего хутор Боровский, оставить своих без прикрытия. Поэтому ротный приказывает только собрать трофеи.

Вячка первым подоспел к убитому командиру в пальто, выдернул из его руки пистолет.

— Ого, браунинг прямого боя, десять зарядов!

— Его выстрел, — я кивнул на Шерапенкова, — трофей его. — Зачем мне понадобилось говорить это?

Вячка небрежным тоном, но настойчиво просит Алексея:

— Продай, а? Мне скоро деньги пришлют.

Тот молча взял у Билетова браунинг, сунул в карман шинели.

Санёк, наклоняясь над одним из убитых, чтобы отстегнуть от его пояса гранату, сказал, будто размышляя вслух:

— Одно мне интересно: откуда наш мил-друг узнал, что это идут рабочие?

— Догадался, — обронил Шерапенков безучастно. Словно говоря о самой обыкновенной вещи, объяснил: — Когда я насчёт разведки сообщал красным, к ним в аккурат — пополненье:

фабричные одни. Говорят: два полка из самарских рабочих собрано. Беда, мол: ничему не обучены… Оно и видно, — добавил он. — А не умеешь, так и не наглей!

После такого вывода ни у кого из нас не нашлось что сказать.

К сумеркам неприятель был выбит из хутора Боровского. Наша рота заночевала в нём, выслав дозор к деревне Кирюшкино, откуда противник, получив подкрепление, мог угрожать нам заходом в тыл.

В дозоре: я, Шерапенков и ещё четверо. Командует Чуносов. Мы залегли в лесной полосе между полями, видя вдали перед собой редкие огоньки Кирюшкино.

Ночь нехолодная; сижу на земле, подстелив под себя сухую траву. Возле меня оказывается Шерапенков.

— Бери, а? — протянул браунинг рукояткой вперёд.

Я чуть не привстал от изумления: в его голосе — просительность.

— Ну, возьми, не злобься…

— Зачем?

— Дарю вроде как…

Сегодня он здорово помог, у меня уже нет к нему ненависти. Но не может быть и дружелюбия. Для меня он — непостижимо тёмная, опасная фигура. Как бесстыдно-спокойно объяснил, почему ему стало известно, что на нас идут рабочие…

Отказываюсь от подарка. Он отошёл, сел под дерево, слившись с ним. Меня позвал Санёк, спросил шёпотом:

— Подкатывается?

Я рассказал. Санёк разбил о колено варёное яйцо, сковыривает с него скорлупу.

— Ну, скажи! Будто из Кутьковской слободы!

Недалеко от его родной деревни находится слобода Кутьковская. В давние времена это было село. Когда отменяли крепостное право, жители села потребовали лучшие помещичьи земли. Получив отказ, «встали в претензию» — свою землю не пашут. Отправили кругом посыльных с подводами, чтобы выдавали себя за погорельцев и собирали подаяние. Становились ямщиками, лесорубами, шли по деревням плотничать, класть печки, отправлялись бурлачить, а то и коней красть, разбойничать.

— С голодухи, зверюги, иной раз загинались, но поле пахать — не-е! Так и доселе: кто шорник, кто жестянщик, кто торговлишкой пробавляется. Зато гордости в каждом — во-о! — Санёк, привстав с земли, поднял руку, показывая, сколько гордости в каждом кутьковском жителе. — Скажешь ему: тебе ль гордиться, голяк? Чего не пашешь? А он важно, чисто купец: «Почему я должен на плохой земле сидеть, когда столько хорошей в дурацких руках плачет?»

— Уваженья требуют не по своему месту, — рассуждает Санёк

тоном человека, уверенного, что его мысли неоспоримы. — Коли нет путёвого хозяйства, ты в жизни бултыхаешься, как котях в луже. С какой стати я должен перед тобой шапку сымать? А они полагают — должен. И любой вред могут засобачить исподтишка.

Он говорит шёпотом, к нашему разговору никто не прислушивается. Вячка «выдвинулся» в поле — будто б получше следить за деревней, а сам, наверное, дремлет. Другие: кто прохаживается, кто прилёг на траву.

— Трое кутьковских служили со мной в Персии, — шепчет Санёк. — Ну, чисто враги для остальных! Уж как их учили («учили» означало били), а всё без толку. Наверняка они за обиду — того… постреливали в спину во время боя. Но никто их на месте не поймал.

Помолчав, продолжил совсем тихо:

— Твой дрючок в шапке — чисто таковский! Не гляди, что выручил. Завтра может так же и под монастырь подвести. Эдак он свой нрав тешит: представляет себя как бы над всем миром.

Услышанное кажется мне чудным до неправдоподобия: деревенский парень «представляет себя над всем миром»! Какие у него на то основания?

Санёк воспринял моё недоверие как должное: истины, доступные ему, от других скрыты. Посмеиваясь, сказал:

— Почему я дал согласие к нам его взять? Мне стало интересно, чего такое он против нас удумает? Сколь он тонкий на каверзу?

«Тонкий на каверзу…» Я думаю о том, какой странный, загадочный человек оказался рядом с нами. Маленький, неказистый, а из-за него погиб сильный, умный, красивый Павел. А давеча сколько здоровых краснюков отправилось на тот свет из-за него же! К чему он стремится? Откуда в нём способность так независимо, так гордо держаться? Простой крестьянин, «бобыль», как сказал о нём брат. Видимо, и избы-то своей нет.

— И ведь бесстрашный до чего! — шепчу я.

— Так ему дано, — объясняет Санёк презрительно, будто речь о каком-нибудь незавидном свойстве. — За шкирку возьми, об стенку кинь — готов. Не мужик, а насмешка. Зато самовольства — поболе, чем у графьёв. Ему что красные, что белые — он всех ненавидит. Почему? Потому что ни те, ни другие его генералом не ставят.

— Неужели у него такие требования?

— А то нет? — Подумав, Санёк прошептал: — Я гляжу, он к тебе подкатывается. Оно, может, и неплохо. Про кутьковских я слыхал: вдруг им кто-то стал по душе — так они за него на раскалённо железо сядут.

Молчим.

— Щас сядут, — говорит Санёк, — а через час зарежут. Самовольство!

За три дня наша дивизия отбросила красных на двадцать вёрст. Противник понёс потери, но не был разгромлен, как рассчитывал генерал Цюматт. В то время как мы наступали на северо-запад, группа красных войск, верстах в пятидесяти к северу, двигалась на восток. У нашего командования не было сил защитить наш тыл. Мы получили приказ отступать.

Бузулук оставлен. Отходим к Оренбургу, не расставаясь с надеждой завтра же ударить вспять. Месим грязь просёлков, но чувство подъёма не покидает. Господи, как верится в победу!

Дважды перед нами показывались разъезды неприятеля… В нашем тылу уже действуют его отдельные отряды.

Ночью был морозец, и ноги не тонут в грязи. С рассвета мы протопали вёрст пятнадцать. Пасмурный холодный день, мелькают снежинки. Вытянувшийся в колонну батальон приближается к деревне. Мы знаем: на батальон получены деньги от командования, и для нас будет куплен бык. Мы останемся в деревне до утра, вдоволь наедимся убоины… Это здорово подгоняет.

Поднялись на безлесный взлобок: вон и деревня. Из неё вправо, на юг, выезжает обоз. При нём коровы, стадо овец.

— Жители смываются, скотину угоняют? — предположил Вячка.

Ротный посмотрел в бинокль. Люди в обозе вооружены винтовками, видны нарукавные повязки, а их, красного цвета, носят красные. Удаляются под углом к линии нашего движения. Если пуститься за ними напрямую, полем, их можно догнать. Нас бесит: они забрали скот, чтобы вынудить нас взять у крестьян последнее. Того жирного быка, что занимает наши мысли, уводят!

Вызвались желающие нагнать обоз; среди них я, Шерапенков. Нас десятка три с лишним. Старшим — Санёк. Идём вспаханным на зиму подмёрзшим полем, что раскинулось по изволоку. Деревня осталась слева. В отдалении перед нами лысый глинистый гребень, за который перевалил обоз. На гребне, поодаль от дороги, высится скирда соломы.

Когда до скирды осталось саженей двести, застучал пулемёт. Шедший левее и немного впереди меня пензенский парень Пегин будто споткнулся: без звука упал ничком. Двое ранены. Лежим, вжимаясь в начинающую оттаивать пашню.

— Ушлые! — в тоне Санька слышится уважение; он стреляет по верхушке скирды. — Будут нас держать, пока обоз не сбежит.

Несколько минут палим по скирде. Пулемёт молчит. Попали? Санёк считает, что нет:

— За верхом прячутся. А пойдём — ещё пару наших срежут.

— Пегин бедный, — срывается у Чернобровкина, — у него сегодня день рожденья!

— Поели говядины! — разносится по залёгшей цепи. Стонут раненые; их волоком потащили к деревне, куда уже вступает наш батальон.

Санёк, как всегда, обстоятелен:

— Чего уж, сами напросились. Ни с чем возвращаться не с руки. Будем окружать.

Понимаем: пока ползком обогнём скирду, обоз окажется так далеко, что его уже не догонишь. Может, удастся хотя бы захватить пулемёт. Пригодился бы он нам здорово: в батальоне нет пулемёта.

— Гляди вон туда, — Шерапенков вдруг показал мне пальцем на гребень, вправо от скирды. — Замечаешь водороину?

Всмотревшись, я увидел промытую весенними водами рытвину: она тянулась с бугра и пропадала.

— Сообрази уклон местности, — сказал Шерапенков таким тоном, будто он заранее знает, что я ничего сообразить не смогу, — водороина должна заворачивать влево и проходить между нами и пулемётом. Если б ты сидел на лошади, ты б её видел.

Не понимаю, куда он клонит.

— До водороины добегу, — говорит он нарочито мягко, как говорят с глупенькими, — по ней, по ней… и буду у пулемётчика за спиной.

— Да, может, она не доходит так далеко вниз, промоина твоя?

— А куда вода девается? — спрашивает насмешливо и вместе с тем терпеливо (так, чтобы терпеливость была заметна). — В дыру под землю уходит?

Я не сдаюсь: а может, рытвина не заворачивает влево, а проходит где-то справа от нас?

На его лице — презрение. Он даёт мне время его почувствовать. Отвернулся, ползёт к Саньку. Тот задумывается.

— А сколь до неё бежать, до канавы? Срежет он тя.

— Моё дело!

Санёк повернулся ко мне с выражением немого вопроса. У меня вырвалось:

— Я с ним…

Пулемётчик, заметив наше оживление, открыл огонь. Вскрик, ругательства. У нас ещё один раненый.

Бьём из винтовок по верху скирды. Пулемёт опять смолк.

— Я пошёл! — не удостоив нас взглядом, Шерапенков побежал вперёд. Несуразный в шинели, в сапогах, которые ему велики, в огромной папахе. «Одна шапка, — выражение Санька, — пол его роста!»

— Хочет к красным, — возбуждён Вячка. — Ой, уйдёт!

— Если только они его раньше не срежут, — замечает Санёк со злорадством.

Вскакиваю, бегу за Алексеем, изнемогая от сосущего, невыразимо

унылого ожидания: сейчас ударит в грудь… в лицо… в живот…

За спиной — густой треск выстрелов: наши стараются прикрыть нас. Однако пулемёт заговорил: распластываюсь на земле. А Шерапенков бежит, клонясь вперёд: маленький человек, словно для смеха обряженный солдатом.

Заставляю себя вскочить, несусь вдогонку, наклоняясь как можно ниже, зубы клацают. Впереди, в самом деле, — рытвина. Пулемёт строчит: вижу, как на пашне перед Алексеем в нескольких точках что-то едва уловимо двинулось. Это в землю ударили пули.

Я бросился в сторону, упал. Въедливо-гнетуще, пронизав ужасом, свистнуло, кажется, над самой макушкой. Последняя перебежка — и я в канаве. Шерапенков встречает ленивым укором:

— Когда знающий учит, надо язык в ж… и слушать, а не вякать.

Пополз по водороине, которая, подтверждая его догадку, заворачивала на бугор. В ней тающий ледок, местами стоит вода. Я промок и вывозился в грязи так, как мне ещё не случалось; кажется, даже кости отсырели.

— Долго ещё?

Он, не отвечая, выглянул из рытвины, нехорошо рассмеялся. Осторожно высовываюсь. Скирда от нас слева и по угорью немного выше. До неё саженей тридцать. Пригибаясь, от неё спешат уйти за гребень двое, задний несёт ручной пулемёт.

— Это они от нас с тобой бегут, — посмеивается Алексей. — Видали, что мы из-под их пуль в водороину проскочили: не желают спинку-то подставлять. Но припоздали маненько… — прицеливаясь, бросил мне: — В заднего!

Стреляем одновременно — упал. Другой побежал, не оглянувшись.

Мы погнались, часто стреляя с колена. Алексей третьим выстрелом уложил и его. Торопимся к пулемёту — «льюис» с магазином-тарелкой.

— Замечательная вещь! — тоном знатока произносит Алексей. С трудом подняв, осматривает «льюис», поглаживает сталь.

Подбежали наши. Санёк жадно глядит на пулемёт.

— Себе берёшь? — спрашивает на удивление уважительно.

Шерапенков опустил «льюис» наземь, повернулся к Саньку спиной, снисходительно-высокомерно, не передать словами, уронил:

— Ладно. Я себе ещё достану.

Подъехали всадники в красных бескозырках: это гусары, их дюжины три. То, что осталось после наступления от приданного нашему полку эскадрона.

Узнав об уходящем обозе, гусары вызвались его настигнуть, если со скирды будет «снят» пулемёт. Теперь они пустились за обозом ходкой рысью.

Редкое счастье: хозяева, в чей двор мы вошли, топили баньку, собираясь париться. Я, вымокнув в канаве, до дрожи окоченев, попросился в баню. Алексей, который трясся от холода, как и я, пошёл париться только после приглашения, повторённого мной дважды.

А Санька баня интересовала во вторую очередь.

— Мать! — кинулся к хозяйке. — У нас деньги есть, всё оплатим! Даёшь лучший харч?

Крестьянка поставила на стол чугун варёной картошки, горшок гороховой каши с подсолнечным маслом, положила каравай хлеба, связку вяленых лещей. Билетов и Чернобровкин, собравшиеся было с нами париться, не стерпели и набросились на еду.

Банька плохонькая, топится по-чёрному, но я блаженствую. Алексей же моется основательно и бесстрастно, точно делая важную, но не радующую работу. Я думал: раздевшись, он окажется совсем тщедушным. Но нет: у него мускулистые, отнюдь не тонкие ноги, и в теле чувствуется здоровье. В пару бани язвы на спине стали буро-пунцовыми, словно бы увеличились и углубились. Когда Алексей окатывается водой, вода розовеет от сукровицы.

— Саднят раны? — спросил я.

— Рубаха присыхает. Рвать надо, а неохота. Так и ходишь: по неделе и больше, — он не к месту рассмеялся. — Наконец-то дёрнешь: кэ-эк гной брызнет! А там уже чистая кровушка пойдёт.

Я сказал, что ему, наверно, нужно постоянно делать перевязки.

— А кто будет? Нюрка мне стирать не хотела и не велела Лизке.

Нюрка, оказалось, — жена брата. Лизка — старшая дочка. По словам Алексея, он однажды даже избил золовку «за злобство». А «после брат сзади прыг и оглушил». Вспомнив нехилого брата, я подумал, что ему, конечно, вовсе не требовалось прыгать на Алексея сзади. Но я промолчал. Спросил, из-за чего у них рознь.

— Потому что я, — надменно сказал Шерапенков, — в моём праве! И если б не они, у меня могла бы жизнь быть.

Рассказал, что окончил церковноприходскую школу с похвальным листом и отец решил: он больше для городской жизни подходящ. Отвёз в Самару к известному мастеру Логинову: учиться делать дамские ридикюли и другую галантерею. В учении Алексей показал дарование. Отец, умирая, оставил всю землю — восемнадцать десятин — старшему брату с условием «довести Алёшку до дела». Началась германская война; он уже работал помощником Логинова. Попросился на войну. Когда вернулся с фронта после ранений — захотел открыть собственную мастерскую, но требовалась известная сумма. Брат

в то время «имел двух лишних бычков». Денег от их продажи Алексею хватило бы.

— Я ему говорю: уважь моё право! Наказал отец меня до дела довести, так доводи!

Но брат, «а особливо Нюрка», напирали, что он «уже доведён до дела» — работал у Логинова, пусть и дале работает.

— Я говорю: это было полдела. Дело — когда оно моё!

Не дали денег брат с женой. Тогда он пришёл к ним в отцовскую избу: «Буду вовсе без дела жить. Я в моём праве!» Брат не выгнал, терпел; золовка «злобилась, выживала». Тут случился Октябрьский переворот, вскоре в село нагрянула красногвардейская дружина — «и двоих быков свели, и ещё и кабана!»

Вспоминая это, он трёт безволосую грудь мочалкой, удовлетворённо посмеивается.

Я спросил, что он думает о большевиках.

— Выжиги! Читал я ихи листки: всеобщее счастье, мол, дадим. Разве ж счастье может быть всеобщее? Ты погляди, сколь горемык кругом: тьма-тьмущая! Куда они денутся? А несчастные рожаться, што ль, перестанут? Одни дураки в это счастье и верят, но, скажи, как много их! То-то отец-покойник говорил: дураков в пашню не сеют, они сами плодятся.

— И как же ты, — сказал я, — это понимал и побежал к красным нашу разведку выдавать?

Он глядит на меня в упор. Глаза ледяные, немигающие.

— Я на рыбалку собирался: сижу под сараем, лажу верши, а твой брат по нашему двору туда-сюда, ляжками играет, распоряжается. Иди, мне говорит, напои мою кобылу! Я говорю: разве вы, господин поручик, меня слугой наняли?

«Господин поручик…» Брат был подпоручиком. По армейскому неписаному правилу, Шерапенков опустил приставку «под».

— А он… — в голосе Алексея — неизбывно-горчайшая обида, глаза подёрнулись влагой, — он как сунет мне кулаком в спину, в больное место. Здоров, сволочь! Я от боли упал. Ну, думаю, я тя обласкаю…

Помолчал, потупившись. Поднял на меня горящий взгляд.

— Если б можно было: мне трёхлинейку — и ему! С десяти саженей — «цельсь!» — Голос стал дрожливо-яростным, в уголках рта — пена. — По счёту «три»… Я б его сшиб! И нисколь бы не жалел, и хер бы с ним!

Последние слова меня резнули по нутру, точно глотнул чего-то кипящего. Я поспешно окатился водой, стал одеваться.

У гусар один убитый, трое раненых, но скот возвращён в деревню. Командир батальона уплатил хозяину за огромного вола, и наутро следующего дня мы ели вожделенный суп со свежим мясом, густо

приправленный картофелем и крупой. Каждому досталось почти по два фунта говядины. Наевшись, мы присолили оставшиеся куски и спрятали в вещевые мешки.

Утро пронизывающе-сырое, туманное, вот-вот посыплет мокрый снег. До чего не хочется покидать натопленные избы! Но трубят сбор. Командир батальона, пройдясь перед строем, вдруг называет фамилии: Шерапенкова и мою.

— За вчерашнее дело объявляю благодарность и всем ставлю в пример! — обеими руками пожимает руку Алексею, потом мне, обдаёт душком самогона.

— Р-рад стар-раться! — Шерапенков крикнул это напирающе-грубо, точно был начальником и выругал подчинённого.

Командир уставился в замешательстве. Я вытягиваюсь, с пылом выкрикиваю положенные слова: вызываю довольную улыбку немолодого штабс-капитана. Запоздало осознаю, что меня подхлестнул страх за Алексея.

Когда вернулись в строй, Вячка (он с вечера терпел, но так и не пересилил любопытства) спросил Шерапенкова:

— Извиняюсь… не изволишь сказать, зачем ты вчера больше всех старался?

— Если я пошел воевать, — с расстановкой проговорил Алексей, не двинув головы в сторону Вячки, — то я воюю! — Это был тон повелителя. Билетов аж икнул, встав на месте. Глядя на него, Санёк загоготал.

Батальон походной колонной выступил из деревни, держа на восток. В поле разошёлся обжигающий ветер. Запорхал снежок, скоро по лицу стала стегать колкая крупа. От командира полка прискакал верховой. Позже мы узнали: привёз сообщение, что неприятель пытается отсечь нашу дивизию, соединяясь с краснопартизанскими отрядами и образуя заслоны у нас на пути.

После трёхчасового марша по безлюдной равнине показалось село. На подступах к нему видны тут и там стога сена. Хотя крупа метёт довольно густая, было замечено, как с одного из стогов скатилась и исчезла фигурка.

Командир остановил движение, выслал на разведку в село кавалеристов, отступавших с батальоном. Ждём в поле, подняв воротники шинелей, зябко горбясь, поворачиваясь спинами к ветру. Санёк достал из вещмешка воловье ребро и с удовольствием его обгладывает.

— Дотерпел бы до избы! — бросил Чернобровкин.

— А коли её не будет? — рассудительно говорит Санёк.

И тут от села понеслась трескотня выстрелов. Разведка во весь опор скачет назад. В мути снегопада блеснули огоньки на стогах и возле. Стоявший рядом со мной доброволец рухнул на колени, смотрит на вывернувшуюся ступню, хватает ртом воздух

— пуля перебила кость. Команда: рассыпаться! Не успели мы развернуться во фронт, как от стогов пошли цепями красные. Санёк прилёг наземь с «льюисом», пулемёт заработал — привычно понесло пороховой гарью.

Двигаясь на нас с востока, противник стремится зайти на севере за наш левый фланг. Санёк сосредоточил огонь «льюиса» на этой группе. Я и Шерапенков оказались на правом фланге. Верстах в полутора к югу от него темнеет перелесок на горке. Передали приказ занять горку, чтобы обеспечить батальону безопасность с этой стороны.

Нас человек около сорока, бегущих по отлогому подъёму к перелеску. Командует нами вчерашний учитель труда начального училища. Вдруг из-под шапки у меня хлынул пот, круто останавливаюсь: на высотке — конники.

Выезжают, выезжают из редкого леска. Вся вершина покрылась конницей. С нею мы ещё ни разу не имели дела. У меня винтовка заходила в трясущихся руках. Ужас стиснул грудь.

— Что делать, братцы? — болезненно-жалко вскрикнул кто-то из наших.

Учитель закричал:

— Бегом назад к своим, под прикрытие пулемёта!

— Не-е-ет!! — стегнул свирепый громкий, неожиданно низкий для его роста голос Шерапенкова. Необычно маленький, кажущийся неуклюжим, он странно быстро набежал на учителя, подпрыгнул — ударил того прикладом по лопатке.

— Куда гонишь, срань?! Порубят, как курят! — Потряс винтовкой над головой, от чего его фигура показалась ещё короче: — Стоять! Ни с места! — в невероятно раскатистом, звучном голосе — подавляющая непреклонность.

Его… слушают!

Так, будто делал это много раз, он скомандовал встать тесно в ряд, изготовиться к стрельбе.

— Иначе не спастись! Они ж догонят легко!

Человек десять побежали, остальные выполнили команду. Тёмный сплошной орущий вал конницы хлынул на нас с горки. Ноги уловили дрожь земли и будто отнялись. Сейчас в безумии зажмурюсь, повалюсь ничком, прикрывая голову руками.

— Их бить — легче лёгкого! Огонь! — тоном неумолимой власти, с заразительным торжеством кричит Шерапенков.

Чувствую, как у меня под шапкой волосы шевелятся, но руки подчинились приказу. Бью, бью из винтовки в ужасающе близкую, стремительно вырастающую лавину конских, людских тел. Слева от меня Шерапенков, безостановочно стреляя, заключил непоколебимо-упрямо:

— Стой — и никакая конница тя не возьмёт!

Никогда ещё я не видел, как на всём скаку валятся, летят кувырком лошади, всадники.

В порыве неистового кошмара торопишься целиться и разить, разить, прижимаясь щекой к ложу полновесно отдающей в плечо послушной родной трёхлинейки. Щемяще-жалобное конское ржание, людские вопли. Кажется, даже слышен треск костей. А справа, слева резко и часто хлопают, гремят, оглушительно шарахают винтовки.

В шумной огромной мятущейся волне, что вот-вот поглотит нас, вдруг открылись просветы, они быстро ширятся. Конница рассыпается, обтекая нашу недлинную, беспрерывно стреляющую стенку. Поворачиваемся, ловим на мушку цели. Те из наших, кто побежал, теперь тоже ведут огонь по разрозненным кавалеристам. Как они спешат ускакать за горку!

— Ур-ра пехтуре! — поощрительно провозгласил Шерапенков.

Еле сдерживаюсь, чтобы не обхватить, не поднять его, восторженно тормоша.

Бой с красной пехотой продолжался до темноты, в село мы не пробились. От командира полка поступил приказ двигаться на север. Там два наших батальона в упорном бою отбросили неприятельский заслон. Мы соединились с ними, вошли в начинающийся на востоке лес, тут и заночевали.

Палаток на всех не хватило. Устроив подстилки из нарубленных веток, добровольцы спят у костров. Ночь промозглая, тает снег, с деревьев сыплются капли. Я и Шерапенков пристроились возле двух положенных рядом лесин. Огонь медленно ползёт по ним, обдавая спасительным жаром. Алексей разулся, протягивает к пламени ступни. Я лежу на боку, расстегнув шинель, гимнастёрку и подставляя жару грудь.

— Про счастье треплются, — рассуждает Шерапенков о красных. — Ненавижу, когда с этим словом балуют. Это меня прям по больному месту, как шилом в пупок.

Чувствуется, он хочет поговорить. Слушаю с интересом.

— Ты из каких будешь? Из капиталистых?

— Нет, — ответил я, — мы небогатые. Отец был инженером, мосты строил, раньше мы имели состояние. Потом вошли в долги. А после смерти отца и вовсе в долгах.

— Ага. Значит, красных победите, чего ты выиграешь? Взысканье долгов?

— Ну, если так глядеть — получается… — я улыбнулся.

— Получается! — повторил он. — Ты не смейся. Смеху тут нет. Это ты сейчас не задумываешься, а после поймёшь… — последние слова он произнёс едва слышно и словно бы забылся. Потом спросил: — У тебя любовь была?

Отвечаю, что вроде бы, а вообще — не по-настоящему.

— Не по-настоящему! — повторил он язвительно и с непонятной злостью, словно уличая меня в чём-то, выдохнул: — А если — по-настоящему? — затем, без перехода, прошептал: — Возьми пойми, кто моё счастье скомкал…

Он уставился в огонь, худое заострённое лицо выглядит измученным.

— Где я по галантерее учился, у Логинова… дочка — ну, что она из себя? А так легла к ней душа! И Логинов был не против за меня её отдать. Ты, мне говорит, по мастерству далеко пойдёшь, богатым станешь. А она, Варька-то, ерепенится: больно маленький! Сачком тя ловить? Вот с того я и пошёл на германский фронт. Разве ж я не могу себя выказать?

Он сел, пристально смотрит на меня, опасаясь усмешки. Убедился, что я слушаю с сочувствием.

— С войны я ей верные письма слал, от сердца. Вернулся: она уж ко мне по-другому. «А что, — говорит, — Алёша, и выйду!» Но теперь Логинов крутит. Оказывается, к Варьке сватается зеленщик — с малым, но с капитальцем. Я Логинову: «Что ж вы, Иван Михалыч, сами сулили…» А он: «Не кори, Лёша, не могу я свою выгоду упускать. Сноровистый ты человек, но всё ж таки нужна надбавка. Даю тебе полгода сроку: открой своё дело — завтра за тя Варьку отдам!»

Шерапенков прилёг головой ко мне:

— Зато я и рвался своё дело открыть, а брат и его баба не дали… знаешь уже. Вижу — раз так, не стану я полгода тянуть! — голос зазвучал сумрачно-гордо. — Отписал из села Логинову: не будет у меня своего дела. Ну, вскоре знакомец из Самары мне пишет: отдана Варька за зеленщика. Теперь ответь, — ожесточённо спросил Шерапенков, — кому я за мою радость должен? Брату с золовкой? Логинову?

Не знаю, что сказать, чувствую горячую жалость к Алексею.

— А средь вас мне лучше, — тихо говорит он. — Я тебе по чести: я на войну пошёл за Варьку, за любовь. Чтоб своё дело открыть — тоже пошёл бы. Ну, а вы-то, молодняк, я гляжу, ни за то, ни за другое воюете. А за что?

— За то, чтобы никто не обманывал народ, — отвечаю, вспомнив разговоры моих старших братьев с друзьями. — Чтобы народ сам по каждому уезду, волости, по каждой деревне себе власть выбирал!

— Ну а вам-то с того какая прибыль? Он по себе выберет, а тебе, скажем, от этого ничего хорошего?

Я в затруднении. Подумав, говорю:

— Если народ станет свободным, хорошо будет всем!

— Ты веришь? — не сводит с меня горящих глаз. — За это себя

кладёте?! — Молчит минуты две, шепчет: — Божьи вы люди…

Заслоны красных нам больше не встречаются, но неприятель настойчиво наступает на пятки. Сегодня спозаранку наш батальон удерживает позицию на опушке осинника, обеспечивая отход основных сил. После неудавшейся атаки красные залегли в поле, постреливают в нас с расстояния около версты.

Я пристроился за упавшей трухлявой осиной. Рядом — Санёк с «льюисом». Шерапенков влез на дерево в десяти шагах поодаль: хочет подстрелить командира красных.

— Старается, — многозначительно говорит Санёк об Алексее, достаёт из-за пазухи сушёную воблу, колотит ею о ствол пулемёта, чтобы легче отстала чешуя. — Об чём он тебе калякает?

Зная, что Санёк ехидно посмеётся, скажи я ему о любви Алексея, молчу об этом. Уклончиво отвечаю: говорит, мол, ему хорошо среди нас.

— Хорошо? Ему?!

— Ну да! Раз мы воюем за свободу народа, свою жизнь кладём… И вообще, мы — Божьи люди.

— Чего-о-о? — у Санька тревожно-изумлённое, растерянное лицо. Спустя минуту протянул не то с восхищением, не то с ядовитой злобой: — Дрючо-о-ок!

Над нами одна за другой свистнули пули — я спрятался за гнилую колоду. Санёк не шелохнулся, держа голову над ней, как и держал. Обгладывая рыбью спинку, задумчиво произносит:

— А я надеялся — он человек. Г-гадственный сучонок! — Решительно доказывает: — Легко балакать, что мы — за народ! А разве не видно: мы для него — одна тягота? Харч забираем, а то и лошадей. Начальство, бывает, плотит, но чего теперь деньги стоят? Это раз! А как я ему в ухо дал? Как мы его к стенке ставили? Тоже Божье дело али семечки? Но даже, окромя всего этого, ты погляди сам на нас, — назидательно толкует мне Санёк, — мы-то — Божьи люди? — Заходится едким мелким смехом. — За круглого дурака считает тя.

Не могу не смеяться вместе с ним. Быть дураком не хочется. Я смеюсь, но мне больно, как от меткого, жестокого удара. Мне больно от пронзительного чувства собственной беспомощности. Если Алексей обманывает?.. Обманывает — а я ему верю.

Верил до сего момента… Доводы Чуносова беспощадно убедительны.

Вспоминаю: мы проходили деревней, Вячка забежал в избу, в этот момент в ней никого не оказалось, в печи стоял горшок с топлёными сливками. Вячка вынес его, и мы стали ложками поедать сливки, хотя прибежала хозяйка и кричала на нас. А как-то я пообещал крестьянке заплатить за шерстяные носки и не заплатил: денег не было. Тёплые

носки сейчас на мне. И ведь Шерапенков всё это знает. Знает, но пылко, с горящими глазами шепчет: «Божьи вы люди…»

— Зачем он врёт? — Санёк поглядывает на осину, на которой примостился Шерапенков. — Красного командира высматривает… Окрестность он высматривает! Чую я, скоро засобачит нам…

Не верить этому?.. А что если Алексей, давеча представлявшийся мне таким искренним, на самом деле изощрённо «тонок»? «Тонок на каверзу» — как выразился Чуносов. Несколько раз выручив нас, попросту нами играет: ублажает своё самолюбие. И ждёт случая…

Отходим негустым чернолесьем, ноги скользят по влажной липкой почве, устланной опавшей листвой. Красные не отстают, стреляют. Нервируя, давяще посвистывают пули, с щёлканьем отбивают от деревьев куски коры, сшибают сучья.

Открылась река в пологих берегах, за ней — шелестящая сухим бурым камышом и осокой низина, а саженей через полтораста — крутой каменистый кряж. Дивизия уже форсировала реку и ушла, уничтожив средства переправы, оставив нам одну лодку.

Больше часа отгоняем красных ружейным, пулемётным огнём, пока батальон, ходка за ходкой, перебирается на другой берег. Наконец Санёк, я, Шерапенков, Вячка и ещё человек семь последними набиваемся в лодку. Гребцы во всю мочь налегают на вёсла: скорей, скорей переплыть реку! Выпрыгиваем на отмель, ноги вязнут в иле. Вот-вот на покинутом берегу появятся красные: примутся расстреливать нас, тяжело бегущих по топкой низине.

— Лёнька, гляди-и! — Санёк рванул меня за плечо.

Оборачиваюсь. Шерапенков остался у лодки. Упираясь в её нос руками, разъезжаясь сапогами по илу, пытается столкнуть её назад в реку. Санёк поднимает «льюис».

— Не-ет! — жму книзу ствол пулемёта.

— Давай сам! — обдал меня брызгами слюны. — Щас в лодку запрыгнет, на дно ляжет: не достанем…

Шерапенков — предатель. Улучил момент — перебегает к красным. Надо успеть убить его, но я колеблюсь. Сейчас его застрелит Санёк. Почему-то не могу этого допустить, я должен — я! Вскидываю винтовку, стреляю.

Он упал боком, поднялся на колени, столкнул лодку в реку. На четвереньках развернулся к нам, выползая из воды.

В смутном непонятном порыве я побежал к нему. Папаха с него свалилась, он медленно ложится животом в грязь.

— Они ж… могли б пловца… за лодкой… — выдавливает прерывисто, — и переплыли б удобно. А так — хрен!

Лодку уносит течением. Вымазанной илом рукой он пытается расстегнуть ворот шинели.

— Вы… стрелять скорей…

Приподнимаю его за плечи. Подбежали наши: слушают мой крик — объясняю, в чём дело. Санёк, я, Вячка, Чернобровкин несём Алексея. На его покрытом грязью лице блестят глаза; улыбается:

— Убили меня… чудаки…

Санёк остервенело матерится:

— А ты крикнуть не мог, а?! Гордый — кричать?! Гордый?!

Мы втащили Алексея на кряж, несём по косогору к поджидающему батальону. Ощущаю, как Алексей потягивается, словно вяло пробует вырваться из наших рук. Кричу:

— Санитары!!!

— Умер он, слышь, — говорит Вячка.

Известие, что я убил Шерапенкова, мгновенно всколыхнуло батальон. Нашу историю в подробностях знают все. Встречаю осуждающие, возмущённые, враждебные взгляды. В них чудится мысль: «Ишь, не вынесла душонка, что он таким молодцом показал себя!» Меня колотит нервная дрожь, пытаюсь разъяснить, доказать, что я не нарочно.

— Извольте помолчать! — кричит мне в лицо учитель труда начального училища, снимает шапку над телом Алексея.

Подошёл Сохатский, резко назвал мою фамилию. Встаю перед ним навытяжку. У него негодующее лицо.

— Кто вам дал право стрелять в своих?!

Меня качнуло.

— Ни при чём он, господин прапорщик! — вступился Санёк. — Я виноват.

— И я, — рядом со мной встал Вячка, — я тоже. Мы… мы… эх! — потупился.

Сохатский всматривается в нас поочерёдно.

— Очень странно… — он склоняется над телом Шерапенкова: — Лучший солдат у меня был.

Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз.

Название деревни — Мышки. От Оренбурга в ста пяти верстах.

Владимир ФЛЕЙШЕР

«НЕОТВРАТИМО ВДОХНОВЕНЬЕ...»

Владимир Натанович Флейшер родился в Оренбурге в 1948 году. После службы в армии окончил Оренбургский педагогический институт. Работал преподавателем русского языка и литературы, завучем, директором школы. С 1981 года – директор Оренбургского областного театра кукол, с 1995-го – председатель комитета администрации области по культуре и искусству, с 1996 года – председатель Оренбургского отделения Союза театральных деятелей России. В настоящее время – директор театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор нескольких поэтических сборников. Живёт в Москве.

* * *

Никогда не написать
стихотворенья
Без душевной муки и сомненья
В собственных поступках —
на пути
К мнимому успеху впереди.

Но иду, ошибки совершая,
Двигаясь практически по краю,
И, рискуя всякий раз сорваться,
Продолжаю дерзко улыбаться.

Русского во мне настолько
много,
Что иду своим путём-дорогой
С призрачной надеждой на
«авось» —
И тащу свой непосильный воз.

Только хочется мне верить
(и я верю!),
Что однажды подойду я к
двери,
За которой скрыто вдохновенье,
И опять придёт стихотворенье!

* * *

Неотвратимо вдохновенье,
И жду его я не дыша:
Непредсказуемо мгновенье,
Когда засветится душа.

* * *

Душа — мастерская поэта,
В душе — гармония света,
Душа возносится ввысь
И воплощается в мысль.

Стихи рождаются просто:
Поэт уплотняет воздух
До состоянья густого —
И мысль обретает слово.

* * *

Торжественно и печально,
Едва губами касаясь,
Люблю тебя по умолчанию,
Молчаниями соприкасаясь.

Мне дороги эти молчания
И эти соприкосновения…
От тишины звучания
Рождается стихотворение.

* * *

Толкаю Землю от себя
И двигаюсь вперёд.
На непутёвого меня
Махнул рукой народ.

И недоволен жизнью я,
И не терплю покой,
Но всё же вертится Земля,
Толкаемая мной!

* * *

Полутени и полутона,
Полувсхлипы и полурыданья.
Ни одна душевная струна
Не имеет наименованья…

Душу я свою не сберегу —
Брошу в ноги незнакомым
людям.
Может быть, заметят, подберут
Или вытрут ноги… Будь что
будет!

Человек весь из полутеней,
Полувсхлипов и полурыданий,
И я замер в шаге от дверей
В мир потрёпанных
воспоминаний.

* * *

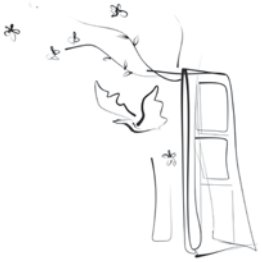
Закат совсем ополоумел:
Он, не дождавшись темноты,
Мгновенно в этот вечер умер,
С размаху, бросившись в кусты.

Тьма залегла, как зверь
полночный,
И приготовилась к прыжку…
Живу надеждой, что досрочно
Рассвет мне ангелы зажгут.

* * *

Тащу, как лошадь ломовая,
Поклажи непосильный груз,
И всё шестёрки открываю —
Не выпадает счастья туз.

И только верую упрямо,
Надежду отправляя в путь,
Что счастье выиграю сам я,
Что повезёт когда-нибудь…
А тот, другой, ловец удачи
Взлетел орлом на скакуна —
И вот уж к счастью лихо скачет,
И пыль за ним едва видна…
Ему завидую до боли
И понимаю: дело швах —
Недосягаем он в застолье,
Неутомим в любых трудах.
И мне одной надежды мало,
Свою подстёгиваю прыть,
Но не достичь мне перевала
И там коня не напоить…
...А всадник тот уже за гранью,
В нерастворённом чуде дня,
Как ратник после тяжкой брани
Поил из облака коня.



Павел КОЖЕВНИКОВ

ШОЛОХОВ

Воспоминания

Павел Григорьевич Кожевников родился в городе Уральске (ныне Казахстан) в 1949 году в казачьей семье. Окончил факультет английского языка Уральского педагогического института. Учительствовал, занимал разные должности в областных и республиканских организациях Казахстана. Ушёл в бизнес, уехал в Америку, работал переводчиком, вице-президентом частной издательской компании. Ныне преподаёт в Колорадском университете. Пишет стихи, прозу, печатается в России, США, Германии, Казахстане. Автор четырёх книг, финалист (шорт-лист) VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017). Живёт в городе Колорадо-Спрингс (США).

На улице шёл мелкий дождь. Ещё вчера было жарко, а сегодня в горах выпал снег и похолодало. Я выпил кофе и сел за компьютер, намереваясь закончить статью, которую обещал одному изданию давно, но всё никак не мог её закончить. Вернее, статья была закончена, но в ней не хватало «изюминки», последней строчки, в которой бы был ответ на вопрос: «современная русофобия, есть ли она, и что делать, как ей противостоять?»

Когда меня попросили написать статью на эту тему, то я немного растерялся. Во-первых, сам поставленный вопрос уже априори подтверждал существование русофобии. С этим, с фактом её существования, у меня «не было проблем»: я её, русофобию, не раз на себе испытал и там, в СССР, и здесь, в США. А вот вопрос: «что с ней делать, как ей противостоять?» меня и удивил, и оскорбил. Как это — что

делать? Ведь русофобия-юдофобия-англофобия и прочии фобии по отношению к людям — это фашизм, а он заклеймён Нюрнбергским трибуналом и многими международными законами.

Я быстро набросал статью, где всё это и изложил. Но, перечитав написанное, я понял, что статья оказалась какой-то «пресной» и скучной, как лекция сельского активиста из советского общества «Знание». И тогда, вспомнив про «конец — всему делу венец», я решил одной строчкой создать этот «венец».

Но дело оказалось нелёгким. Были испробованы разные варианты окончания, и все они меня не устраивали. Выключив комп, я пошёл за почтой. В моей ячейке было несколько писем и биллов, а также ключ от прикреплённого сбоку ящика, куда почтовик кладёт большие пакеты и посылки. Я удивился: мне уже давно никто ничего не присылал. Пакет был увесистым, обмотанным плёнкой, и сразу разобрать, кто мне его прислал, было невозможно. Дома, вскрыв посылку, я увидел обратный адрес. Первые же слова — Россия, ст. Вёшенская — заставили моё сердце забиться «в карьер» от изумления и радости.

Это была посылка от Ю.А. Дворяшина, редактора журнала «Мир Шолохова». В самой посылке были журналы, книга «Об отце» М.М. Шолохова и письмо.

Я вспомнил, что несколько месяцев назад послал в Вёшки свои книги с небольшим письмом, в котором я благодарил всех, кто занимается увековечением творчества Великого Казака. И вот пришёл ответ от Александра Михайловича, внука великого человека, ныне директора Музея писателя. Письмо было тёплым, чувствовалось, что Александр Михайлович с особым уважением и вниманием относится к уральцам, где бы они ни находились. «Как вы, должно быть, знаете, уральская земля — родная для моей семьи…» — написал он мне. Я — знал, знал очень хорошо…

Я устроился уютненько в кресле и стал читать книгу. Вскоре я забыл, что читаю воспоминания сына о Великом отце. Передо мной был рассказ о Шолохове, но не о его величии и значимости, а о будничных событиях, о семье, о его трепетном отношении к жене, детям, друзьям и читателям. Язык повествования был чётким, но довольно колоритным, порой со знаменитой шолоховской ухмылкой, которую сын унаследовал от отца. Я прочитал книгу быстро, жалея, что так мало было написано. Откинувшись в кресле, я попытался чуточку подремать, но сон не шёл. Мои мысли были о прочитанной книге, о человеке, слепившем в огромной степени мой характер, открывшем мир, который я пронёс через всю свою тернистую жизнь.

Михаил Александрович Шолохов… Как же, когда же я впервые услышал это имя? Я стал рыться в закоулках своей дырявой

памяти и не мог вспомнить. Шолохова у нас, в Уральске, знали все. Он был своим! Мало кто знает, что, когда объявили о присвоении А. Шолохову Нобелевской премии по литературе 15 октября 1965 года, — он услушал эту весть, находясь в своём охотничьем домике в Приуралье. В селе Дарьинское, что находится в 30 километрах от города Уральска, с 27 июля 1942 года по конец ноября 1943 года в эвакуации жила семья писателя. Шолохов сам туда урывками выбирался с фронта и работал над первыми главами романа «Они сражались за Родину». В Приуралье он часто в течение 30 лет вместе с семьёй отдыхал от официальной суеты, которая «доставала» его в Вёшках. Охотничий домик, к сожалению, не сохранился. Не знаю, нигде не встречал сведений о том, откуда в «Поднятой целине» появилось название колхоза «Гремячий Лог», но в Зелёновском районе Уральской области был такой хуторок — Гремячий. Вернее, было два хуторка: Верхний Гремячий и Нижний Гремячий. Кто знает, может, они и запали в душу писателя, — ведь там, в уральских степях, и поднималась целина.

Я неожиданно вспомнил детство, вспомнил, как моя мама однажды за столом сказала, что вышел фильм о казаках и скоро его покажут у нас в клубе. Бабушка, которую мы все звали по-казачьи бабакой, одёрнула её строго, тихо сказав: «Шура, ты чаво такое гываришь при детях?» Но мама, рассмеявшись, успокоила свекровь, сказав, что Шолохов — наш, из казаков, что он не запрещён. Помню, как через неделю после этого мать и отец, надев праздничные костюмы, пошли смотреть этот фильм. Мы, пацанята, тоже ринулись к клубу. Он был переполнен, но завклубом не отважился отказать всем желающим — люди сидели и на полу, и на окнах, и даже рядом с экраном. Двери были открыты, в коридоре стояли люди, стояли все три серии. Мы с другом пролезли под ногами взрослых и попытались хоть одним глазком посмотреть фильм. Помню, удалось только увидеть чубатого казака, гарцующего на коне перед красивой женщиной; в следующий миг тётя Зоя, билетёрша, каким-то чудом рассмотревшая детей среди взрослых, выставила нас на улицу. Мы дождались окончания фильма, сидя на ступеньках старого дореволюционного здания, где и был клуб. Не забуду, как выходили люди после этого фильма: женщины с заплаканными глазами, мужчины — с гордо поднятыми головами… Дома мама кратко пересказала бабаке увиденное. Бабака плакала, но её глаза излучали радость и гордость за восстановленное имя «казак», которое было не принято произносить в Уральске долгое время после гражданской войны. Позже и мне удалось посмотреть тот фильм. До сих пор считаю его

сильнейшим из всех экранизаций этого бессмертного произведения.

Однажды — кажется, я был в классе седьмом — к нам в школу приехал Д. Ильченко, сыгравший отца Григория Мелехова в фильме Герасимова. Это было так необычно — ведь наша школа находилась в пригороде Уральска, и мы не были избалованы такими посещениями. Учителя отменили уроки и привели всех нас на эту встречу. Когда появился небольшого роста человек, я немного опешил — он совсем не был похож на Пантелея Прокофьевича. Но это разочарование сразу же прошло, как только он заговорил.

После этой встречи я и прочитал в первый раз «Тихий Дон». Прочитанное просто ошеломило меня! Ошеломило узнаваемостью героев, их судеб, красотой языка, правдивостью, жестокостью жизни. Я по-другому поглядел на себя, на своих односельчан, на родителей. Герои Шолохова попадались на каждом шагу в моём родном посёлке! Мимо меня каждый день проходили гришки мелеховы, аксиньи, кошевые… Во мне проснулась любовь к своим корням, к своей малой родине и, самое главное, — к себе самому. Я страшно захотел быть похожим на Григория; первое время переживал, что нос у меня был прямой, а не горбатый, что чуб был светлый, а не чёрный, что не мог скакать на коне, так как всех лошадей в посёлке «забрал Никитка», что не мог поиграть с шашкой дедыньки, погутарить с ним, убитым в той, проклятой для каждого казака, гражданской войне…

Словом, «Тихий Дон» кардинально изменил меня, сделал лучше, внимательнее к окружающему миру, особенно к своим корням, к истории казачества. Я часто подсаживался к бабаке, спрашивая её о жизни на хуторе, о традициях казаков, стараясь понять силу этих необыкновенных людей, их стойкость и верность Царю и Отечеству, за которые казаков почти всех и истребили. Бабушка охотно рассказывала мне о своём счастливом детстве, юности, пела казачьи песни, частушки, вспоминала различные истории о багренье, Рыжечке… Сколько знала всего эта безграмотная старушка! Слушая её, я изумлялся тому, как были схожи судьбы героев Шолохова и моих стариков! Так же, как и Григорий, мой дед был и у белых, и у красных, так же, как и он, дедынька метался по степи в поиске правды, так же, как и в «Тихом Доне», бабака и весь её хутор уходили в «отступ» вниз по Уралу…

Я стал писать маленькие рассказики, которые тут же рвал, боясь, как бы не увидели их мои старшие братья и не засмеяли. Однажды мой младший братишка посетовал, что никак не может написать сочинение на «вольную тему». Я, будучи уже на первом курсе института, решил ему помочь. Допоздна я пыхтел, но написал. Написал о казаке,

который был ранен и после атаки оказался в больнице. Пётр, мой брат, даже не посмотрев написанное, ушёл в школу. Вечером я его спросил: «Ну как, пятёрка?»

«Какая пятёрка? Ты зачем и откуда это передрал?» — и он с обидой швырнул на стол тетрадку с моим сочинением. Там стояла жирная двойка и подпись учительницы: «Стыдно, молодой человек! Это написано не тобой, а профессиональным писателем. Ты хоть бы удосужился переписать без ошибок!» Я долго смеялся и над учительницей, и над собой. Над собой — с гордостью.

Но один из самых знаменательных дней в моей жизни был тогда, когда я увидел Шолохова вживую. Было это, кажется, в июне 1969 года. Сдав экзамены за очередной курс уральского пединститута, я пошёл на базар, где в то время была остановка автобуса, чтобы поехать домой, на Селекционную. Неожиданно меня окликнул Булат, мой знакомый, который похвастался, что идёт в драмтеатр, на встречу с М.А. Шолоховым, и показал контрамарку, которую ему вручили за отличную учёбу. Видя, как я расстроился, что не смогу попасть туда, он увлёк меня за собой, сказав, что сейчас что-нибудь придумает. И придумал — пока он отвлекал контролёршу, я прошмыгнул внутрь театра. Я до сих пор благодарен ему и судьбе за такой неожиданный и щедрый подарок!

Зал был забит, что называется, под завязку. Вскоре вышли на сцену Михаил Александрович и областное руководство и началось то, что трудно было описать словами: начался разговор мэтра мировой литературы с нами, читателями разных возрастов. Чуть простуженным голосом Шолохов неторопливо рассказывал о современной литературе, давал советы молодым людям, шутил и делился своим опытом. Но из самого запоминающегося на той встрече были его ответы на вопросы. Их было много, записки просто заполнили стол, ведущий не знал, куда их складывать. Долго и обстоятельно отвечал писатель на них. Память стёрла почти все ответы Шолохова, кроме вот этих:

Вопрос: Как вы относитесь к тому, что сейчас пишут стихи и прозу многие, почти все?

Ответ: Думаю, что это хорошо. Ведь если пишет человек, то он думает. Но все ли пишущие достойны быть в профессиональном СП (Союзе писателей)? Думаю, нет. Я сам член СП, но я не знаю и половины этих «писарчуков».

Вопрос: Какая экранизация вашего произведения вам больше всего нравится?

Ответ: Никакая.

Вопрос: Вы сейчас пишете новый роман о Великой Отечественной войне. Будет ли это вторая эпопея, типа «Войны и мира»?

Ответ: Нет, не будет. Нельзя сравнивать войну 1812 года и Вторую мировую. Масштабы во Второй были значительно больше, неизмеримо больше. Объять

всё это, написать о ней так, как сделал Толстой, можно только силами многих авторов.

Вопрос: Как вы относитесь к Сталину (здесь мы все насторожились, зная особое отношение Сталина к писателю)?

Не могу сейчас точно припомнить слова Шолохова. Но он дал тогда смелую и честную оценку и вкладу Сталина в разгром врага, и его ошибкам. Я удивился смелости писателя, как он, не боясь, хвалил вождя, когда считал нужным, и критиковал, но по-своему, без популярного в то время очернительства.

А вот этот вопрос от молоденькой девушки развеселил и заставил улыбнуться весь зал: «Когда я училась в школе, то часто спорила с моей учительницей по литературе об образе Лушки из «Поднятой целины». Мне страшно нравился этот образ, а учительница говорила, что это самый ужасный герой из всех, описанных в ваших книгах. Скажите, кто прав: я или учительница? Нравится ли Вам Лушка?»

Михаил Александрович, улыбнувшись в усы, ответил кратко: «Пользуясь отсутствием жены в зале, скажу, что да, нравится. А об учительнице — о вкусах не спорят!»

Зал взорвался аплодисментами. Были и другие вопросы, и искромётные ответы писателя.

После встречи мы с другом долго ждали Шолохова позади театра. Наконец он вышел, и мы ринулись к нему за автографом. У меня была крохотная записная книжечка. Михаил Александрович, взяв её, улыбнулся — «Какая большая книга!» — и расписался. Долго я хранил этот бесценный для меня дар, но потом, в один из своих многочисленных переездов, книжечка пропала…

И вот передо мной книга его сына, с письмом его внука. Словно сам Шолохов восполнил ту утерянную подпись уральскому пареньку, в чьей душе он когда-то зажёг пламя любви к Родине, к своей земле, к казачеству…

Чуть позже я сел дописывать статью, которая была как бы ответом одному русофобу. Я перечитал написанное, опять поймав себя на мысли о незавершённости темы. Не поймёт этот человек, ненавидящий Россию, русских, эту статью, не поймёт! «Вот был бы у меня талант Шолохова», — неожиданно подумал я. И в тот же момент я вспомнил, что на одной из страничек присланной книги я подчеркнул какую-то строчку, которую хотел запомнить. Я открыл книгу «Об отце», нашёл её, эту строчку, вернее, параграф, и ещё раз внимательно прочитал: «…бойся, сын, людей, каким нужно объяснять, что такое обыкновенная человеческая правда. Страшным бывает такой человек…»

«Как гениально просто сказано, и как точно!» — подумал я и удалил статью, нажав кнопку «delete». Мне показалось, что Шолохов на обложке книги одобрительно улыбнулся в усы.

Валентина КАПУСТИНА

ПОВЕЛЕНО: «ШКОЛЫ В ВОЙСКЕ ИМЕТЬ»

Валентина Михайловна Капустина родилась в селе Новоуральск Кувандыкского района. Окончила библиотечный факультет Куйбышевского (Самарского) государственного института культуры. Заведует сектором литературного краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской.

«В школе безызвестной
Учим мы детей,
Терпим горе, муку
Уже много дней.

Школа наша тесна,
Грязна, холодна.
И учить не лестно –
В ней тоска одна!

Все столы, скамейки –
Рухлядь: развалились!
Исправлять... Копейки
Мы здесь не добились.

Карандашей, бумаги
В школе не хватает,
И учитель бедный,
Что делать не знает!

И угар, и холод
В школе постоянно,
Печка рухнет скоро,
Здесь ветхо, дрянно!

Бедные детишки!
Вас совсем не любят!
Отцы-старичишки
Младость вашу губят».

Так описал состояние школ Оренбургского казачьего войска в конце XIX века один из казачьих учителей. Это стихотворение процитировал священник В. Покровский в статье «Приход Изобильный», опубликованной в «Оренбургских Епархиальных ведомостях» за 1896 год.

Как отмечают современные историки, в Оренбургском казачьем войске до 1819 года школ не было вообще. В 1819 году Высочайше было повелено: школы в войске иметь. Были открыты 18 школ. Среди них в станицах: Татищевской, Самарской, Алексеевской, Тоцкой, Сорочинской, Ольшанской, в Оренбургском форштадте и других.

Учителя и ученики станичной школы Оренбургского казачьего войска интересовали священника В. Покровского, в указанной выше статье «Приход Изобильный» он пишет: «Для начального образования приходской детворы в посёлке Изобильном в настоящее время имеются две школы, — мужская и женская. И та и другая помещаются в одном общественном здании, разделённом на две половины. Школьное здание тесно. Содержится школа на счёт общества. Время открытия школы в посёлке неизвестно и приблизительно должно быть отнесено к 60-м годам XIX века. Обучение в школе, как и вообще в Оренбургском казачьем войске, обязательное. Тем не менее, встречаются дети, которые по той или иной причине не посещают школы. В 1899 году в мужской школе обучалось 157 мальчиков, а в женской — 87 девочек».

«Учителем в мужской школе состоит поселковый вахмистр Исаков. Помощник у него — урядник Клюся. В женской школе учительница — дворянская девица Сверкунова с домашним образованием и помощница её — дочь казачьего офицера Болобурина. Педагогический персонал получает жалованье от общества: учитель 136 рублей в год, помощник его — 50 рублей; учительница — 85 рублей в год, помощница — 60 рублей. Сверх того учителя и их помощники получают ещё по 50 пудов хлеба».

В своей работе священник мудро заметил: «Как известно, ни одно общественное учреждение, ни одна школа не могут считаться прочными и благоустроенными, если в них не обеспечено вознаграждение служащим. Вопрос этот в казачьих школах до 1882 года в действительности разрешался неудовлетворительно».

Обратимся к более ранним годам. По правилам, разработанным в 1838 году генерал-майором Щуцким, когда в Оренбургском казачьем войске было открыто уже 30 школ, предпочтение отдавалось учителям из казачьего сословия, но при нехватке учительских кадров разрешалось привлекать вольнонаёмных. Для выплаты зарплаты вольнонаёмным учителям деньги собирали: «...с людей состоятельных всей станицы, освобождая бедных,

а учителя войскового сословия обязаны были учить бесплатно, потому что им зачиталось это за действительную службу; впрочем, жителям предоставлялось на добрую волю и платить такому учителю, но плата не должна была превышать 3 рубля ассигнациями в год с семейства, и то лишь состоятельного» (Авдеев П. И. Историческая записка об Оренбургском казачьем войске. — Оренбург,1904 — С.117-118).

Учителя ежемесячно представляли станичному начальнику ведомости об успехах своих питомцев и совершённых ими проступках. Атаман, в свою очередь, за неуспеваемость и плохое поведение учеников мог подвергнуть наказанию их родителей. К концу XIX века родители учеников, допустивших серьёзные проступки либо находившихся «на улице» позже определённого времени, могли быть наказаны и денежным штрафом в размере от 50 копеек до 5 рублей.

«Предметы учения заключались: в чтении, письме, арифметике и Законе Божьем... Вменялось также в обязанность учителям обучать учеников гимнастике, строю и фехтованию саблями и пиками» (Там же. — С. 118).

Школьники разделялись на десятки и отделения. Старшие в отделениях следили за успеваемостью и поведением своих товарищей. Через час или два дети отдыхали, но отдыхали активно: для них устраивались игры, отрабатывались гимнастические упражнения. В воскресенье или праздничные дни учащиеся собирались в школе и строем шли в церковь. Послеобеденное время посвящалось фехтованию деревянными саблями и пиками и, кроме того, тренировке сбивать лёгкими дротиками специальные мишени — соломенные шары, укреплённые на палках. За нарушение дисциплины и плохую успеваемость неизбежно следовало наказание. «Соразмерно вине» ученику могли объявить выговор перед десятком, оставить без обеда, приколоть к рукаву гимнастёрки специальный, свидетельствующий о нерадении, знак, поставить на колени на четверть часа. За грубые шалости и особенно «упорную леность» нерадивый ученик мог «заработать» и телесные наказания — обычно от пяти до десяти ударов розгами (лозунами).

Успешная работа станичных и поселковых школ во многом зависела от качества подготовки учителей. В 1876 году войсковое начальство наконец добилось правительственного разрешения обучать на войсковые деньги 30 молодых казаков ежегодно в Благовещенской учительской семинарии. Но казачья молодёжь продемонстрировала резкое нежелание учиться в этой семинарии. Одной из главных причин нежелания становиться учителями, как указывал историк А. П. Абрамовский, было следующее обстоятельство: после окончания учёбы войсковые стипендиаты

не пользовались никакими преимуществами и получали те же оклады, что и остальные учителя без образования. Кроме того, бывшие семинаристы за год получения стипендии обязаны были отработать в должности учителя не менее 1,5 года, то есть, за три года учёбы — 4,5 года отработки в школе.

В 1871 году 15 мая, по инициативе наказного атамана К. Н. Боборыкина открылся первый съезд учителей казачьих школ. В его работе принял участие петербургский учёный В. И. Водовозов, автор многих книг по методике русского языка и словесности. Кроме лекций он дал показательные уроки и конкретные рекомендации учителям. Газета «Оренбургские губернские ведомости» 24 августа 1871 года писала: «Во время чтений господина Водовозова с самого начала их и до конца зала была полна посетителями, высиживавшими всё урочное время, положенное для учителей. Постоянными и неутомимыми посетительницами съезда, между прочим, были дамы высшего света и посетительницы городских участковых школ, содержащиеся на средства Попечительного комитета о бедных».

В 1896 году благодаря усилиям атамана 1-го отдела Оренбургского казачьего войска генерал-майора А. С. Мелянина были проведены курсы для учителей мужских и женских школ 1-го отдела. Об этих курсах много писала «Тургайская газета» за 1896 год: «История и характер этих курсов, в общих чертах, таковы. Представители власти при разъездах по войску не раз наблюдали непосредственно, что многие учителя и учительницы с незначительным образовательным цензом, не будучи хорошо осведомлены с современными методами элементарного обучения, ведут занятия в школах как бы ощупью». В 1-м отделе решили: «Вызвать в город Оренбург менее опытных учителей и прикомандировать их на месяц к приходским училищам. Попечитель округа и директор училищ выразили полное сочувствие такому начинанию». Десять приходских училищ, в том числе и женских, приняли у себя казачьих учителей. Открытие курсов состоялось 9 сентября 1896 года в форштадтской женской школе, куда прибыли 20 учителей и 20 учительниц, и которых приветствовали: инспектор училищ И. В. Будрин и директор училищ А. Я. Семигановский. Казачьи учителя присутствовали на уроках, которые давали опытные, образованные оренбургские учителя, знакомились с методическими и наглядными пособиями и т. д. «В беседах после уроков с надлежащей обстоятельностью разъясняли им целесообразность тех приёмов, какие применяли приходские учителя и учительницы, и те промахи, какие допускали учителя из казаков». Многие училища во время работы курсов посетили:

наказной атаман В. И. Ершов с супругой и сестрой, начальник штаба Оренбургского казачьего войска П. П. Бирк и атаман 1-го отдела А. С. Мелянин. На закрытии курсов он поблагодарил «представителей учебного ведомства» и «просил не отказать в совете на будущее время».

Качество образования детей оренбургских казаков не позволяло им без дополнительной подготовки продолжать учиться в средних и высших специальных учебных заведениях. В 1860 году при Войсковом штабе открылась школа для офицерских детей, которая по уровню образования намного превосходила обычные казачьи школы.

Священник В. Покровский отмечал: «Среди изобильнинских казаков есть не мало случаев, когда родители стремились дать своим детям среднее образование и даже высшее. Примером последнего может служить А. В. Сиволобов, окончивший Московский университет в 80-х годах и состоящий ныне директором промышленного училища в городе Лодзи. Из лиц со средним образованием сын казака С. М. Красноярцева, окончивший сначала Оренбургское уездное училище, а затем Благовещенскую учительскую семинарию и в настоящее время в сане дьякона давно уже подвизается на поприще церковно-педагогической деятельности. Большинство остальных лиц из получивших среднее образование по преимуществу офицеры Оренбургского казачьего войска».

Войску были нужны собственные кадры не только военных, но и специалистов сельского хозяйства и других жизненно важных отраслей. Например, очень нужны были ветеринары. С 40-х годов XIX века казачье начальство ставило вопрос перед губернатором о подготовке ветеринарных врачей из казаков. В августе 1845 года десять мальчиков из Оренбургского казачьего войска были направлены на учёбу в 1-ю Казанскую гимназию. Обучались они на деньги войскового капитала. «8 сентября 1851 года Департамент военных поселений уведомил Оренбургского генерал-губернатора, что высочайше повелено: малолеток Оренбургского казачьего войска, по окончании ими курса наук в Казанской гимназии, переводить для изучения ветеринарных наук в Санкт-Петербургскую хирургическую академию». В мае 1855 года в Оренбург прибыл первый ветеринар из оренбургских казаков Евмений Кадомцев.

10 ноября (по старому стилю) 1909 года на основании Высочайше утверждённого положения о сельскохозяйственном образовании (26 мая по 1904 г.) была открыта Оренбургская войсковая низшая сельскохозяйственная школа I разряда. Судя по тому, какое важное место стала занимать её деятельность в отчётах гражданской части Оренбургского казачьего войска, она была

гордостью и надеждой войскового правления. В уставе школы о цели её открытия говорилось: «Школа имеет целью подготовление, путём теоретических и практических познаний, сведущих и умелых исполнителей по сельскому хозяйству вообще и, в частности, по садоводству, огородничеству и пчеловодству, а также ремёслам: кузнечному, слесарному, плотнично-столярному (Отчёт по агрономии в Оренбургском казачьем войске за 1911 год. — Оренбург, 1912. — С. 69).

Курс обучения в школе был рассчитан на 3 года и разделялся на 3 класса. Кроме того при школе был организован приготовительный класс, куда принимались дети исключительно войскового сословия, то есть казаков. В школу принимались мальчики в возрасте от 13 до 15 лет в первый класс и от 12 до 14 лет в приготовительный. Все осматривались школьным врачом. Поступающие в приготовительный класс должны были уметь читать и писать по-русски, а поступающие в первый класс должны были к моменту поступления закончить одноклассную школу. Управляющими школой в разное время были люди высокообразованные и в Оренбургском казачьем войске пользующиеся большим уважением. До 1913 года управляющим школой был Павел Александрович Гумбург. Оренбургский дворянин, окончил естественный факультет Московского университета, затем сельскохозяйственный институт, имел чин коллежского асессора. С мая 1913 года управляющим низшей сельскохозяйственной школой стал выпускник Киевского политехнического института Иван Кузьмич Байгузов. В год открытия школы в 1909 году в школе обучалось 11 учеников. В 1914 году с учётом выпускников и вновь принятых было уже 53 человека. Возраст учеников колебался от 12 до 17 лет. Основную массу учеников составляли дети казаков.

Женскому образованию в Оренбургском казачьем войске уделялось гораздо меньше внимания, но всё же в учреждённом в 1832 году в Оренбурге женском училище среди воспитанниц были и дочери казаков. Называлось оно при своём открытии «Отделение Неплюевского военного училища для воспитания девиц». Училище было рассчитано на 40 девушек. Этому учебному заведению покровительствовала императрица. В училище преподавались: Закон Божий, русская словесность, французский язык, арифметика, география, история, чистописание, рисование, церковное пение, танцы, рукоделие. (Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Вып. 11. С. 76-77). Учебный курс был рассчитан на шесть лет, из которых три года приходились на низшие классы и три года на высшие. Позже, в 1855 году, женское училище стало называться

Николаевским институтом благородных девиц.

Интересные документы, касающиеся Оренбургского женского института времён гражданской войны, сохранились в государственном архиве Оренбургской области. «Постановление Войскового Правительства Оренбургского казачьего войска от 26 ноября 1918 г. Отдел народного образования. Войсковой круг постановил открыть 75 стипендий в Оренбургском женском институте для дочерей казаков, погибших или искалеченных в настоящую войну, а так как большинство казачьих детей без подготовки в Институт поступить не смогут, то при Институте открыта подготовительная школа по типу детских садов с тремя отделениями. В настоящее время для зачисления детей в женский институт поданы прошения казаками и неказаками, по которым были получены заключения от Окружного правления 1-го Округа. Войсковое Правительство, рассмотрев прошения об определении дочерей в Институт, нашло возможным:

1. Назначить войсковые пансионерские стипендии в Институте в размере 1000 рублей из сверхсметного кредита на открытие 75 стипендий следующим:

— дочери вдовы генерал-майора Хлебникова, Валентине;

— дочери вдовы есаула ОКВ Марии Смородиной;

2. Дать пансионерские стипендии в приготовительной школе при женском Институте дочерям убитого войскового старшины Алексея Половникова: Наталье — 10 лет, Нине — 9 лет, Надежде — 8 лет;

— дочерям вдовы оружейного мастера — Вере и Пелагее Вагиным;

— дочери вдовы оружейного мастера Анне Петиной;

3. Дать единовременные пособия для уплаты за право учения в 120 рублей вдове Наталье Щипачёвой на обучение внучки Елены Баевой».

(Материалы о назначении воинских стипендий воспитанницам женского Института, пострадавшим от большевиков. Ф. 1912. Оп. 2. Д. 58).

Большинство прошений от казачьих вдов похожи на прошение казачки из Красногорской станицы Елены Ивановны Истоминой: «Муж мой Алексей Гаврилович Истомин убит большевиками при вступлении Каширинского отряда в наш посёлок. Кроме того всё наше имущество разграблено большевиками и после мужа у меня на руках осталось четверо и я не в состоянии приобрести им прокормление. А потому покорнейше прошу вас взойти с ходатайством о принятии моей дочери Анастасии на имеющуюся в войске стипендию...» К сожалению, как показала история, чаяниям оренбургских казачек, связанным с обучением дочерей в девичьем Институте, сбыться было не суждено.

Вадим АНГАРОВ

НА КРАЮ РУСИ ОБШИРНОЙ

Вадим Николаевич Ангаров родился в 1943 году в Кустанае Казахской ССР. Детство и юность провёл в Уральске Западно-Казахстанской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт, работал в Особом конструкторском бюро института космических исследований Академии наук СССР, позже РАН. Главный конструктор микроспутников. Имеет почётное звание «Заслуженный создатель космической техники» Федерации космонавтики РФ и другие награды. Живёт в Тарусе Калужской области.

На краю Руси обширной,
Вдоль Урала берегов,
Проживает тихо, мирно,
Войско кровных казаков.

Песня Уральского казачьего войска

УРАЛЬСК

Мне б только знать отныне,
на века,
Приняв в родню всю даль
страны огромной,
Что — главное — останется
река,
На берегу которой молвлю:
— Дома!
Татьяна Азовская

Уральск!.. Это слово — произнесённое вслух — при мне, особенно из уст незнакомого человека, где-нибудь в пути, на вокзале, в аэропорту, чужом городе, куда частенько заносила меня какая-либо нужда, даже в вечной повседневной суете жизни —

всегда заставляет меня внутренне вздрогнуть. Так, наверное, вздрагивает пожилой уже человек, когда при нём вдруг кто-то посторонний назовёт фамилию, имя и отчество его матери или отца, которых давно уже нет в живых...

И сразу нахлынут широким, горячим степным потоком воспоминания детства — самого счастливого времени моей жизни.

Урал в ледоход, с лёгкостью крушащий метровый лёд, поднимающий огромные льдины, его безудержный весенний разлив на Бухарскую сторону — аж на семь километров до Подстёпного, — время, когда мы, уральские пацаны, бросали все свои нехитрые дела и рвались на лодках в этот чарующий, сказочный мир воды и солнца. Стаи перелётных птиц в небе, редкие лесистые и степные островки, пока не покрытые водой могучей реки, но уже одетые нежной зеленью тальников, травы и вкусно-кислого щавеля, вырвавшегося из-под земли на солнцепёке.

Три реки словно обнимали город: с Самарской стороны — дремлющий, почти стоячий, поросший камышом и кувшинками Деркул; спокойный, принявший в себя его воды тихий Чаган; со стороны Бухарской — могучий, вобравший в себя их сонную силу, крушащий весной на стрежне высоченные яры и тихо отдыхающий на светло-жёлтых песчаных отмелях в летний межень — Урал. Седой и древний, внушающий благоговейное смиренье не только теперь уже тихим степнякам-кочевникам — калмыкам и казахам, но даже лихим и отважным яицким казакам, которые вместе с соседями — оренбургскими казаками — были защитниками юго-восточных рубежей России на протяжении веков. Урал — второй после Волги родитель Каспия.

Уральск — казачий, русский, губернский, весёлый, шумный и бесшабашный в дни праздников и гуляний, и тихий, по-азиатски сонный в серые будни, особенно зимой, в лютые морозы со степным пронзительным ветром и свистящей позёмкой. Уральск в летний зной, с ветерком, со скрипящим на зубах «уральским дождичком» — степной пылью. И в тихие дни, когда на солнцепёке просто нечем дышать, а в степи за глоток холодной воды (я уже не говорю о прохладной, сочно-сахарной мякоти степного арбуза, извлечённого из ямы, закрытой камышовым матом, или из-под навеса на бахче) ты готов (прости Господи!) душу отдать.

Вспомнишь тогда и освежающие воды Урала, выходя из которых на горячий степной ветерок и остывая до мурашек на коже, говорят: «Как заново родился!» И хочется опять лечь и зарыться в тёплый, чистый песок реки, согреваясь его теплом и вдыхая до боли знакомый и близкий запах (странно — вроде бы песок не пахнет?) родной земли — как вдыхает запах матери младенец, засыпающий на её груди.

А степная и луговая охота, а рыбалка с кострами, ухой и шулюмом под широким степным звёздным небом?

А Михайловский «старый собор» на высоких ярах, словно парящий над Уралом, лесными и луговыми далями за рекой и дальше над всей Бухарской степной стороной на сотни и тысячи километров?

И всё это — уже заграница?!

Как это горько, как болит душа...

КАК ДЕД МИТРИЧ МЕНЯ ПЛАВАТЬ УЧИЛ

Представьте себе такую картину — город Уральск в пятидесятые годы (теперь уже прошлого столетия) в жаркий июньский полдень, через уральный деревянный свайный мост (длина его приблизительно 300–350 метров) идёт ватага ребят от семи до десяти лет. Все в трусах, до черноты загорелые, с выцветшими от яркого солнца волосами на голове. Ноги и руки поцарапаны колючими плетьми ежевики, обожжены крапивой, на ступнях, щиколотках и голенях ног почти у всех «цыпки» — вечные спутники лета, когда часто выходишь из воды и кожа, высыхая на ветру, дубеет и лопается (и никакие мамины лечения, смазывание сметаной не помогают — не успевают заживать). Носы у всех облупленные и красные от солнечных ожогов. Ватага доходит до середины моста — до баржи, которую разводят один раз в сутки для пропуска пароходов и буксиров с баржами, гружёнными лесом, гравием и другими стройматериалами, — и начинает прыгать с перил баржи в воду. А один пацан, обычно лет семи, ещё не умеющий плавать, остаётся на мосту с вещами, отданными ему уплывающими со словами:

— Мотри, не потеряй курево[1] и спички в кармане рубашки!

Оставшийся на мосту с завистью смотрит на уплывающих товарищей и, понурив голову, идёт пешком к месту купания, неся в руках оставленные ими нехитрые пожитки. Долгое время этим пацаном был я. И можно понять, как мне не терпелось научиться плавать и нырять как мои сверстники, уральские казачата. Но все мои попытки научиться этому «искусству» самостоятельно и с помощью моих друзей не приводили к желаемым результатам. Не помогали и уроки моего отца, который хорошо понимал, что жить в трёхстах метрах от берега Урала и не уметь плавать ещё и опасно (каждый год в Урале тонуло много людей). Держаться за короткую доску двумя руками и работать ногами я научился быстро, но едва выпускал доску из рук — сразу шёл ко дну и хлебал уральную водичку и ртом, и носом.

---

[1] Тогда, в послевоенные годы, мы — пацаны, к сожалению, начинали курить рано.

Всё изменил случай, когда отец в конце мая уехал с театром на гастроли на целый месяц. Однажды я увидел, как перевозчик дед Митрич (полное его имя — Евстафий Дмитриевич, но нам было трудно его выговаривать) выловил и притащил на лодке к берегу очередного утопленника, всплывшего на поверхность реки, при этом строго выговаривая сыну Ивану за то, что он до сих пор не научил плавать своего пятилетнего Пашку. Он грозился это сделать сам и я, набравшись смелости, попросил заодно и меня научить плавать.

— А не боисся? — спросил дед.

— Боюсь, — сознался я.

— Это хорошо, что сознаёсси, это Богом дано людям бояться гнева Господня за непотребные дела людские, а за благие дела учись страх перебарывать в себе, и Бог тебе в этом завсегда поможет. А скока же тебе годков-то?

— Семь, — ответил я.

— Давно пора! Вот завтрева к обеду приходи сюды и начнём, благословясь, — сказал дед.

Ночью я спал плохо, всё переживал — не ударить бы лицом в грязь перед дедом и, главное, перед пятилетним его внуком Пашкой. С утра уже был на берегу Урала, где была стоянка перевозчиков-лодочников. Деда Митрича не было видно. К обеду пришли на берег дядя Иван с сыном Пашкой и, поздоровавшись со мной, пояснили, что дед сейчас приплывёт с того берега, куда отвозил женщин доить коров, пасшихся на Бухарской стороне. Дед пообедает, и начнём учиться плавать.

Через четверть часа появилась его будара, дед Митрич высадил на берег семь женщин с полными молока подойниками, и каждая налила по литру молока деду в ведро — плата за перевоз. Появившаяся на берегу жена Ивана принесла деду обед, а молоко забрала домой. Отобедав, дед пригласил нас сесть в будару. Предварительно поинтересовался — умею ли я смотреть под водой? Я с удивлением спросил:

— А разве можно под водой открывать глаза и смотреть?

— Не токмо можно, но и должно, — сказал Митрич. — А то как ты с закрытыми зенками мырять-то будешь, где дно, а где небо как отличать станешь? Ну да это не бяда, это мы быстро поправим.

Он выгнал нас с Пашкой из будары и тут же, зайдя в воду по пояс, позвал нас к себе, поставил друг против друга и сказал, чтобы мы взялись за руки, потом вздохнули поглубже и, задержав дыхание, присели так, чтобы глаза оказались под водой. По команде деда нужно открыть глаза и посмотреть друг на дружку под водой. Так мы и сделали, труднее всего, оказалось, заставить себя открыть глаза под водой. А потом мы с Пашкой смотрели друг на друга под водой и делали рожи, гримасничали, и так нам это понравилось, что дед еле остановил нас, сказав:

— Ну, хватит шалопутить, поплыли главным делом заниматься — учиться плавать, значит. Отплыли вчетвером — дед, дядя Иван, Пашка и я. Дед сидел за кормовым веслом и направил лодку в залив перед песчаной косой, в этом месте течение было не таким сильным, но глубина была приличной — метра 2-3. Лодка остановилась и медленно дрейфовала по течению. Дед снял штаны и, оставшись в белых кальсонах с завязочками, начал давать последние советы, как надо вести себя, когда окажемся в воде:

— Перво-наперво, перед тем как в воду сигать, наберёте побольше воздуху в грудя и затаите дыхание, а как окажетесь в воде, бейте руками и ногами, чтоб, значит, на воде удержаться, и варку[2] держите повыше, чтобы мурло[3] над водой было, а мы с Иваном вас подстрахуем, ежели топнуть вздумаете».

Я подумал, как же я смогу прыгнуть в воду — ведь я точно знал, что плавать не умею. Но всё оказалось гораздо проще — дед взял меня в охапку и с криком — «вдохни глыбже и не дыши» — бросил меня за борт. Попав в воду и погрузившись с головой, я отчаянно замолотил руками и ногами и вдруг понял, что не тону, а всплываю. И дед Митрич кричит и машет мне руками:

— Плыви ко мне!

И я поплыл и ухватился за руку деда, которую он протянул мне через борт, и только тогда я выдохнул воздух. То же самое, оказывается, дядя Иван проделал с Пашкой. Нам помогли забраться через борт в лодку, мы сидели, смотрели друг на дружку и я видел на Пашкином лице и недавний ужас, и изумление одновременно — ведь мы сами, как ни странно, выплыли и не утонули. Испуг прошёл и я задумался, что же произошло. Дед Митрич подсказал мне:

— Пока ты из себя воздух не выпустишь, ты как, к примеру, говно в проруби — не потонешь.

Мы с Пашкой скривились от такого сравнения и дед поправился:

— Или, вернее, как наплав (поплавок) на удочке — не утонешь, но ты же не смогёшь не дышать вечно, так что вы ноне первый урок, как не потонуть на краткое время получили, таперича пойдём учиться дальше.

Пока мы приходили в себя, лодку снесло течением к песчаной косе, и она остановилась, коснувшись дном песчаной отмели. Дед спросил:

— Ну, очухались маненько? Вылазь, пошли далее.

И мы через борт ступили на отмель, глубина была ниже колена, дед зашёл вглубь реки по грудь и сказал:

— А таперича, ходи ко мне и заходь в глыбь — по грудь, значит, развернись мурлом к берегу,

---

[2] варка — голова
[3] мурло — лицо

делай вздох и, затая дыхание, плывите к берегу наперегонки.

Мы с Пашкой так и сделали, сначала барахтаясь руками и ногами в воде и поднимая тучу брызг, пока нехватка воздуха не заставила меня остановиться, опустить ноги на дно и только потом выпустить воздух и вздохнуть. Мы самостоятельно «проплыли» порядка пяти метров. Понравилось! И принялись за повторение урока, сопровождаемые одобрительными улыбками деда Митрича и дяди Ивана. Наконец я ухитрился улучить момент и вздохнуть в паузе между гребками, когда лицо было над поверхностью воды — и скоро уже приноровился работать руками, гребя ими «по-собачьи». Обрадовавшись, я поплыл вдоль берега, где было мелко и можно было встать на дно примерно по грудь. У Пашки силёнок было поменьше, сказывалась разница в возрасте. Дед Митрич, заметив, что Пашка устал, сказал:

— Баста. Залезайте оба в будару, отдыхайте, на севодни — всё. Таперича всё зависит от вас самих, скоко будете плавать и силёнок копить. Уральский казак должон плавать не хуже «чехни» (рыба чехонь **— В.А.**), да смотрите, не плавайте поодиночке, держитесь вместе, али в кумпании дружков, которые уже хорошо плавать и мырять могут и подсобят — ежели чего».

Сели в лодку и вернулись к месту стоянки перевозчиков. Тут глубина начиналась сразу от берега, и места, где можно было продолжать занятия, не было. Поблагодарив деда Митрича за учёбу, я отправился искать своих друзей, которые по времени должны были купаться на песках бывшего Валькова острова вблизи старого Михайловского собора. Там я их и нашёл и сразу продемонстрировал, чему научился у деда Митрича...

В общем, за месяц ежедневных занятий я заметно окреп и уже неплохо плавал и брасом, и на боку, и саженками (только на спине не получалось — в уши попадала вода). Научился и нырять, задерживая дыхание на полминуты и на дальность, и на глубину (надо было достать со дна горсть ила или песка и, вынырнув, показать товарищам), но Урал переплывать я ещё боялся.

Когда через месяц отец вернулся в Уральск с гастролей, меня так и подмывало сказать ему, что я уже научился плавать, но я дождался его предложения пойти купаться. И вот мы с ним идём через вновь наведённый уральный мост на Бухарскую сторону, на пески, отец несёт дощечку, чтобы продолжить моё обучение плаванию. Дойдя до середины моста, входим на разводную баржу, и тут я снимаю майку и прошу его подержать её. А сам, не говоря ни слова, заскакиваю на перила ограждения баржи и ныряю вниз головой в воду и, задержав дыхание, выныриваю метрах в двадцати ниже по течению. Оглядываюсь и вижу отца, который стоит, вцепившись в перила, и лицо его белее мела.

Я крикнул отцу, что буду ждать его на нашем месте, где мы с ним обычно купались. Вылез на берег, зарылся в горячий песок — жду отца, который идёт ко мне, неся на плече полотенце, в руках у него моя майка и доска для обучения плаванию. Дышит тяжело, лицо раскраснелось от быстрой ходьбы, и тут только я подумал о его больном сердце. Стало совестно, что я не предупредил отца о своём умении плавать. Отец посмотрел на мост и, оценив расстояние, которое я проплыл, хмуро сказал:

— Молодец! Меня чуть «кондратий» не хватил, когда ты сиганул с баржи. Предупреждать же надо! — и наконец улыбнулся.

Я понял, что прощён и стал показывать, чему научился за месяц. Отец сидел на песке и блаженно улыбался, потом встал, взял в руку теперь никому не нужную дощечку и, широко размахнувшись, забросил её далеко в воду. Мы дружно захохотали, чем смутили проходившую мимо нас молодую женщину, и она ещё долго шла, оглядываясь на нас. Но мы смотрели с отцом друг на друга и продолжали хохотать, нам было хорошо — мы были счастливы.

ОРУЖИЕ УРАЛЬСКИХ ПАЦАНОВ

Наша ребячья ватага (человек шесть—восемь) в Уральске состояла из детей коренных уральских казаков и детей, приехавших в Уральск вместе с родителями из разных городов Советского Союза. Основу её составляли казачата. Мне пришлось долго утверждаться в роли полноправного члена ватаги как пришлому. В ней командовали три казачка — Юрка Юдин, Пашка Котов и Сашка Сайгаков, которые были старше меня на два—три года. Это были физически крепкие ребята, и я проигрывал им в силе, но в ловкости и смекалке не уступал. Нашими постоянными играми были футбол, «клёк» (разновидность игры в городки, но с перебежками), в войну и в охотников. И, конечно же, рыбалка — ей отдавалось очень много времени. Время было полуголодное, и рыба, которую мы ловили, шла на скудные столы в семьи.

Для игр в войну и в охотников нужно было оружие, начиная с палок — сабель, рогаток, луков и кончая самопалами — «поджигами», заряжаемыми измельчёнными головками спичек.

Делали и самодельные луки из вязовых веток без их ошкуривания, длиной в наш рост. Стрелы делали из сухого ровного стебля рогоза, оснащая их наконечниками из треугольного куска консервной банки, свёрнутого конусом (кульком). Острый конец затачивался напильником до острия иголки, крепился наконечник к стреле с помощью столярного клея. Это было уже серьёзным оружием, стрелявшим на расстояние тридцать—сорок метров и за счёт острого

металлического наконечника, наносившего серьёзный урон цели, в которую они попадали. Охотничьими трофеями были воробьи, вороны и изредка дикие голуби, куропатки и крупные кулики, водившиеся в изобилии по берегам рек и озёр. Воробьёв мы стреляли чаще всего из рогаток, мелкими камешками, собранными на берегу Урала, для насадки на крючки перемётов — на сомовью рыбалку. Их перед насадкой обжаривали на костре и, чего греха таить, часто сами ели их довольно вкусное и нежное мясо. На рыбалку часто выезжали на лодке с ночёвкой — с кострами и ухой из пойманной нами рыбы и запечённой на углях картошкой, а если повезёт — то и голубями, куликами и редко — куропатками. А ведь нам было тогда лет по семь—десять и родители не боялись нас отпускать из дома одних. Как любила говорить моя мама:

— Под стеклянным колпаком из мальчишки не вырастить нормального мужика! Если «царь в голове есть» — ничего страшного не случится, а если нет — никакая опека не поможет!

Осенью через уральный мост на базар тянулись подводы и грузовики, доверху нагруженные арбузами и дынями. Двигались они медленно, и это давало нам возможность воровать содержимое с проезжающих по мосту машин. Да и воровством это не считалось. Ребячьей «доблестью» — да! Телеги мы не трогали, потому что возница мог достать «грабителя» кнутом. Техника такова — пока один из нас перебегает по мосту перед едущей медленно машиной, заставляя шофёра тормозить и отвлекая его внимание от наблюдения в зеркало заднего вида, другие залезают через задний борт в кузов и, схватив арбуз или дыню, кидают их через перила моста в реку. Потом и сами прыгают в реку с моста за плывущими по течению реки арбузами и дынями. На отмели Валькова острова собираются вместе и принимаются за пир. Уральские коренные казаки относились к этому «разбою» терпимо:

— Озорничают пацаны!

Арбузов и дынь везут тысячами и урон от этих набегов небольшой — вместимость ребячьих желудков ограничена, а запасаться впрок или на продажу было не принято по негласному мальчишескому кодексу (считалось — западло). И казаки только усмехались или хохотали, когда особо ловкий малец исхитряется бросить в реку сразу по два арбуза или дыни и потом ловко прыгает прямо с борта машины через перила моста в реку головой вниз, избегая поимки. Иногда казаки, расщедрившись, даже дают со своей телеги малым ребятам, не участвовавшим в набегах, арбуз или дыню. А на шофёра, открывшего дверцу машины и громко проклинающего похитителей, сыплются издёвки:

— Жмот! Арбуза (дыни) пацанам пожалел? Сквалыга!

ЦЫГАНЕ

Весной после разлива, когда Урал входит в привычные берега и строится новый мост, на Бухарской стороне напротив Уральска появлялись цыгане. Кочевники останавливались там табором со своими кибитками, шатрами и лошадьми до конца лета (в СССР указ об осёдлости цыган вышел только 5 октября 1956 года). Среди них были хорошие кузнецы, и уральские казаки их ценили и охотно несли им на починку старые замки, лемеха и бороны. Заказывали у цыган и подковы для лошадей, кованые топоры, мотыги (тяпки), ломы, пешни, решётки и засовы. Нас, пацанов, так и тянуло к ним на костры и песни, к лошадям, на которых цыгане давали нам покататься. Уральские казаки тоже относились к цыганам терпимо, зная точно, что там, где они живут — не воруют и не хулиганят. А цыганки с детьми пропадали на базаре, где зарабатывали на жизнь гаданием на картах и по линиям на ладони (к староверам они не подходили — зная, что они им не «клиенты» и могут и наказать за навязчивость). Промышляли и продажей сшитых ими же носильных вещей — платьев, платков, изделий из металла и украшений из монет, серебра и золота. Цыгане, в отличие от казахов, рыбу ели, и казаки часто расплачивались за работу кузнецов рыбой и металлоломом.

Однажды утром, когда я рыбачил на Бухарской стороне, ко мне подошёл маленький цыганёнок и, присев на корточки, долго и с интересом наблюдал за моими действиями. Я угостил его рыбным пирогом, который мне дала мама, провожая на рыбалку. Он попросил меня показать, как правильно привязывать крючок к леске. Я показал ему несколько различных узлов привязки крючка к разным лескам — из «жилки» (прозрачный монофильный[4] нейлон) и плетёного капронового шнура. Даже дал ему метров пять—десять «жилки» из своих запасов. Он удивился такой щедрости и сказал, что пойдёт и спросит своего отца — можно ли взять такой дорогой, как ему казалось, подарок. Ушёл в табор и вернулся с отцом, который был лучшим кузнецом в таборе — дядей Иваном[5]. Первое, что он спросил — не украл ли его сын леску у меня. Я ответил, что это мой подарок и прибавил ещё и три крючка разного размера, объяснив, на какие крючки, какую рыбу можно ловить и на какую насадку. Вася поблагодарил меня за подарки, а его отец пригласил приходить к нему в кузницу, чему я был несказанно рад.

---

[4] Монофильная леска — это синтетический продукт, изготавливаемый в настоящее время из полимерных материалов, нейлона, полиэтилена и т. д.

[5] Цыгане дают имена своим детям, характерные народам, среди которых они живут. В Уральске они имели в основном русские имена.

Через два дня я собрался в табор. Друзья перевезли меня через Урал и, спросив, когда я буду возвращаться, уплыли назад, договорившись, что дам знать им (криком или свистом), когда мне нужно будет вернуться домой. Не успел я подойти к табору, как показался мой новый знакомец — цыганёнок Вася и сразу похвастался мне, какую рыбу он сам поймал на новую снасть. Пришли в отдельно стоявшую палатку, где оказалась кузня дяди Ивана — с самодельным горном, сложенным из огнеупорного кирпича с мехами для раздувания угля и деревянными чурбаками, на которых были закреплены большие тиски и наковальня. На красивой кованой подставке висели разного размера щипцы, клещи и ножницы для металла, а рядом на большом столе лежали в рядок большие и малые кузнечные молоты и молотки. Около наковальни стояла большая бочка с водой для охлаждения и большая банка с маслом, для закалки готовых изделий. Было и точило — большого диаметра точильный камень с ручным приводом в виде кривой ручки. Дядя Иван со старшим сыном Сашей в это время ковали малый лемех. Я заворожённо смотрел на раскалённый металл, сыплющий искрами и меняющий форму под ударами молота.

Дядя Иван вообще никогда не пускал посторонних в кузню, но мне сделал исключение и даже давал пояснения к тому, что они делали. От него я узнал, до какого цвета нужно разогревать тот или другой металл, прежде чем начинать его ковать, технику сварки двух кусков металла ковкой, и даже попробовал поработать малым молотом. Кузнец выковал цветок в виде розы из металла и просил передать моей матери в качестве его подарка. Всё мне в кузне было интересно, и я задавал множество вопросов, на которые кузнец охотно отвечал. Я заметно устал — малый молот был достаточно тяжёл для меня, и кузнец, заметив это, сказал:

— Хватит! А то ты завтра не сможешь рук поднять! Пойдём-ка к лошадям. Ты умеешь сидеть на лошади верхом? — Я ответил, что умею.

— Тогда пойдём, посмотрим, как ты это умеешь! — И мы, помывшись, пошли в загон к лошадям. Вася сразу забрался на вороного коня и поскакал по кругу загона галопом.

— Так смогёшь? — спросил дядя Иван. Я замотал головой — Нет! Так — не смогу!

— Тогда начнём с самого начала! — промолвил кузнец и стал показывать, как нужно садиться на лошадь, как нужно держать уздечку и давать «шенкеля» голыми пятками, управляя лошадью. В общем, за час занятий я усвоил азы верховой езды, и в конце занятий мы с Васей даже верхом съездили на берег Урала напоить коней и искупать их. День клонился к вечеру, цыгане стали разводить костры и готовить обед, а мы пошли в шатёр

дяди Ивана в виде большой круглой палатки с центральным опорным шестом, где нас встретила его жена, тётя Лала (цветок тюльпана). Мы сели перекусить домашними лепёшками, супом свекольником, тушёным мясом с рисом и чесночным соусом с брынзой, на десерт подали сдобные пирожки с медовой начинкой и крепко заваренный чай, в который нам, детям, тётя Лала налила молока. Шатёр изнутри был обвешен яркими коврами с отгороженной занавеской кроватью для хозяина и хозяйки, там же висела кованая люлька с младенцем и иконостас с иконами и лампадой. По краю шатра на возвышении располагалась широкая постель, видимо, для остальных детей, покрытая стёганными яркими одеялами. Посередине шатра стоял круглый низенький стол, у входа печь «буржуйка», на которой стоял большой самовар. На полу ковёр из кошмы. Дополнял обстановку большой деревянный сундук, окованный металлом. Семья у дяди Ивана большая — восемь детей, из которых двое старших сыновей жили уже отдельно со своими семьями.

После обеда в таборе начались приготовления к празднику — дню рождения старейшины рода — дедушки Якова — ему сегодня исполнилось 80 лет. По этому случаю у большого костра расстелили брезент, на который постелили яркие ковры. Каждая семья несла свои закуски, приготовленные для этого праздника. Появилось и красное вино в глиняных кувшинах.

К вечеру цыгане пришли к костру и столу в праздничной одежде. Женщины-цыганки и девчонки были одеты в яркие платья, на шее монисты из серебряных и золотых монет, пальцы и кисти рук украшали золотые и серебряные кольца и браслеты из золота и серебра, на плечах — яркие платки и шали. Мужчины и мальчишки в красных, синих, зелёных рубашках, подпоясанные ремнями с отделанными серебром шёлковыми витыми шнурами. На ногах хромовые сапоги, в которые заправлены шаровары чёрного, синего или иного цвета, у некоторых мужчин на поясах ножи в ножнах, тоже украшенные серебром. Волосы у большинства цыган чёрные и кудрявые, но были и светлые, и рыжие, у взрослых мужчин — бороды и усы, у молодых только усы. В ушах — серебряные или золотые серьги, на руках такие же перстни. Появились и гитары, украшенные яркими лентами. Все уселись на ковры вокруг импровизированного «стола», освещённого светом костра. Произнося первый тост за новорождённого, все встали. Говорили цыгане на своём немного гортанном языке, а мне переводил на русский Вася. Виновник торжества — дедушка Яков поблагодарил собравшихся за тёплые поздравления и предложил выпить за здоровье хозяев здешних мест — уральских казаков, которые позволяют им — цыганам

— поставить табор на берегу Урала и жить здесь всё лето. Потом начались песни. Меня поразило то, что все песни были грустные. И только когда начались весёлые пляски, я услышал и привычную цыганочку, и заздравную песню в честь приплывшего из Уральска на праздник старейшины здешних мест — деда Петра, коренного уральского казака, полного георгиевского кавалера. Они с Яковом знали друг друга ещё по Великой Отечественной войне, когда сражались вместе в коннице Доватора — в разведке. Он привёз подарок от уральских казаков — большой кинжал в красивых ножнах, и дедушка Яков полуобнажив его, поцеловал лезвие кинжала, обнял и расцеловал троекратно деда Петра.

Привёз он и неприятное известие о том, что готовится указ об осёдлости цыган, обязывающий прекратить их кочевую жизнь, но дедушка Яков просил Петра не говорить пока об этом всем, чтобы не портить сегодняшний праздник. Они долго ещё шептались, обсуждая эту новость, но настроение дедов было испорчено и они вскоре удалились в шатёр Якова. Песни и пляски продолжались, и цыганёнок Вася под гитарную музыку выдавал чечётку вместе с цыганками, которые в такт музыки трясли плечами, заставляя монисты на груди звенеть. Я вернулся домой вместе с дедушкой Петром на пришедшей за ним лодке, переполненный впечатлениями от времени, проведённого в цыганском таборе. Дед Пётр всю обратную дорогу сокрушался и жалел цыган, привыкших веками к кочевой жизни, и приговаривал:

— Вот и до цыган добрались, и им, как и уральским казакам в своё время, жисть через колено ломают!

Мне тогда этого было не понять, но и я загрустил, понимая, что уже скоро таборы перестанут приезжать к нам на лето. Сам продолжал часто бывать в таборе и очень подружился с семьёй дяди Ивана. Через месяц кузнец выковал лёгкий лук из рессорной стали и подарил мне на день рождения, он отлично стрелял на расстояние до семидесяти метров, и я этим луком долго пользовался и очень им гордился.

НА КУШУМСКИХ РАЗЛИВАХ

Открытие осенней охоты на водоплавающую дичь в Уральске в пятидесятые годы (теперь уже прошлого века) происходило в первое воскресенье августа, и все охотники ждали этого дня с нетерпением. Чаще всего в этот день отец и его друг Николай Чесноков выезжали на Кушумские разливы, благословенные места, где в камышах гнездится огромное число уток самых разных пород от чирков трескунков до огаря — красной утки (атайка — как зовут его уральские казаки) и кряквы.

Гнездились там и гуси-гуменники, и лебеди-кликуны.

Кушумские разливы находятся примерно в 60-70 километрах от Уральска. Проехав Скворкино, нужно было свернуть с дороги Уральск — Гурьев направо, в низину степной речки Кушум[6], правого рукава Урала, который разливается весной после таяния снегов и на больших площадях заполняет низменные места, заросшие камышом и рогозом, образуя бесчисленные мелководные протоки и плёсы, где и гнездилась водоплавающая дичь.

Меня, девятилетнего пацана, отец постоянно брал с собой на охоту, но своего ружья у меня ещё не было, и я охотился с его малокалиберной винтовкой ТОЗ-8. С таким длинным и тяжёлым стволом, что нормально стрелять я не мог — ствол перевешивал и не хотел принимать горизонтального положения. Но я кое-как приспособился, засовывая приклад винтовки глубоко подмышку и выгибая спину, даже научился попадать в цель, да ещё как — за двадцать пять шагов — в спичечный коробок.

После первого выстрела отец сказал:

— Ну — повезло! — а после третьего попадания похвалил: —Хорошо, молодец!

И тогда Чесноков, наблюдавший со стороны за этим «действом», сказал отцу словами матери из старого еврейского анекдота:

— Ляжь — не мучь ребёнка! — и добавил: — Я тебе давно говорю, Николай, пора ему покупать ружьё!

Отец возразил: «Мал ещё. Ключицу ему сломает отдачей».

— А ты не покупай ему ружьё 12-го калибра, — возразил Чесноков, — а купи «двадцатку» или шестнадцатого. Да давай, сейчас и попробуем из моего!

Сказано — сделано, и вот я стою и сжимаю в руках настоящую двуствольную «тулку» шестнадцатого калибра, и Николай объясняет мне, как правильно «вкладываться», то есть, как правильно приклад прижимать к плечу, чтобы противостоять отдаче ружья при выстреле. Потом он отвернулся и зарядил (якобы) ружьё двумя патронами. Поставили на то же расстояние (25 шагов) пустую консервную банку в качестве мишени, я встал и, прижав плотно приклад ружья к плечу, прицелился в банку, плавно, как мне казалось, нажал на передний спусковой крючок и —

---

[6] Кушум — степная речка, рукав р. Урала, отделяющийся от него близ кушумского пос. Скворкинской ст. Уральского у. Уральской обл. и текущий с С на Ю по направлению к р. Бол.Узени и Камыш-Самарским озёрам на протяжении более 300 в. Течение бывает лишь весной, когда и вода в нём пресная, летом он во многих местах пересыхает, и вода делается горько-солёной. В нижней своей части он образует широкие озёра, а затем теряется в разливах. В большие воды вода из Урала по соединительной системе озёр доходит через К. до Бол. Узеня, а вместе с водой и рыба (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 1890—1907).

выстрела не последовало, ружьё «клюнуло» (рывок за спуск), а я непроизвольно сделал два шага вперёд. Дядя Коля рассмеялся и объяснил, в чём была моя ошибка. Я при нажатии на спуск непроизвольно подался вперёд, ожидая отдачи. Теперь я и сам понял свою ошибку и когда ружьё в самом деле было заряжено, я равномерно распределил свой вес на обе ноги. Грянул выстрел, и консервная банка была сметена попавшей в неё дробью, а отдача была не такой уж сильной, так как я правильно «вложился».

А вскоре отец купил и подарил мне на день рождения (10 лет) настоящее ружьё — курковую одностволку ИЖ-ЗК шестнадцатого калибра со всеми принадлежностями для чистки ружья, заряжания патронов и заодно патронташ с четырьмя удавками. Когда его спрашивали, почему он купил одностольное ружьё, а не двустволку, он отвечал:

— Пусть сын узнает цену одного выстрела! Научится хорошо стрелять влёт — сам купит себе двустволку.

И он был абсолютно прав, правда, понял я это, только когда получил первый разряд по стендовой стрельбе и на зверовой охоте, где от одного выстрела зависела жизнь моя или моего товарища. Ловлю себя на мысли — как часто я в своей уже долгой жизни благодарю отца за мудрые уроки, данные им мне в детстве...

Но вернёмся на Кушумские разливы. Приехали мы на «козлике», так ласково называли тогда автомобиль повышенной проходимости — ГАЗ 69. Дороги к месту охоты (если это можно назвать дорогами) проходили по солончаковой степи и при дожде превращались в труднопроходимое месиво. Нас было пятеро охотников и один рыбак, который устроился возле глубокого омута на основном русле Кушума, поставил несколько донок. А мы, охотники, ещё затемно разбрелись по мелководью и, сделав себе в камышах скрадки, стали дожидаться утрянки.

Странно, но небо в степи, с восточной стороны, перед утренней зарёй сначала темнеет, а только потом начинает розоветь и разливать во все стороны свой румянец света, тесня темноту ночи. А вскоре появляется из-за горизонта и красновато-алый диск солнца.

Предрассветная тишина прерывается тихим покрякиванием уток, далёким погогатыванием гусей, собирающихся покинуть ночные кормовые мелководные плёса. Кряканье становится всё громче и чаще, и вот уже в предрассветной мгле низко над камышами появляются первые стаи уток и гусей, едва видимых на фоне разгорающейся зари. И горе всем, сидящим в скрадках и ожидающим, когда рассветёт, если у кого-то не выдержат нервы и первый выстрел раздастся ещё в темноте. Утки разом взлетят и

другим охотникам только и останется, что слушать шум крыльев улетающих стай у себя над головой. Всё — утрянка испорчена. Особенно обидно, если это происходит при открытии охоты, когда местной утки — тьма, а результат оставляет желать лучшего. Именно потому отец всегда говорил мне:

— Сын, на утрянке не торопись делать первый выстрел, дождись, пока не увидишь мушку на твоём вскинутом для выстрела ружье, и вообще запомни на всю жизнь: не торопись, не уверен — не стреляй! Тогда и перед товарищами по охоте краснеть не придётся.

Но сегодня ни у кого нервы не сдали, и первый выстрел прозвучал, когда уже достаточно развиднелось. И сразу по всей округе загремели другие выстрелы, и одиночные, и дуплеты, а из низко летящих стай стали вываливаться битые утки. Они заметались над камышами и снова попадали под выстрелы охотников. В птичьем мире начался переполох, стаи распадались и ни о каком организованном, стайном отлёте речи уже не шло. Везде, куда ни кинешь взгляд, — над камышом беспорядочно метались разбитые стаи и одиночные утки. Вот когда начинается «охотничья горячка» — чем выше температура, тем полезней для здоровья. За те недолгие минуты, пока длилось это светопреставление (другого слова не могу подобрать), я взмок, потерял шапку и вообще чувство реальности. Да что взять с десятилетнего пацана, впервые попавшего в охотничий рай со своим ружьём. Опомнился только тогда, когда кончились патроны — все двенадцать (именно столько латунных гильз подарил мне отец).

Охота закончилась. Я успокоился и огляделся: на мелководном плёсе передо мной лежали два чирка и один кряковый селезень. Но в процессе лихорадочной и сумбурной стрельбы я запомнил, что после очередного моего выстрела ещё одна утка-подранок упала в камыш шагах в пятидесяти от моего скрадка. И я уже было пошёл её искать, но тут налетели две стайки чирков и я выбил ещё одного из них. Собрал битых уток и пошёл искать подранка. Мне повезло, в камышах я обнаружил — уже «дошедшего» крепыша гоголя. Четыре утки были добыты двенадцатью выстрелами, по три выстрела на утку — не плохо для начинающего учиться стрельбе влёт малолетнего охотника.

Возвращаюсь на стан, повесив на все четыре удавки (тонкие ремешки с металлическими колечками на конце и закреплённые на поясном ремне) добытых уток. Идти было неудобно, большие утки (крякаш и гоголь) свисают ниже колен и путаются в ногах. Но всё во мне поёт от невиданной удачи! На стане — никого, все охотники ещё сидят в своих скрадках, а из камышей доносятся редкие одиночные выстрелы.

А жаль, хотел похвастаться перед взрослыми охотниками своей удачей. Спрятал под машину, до поры, свою добычу. Развёл, погасший с ночи костерок, подвесил над огнём котелок со свежей водой для чая и принялся чистить своё уже не нужное на этой охоте (патроны-то кончились), но ставшее таким родным, ружьё.

За этим занятием меня и застаёт вернувшийся отец:

— Ну, вот и молодец — без дела не сидишь и за ружьём уход нужен сразу после охоты. Тогда и ружьё ответит тебе безотказной долголетней работой.

Он снял с плеча рюкзак и выложил из него на землю свою добычу — семь крупных уток (крякашей, шилохвостей, пеганку, серуху и атайку). Вернулись с охоты и остальные охотники с хорошей добычей: самая большая — 12 уток[7] и один гусь-гуменник — добыта была Валентином Акимовым, офицером, мастером спорта по стендовой стрельбе, и самая маленькая — (три утки) шофёра Саши, у него после первых выстрелов отказало редкое по тому времени ружьё (полуавтомат «браунинг», имеющий магазин на четыре патрона, пятый патрон в стволе). После осмотра добытых уток дядя Коля обратился ко мне:

— Ну, а как дела у самого молодого охотника? Пропуделял, небось!

И тут я достал своих четырёх уток из-под машины и с торжеством положил их в общую, выложенную в рядок добычу.

— Вы посмотрите-ка на него — да он меня обстрелял! — воскликнул Саша, улыбаясь.

И все охотники, с нарочитой серьёзностью поздравили меня: с полем! и каждый из них пожал мне руку, а отец обнял меня и добавил:

— Теперь ты настоящий охотник.

Потом спросил, сколько патронов я израсходовал на четыре утки. Я тихо ответил:

— Все… — и добавил: — Все двенадцать, — и покраснел.

— Многовато! — промолвил отец и продолжил:

— Ну да ты очень не переживай: лиха беда — начало! А по «швыркам» у тебя получалось лучше.

— Так то — «швырки», а здесь — живые утки, — возражал я с возмущением.

Тут нужно пояснение: после покупки ружья отец занялся моим обучением стрельбе влёт. Для этих занятий он выточил из берёзовых поленьев пяток примитивных мишеней — «швырков», отдалённо напоминающих силуэты уток, без крыльев конечно, и бросал их в разных направлениях, под разными углами и на различную высоту, а я стрелял по этим «швыркам», стараясь взять

[7] Тогда, в пятидесятых годах, не было суточных норм отстрела уток, и каждый охотник сам решал, сколько ему добывать уток, но и жадность не поощрялась — стыдно.

правильное упреждение перед каждым выстрелом. Потом отец со мной занимался «разбором полётов», анализируя каждую мою ошибку. И так в течение двух недель я учился стрельбе влёт, пока не достиг результата, в худшем случае — два патрона на одно попадание. И тут неожиданно за меня вступился наш лучший стрелок Валентин Акимов:

— Молодец, Вадюша, я начинал гораздо хуже, тебе всего-то раза в два нужно улучшить стрельбу. А как будет уходить по полтора патрона на птицу, добытую влёт, считай себя настоящим охотником.

Сели пить свежезаваренный чай, делясь впечатлениями. Валентин рассказал, как промазал первым выстрелом по внезапно налетевшему на выстрел одиночке-гусю и как волновался, делая второй, на этот раз, точный выстрел. Когда меня попросили рассказать, что я чувствовал, когда убил первую утку, я сознался, что забыл — вся утрянка для меня была единым и неповторимым мигом, и опомнился я, когда кончились патроны. Я ждал после своих слов дружного (хотя и доброжелательного) смеха, но взрослые охотники вдруг примолкли. Видимо, каждый из них в эту минуту вспоминал свою первую добытую на охоте утку...

Пришёл на стан и наш рыбак с очень приличным уловом: пять щук, два жереха и десятка полтора окуней, пойманных на спиннинг, а ещё он поймал на донки двух сазанов и пяток карасей. В общем, рыбный обед («двойная» уха и хорошая жарёха на второе) был нашей компании обеспечен. А ещё наш рыболов попросил привезти на машине с места ловли надувную лодку, по тем временам это была штука довольно редкая и дорогая. Он купил её по случаю у приезжавшего в прошлом году из Ленинграда на охоту лётчика-генерала. Лодка была американская, военная, сделанная из прорезиненной двухслойной ткани и достаточно тяжёлая — 25—30 килограммов. Шофёр Саша, который при наших поездках на охоту учил меня водить машину, уговорил отца доверить мне самостоятельно съездить с дядей Акимом, рыбаком и потомственным уральским казаком, за лодкой:

— Всего километра полтора отсюда — Вадим справится. Гарантию даю! — Отец нехотя согласился. Все принялись за чистку и потрошение рыбы на уху и жарёху, а мы с Акимом стали собираться в поездку. И тут заметили верхового, показавшегося из-за камышей.

— Братан приехал, — молвил дядя Аким.

Вершник приближался, уже можно было разглядеть на гордо вскинутой голове лихо заломленную казацкую форменную фуражку с малиновым околышем, да и сидел он в седле молодцевато, как и подобает казаку, привыкшему к конному строю с малых лет. Он был среднего роста

сухой и жилистый, с загорелым обветренным лицом и чёрной бородой, с усами, подёрнутыми сединой. Сразу бросалось в глаза сходство с дядей Акимом, несмотря на то, что последний был по-городскому чисто выбрит. За плечом у всадника висела старая «берданка», на поясном ремне большой кинжал в ножнах, украшенных серебром с красивой насечкой. У ног карего жеребца крутилась невзрачная собачонка из породы «надворных советников», с вывалившимся из пасти языком (видимо, набегалась за хозяином на коне). Она насторожённо обнюхала незнакомых ей людей, легла в сторонке и начала выгрызать застрявшие в шерсти лап колючки. Прибывший пружинисто соскочил с коня и обнял брата, трекратно расцеловал его, сказав недовольно:

— Опять со скоблёным рылом приехал?

И наконец, обратив свой взор на нас, представился:

— Корней Платоныч — старшой брат Акима Платоныча.

После чего поздоровался со всеми за руку, даже со мной, и каждому говорил:

— Рады знакомству!

На предложение отобедать с нами ухой и жареной рыбой сказал, что недосуг, его будут ждать через четыре часа в Янайкино покупатели коровы. А нас вместе с братом пригласил на обратном пути заехать к нему домой, где он и угостит нас обедом. Аким спросил расстроено:

— И что же, и чарку за встречу не выпьем?

— Ну, это времени долго не займёт. Почему бы и не выпить за встречу и за знакомство, — ответил брат.

Дядя Аким, повеселев, бросился готовить закуску. Расстелили на траве брезент и стали из рюкзаков доставать кто колбасу, кто сало, а дядя Коля Чесноков выставил на брезент и банку с малосольными огурчиками, приготовленными его женой Идой Алексеевной — большой мастерицей всяких солений. Корней Платонович тоже достал из перемётных сумок, висевших у седла, узелок с едой — в нём оказался домашней выпечки ароматный хлеб и большой кусок брынзы, тоже домашнего приготовления. Появилась на импровизированном столе и бутылка «белоголовой». Все сели вокруг брезента на постеленные на траву фуфайки-стёганки. Выпили (кроме меня, конечно) за знакомство, потом за встречу братьев. И тут Корней Платонович увидел Сашин «автомат» — пятизарядку браунинга.

— А ты знаешь, братан, ведь я стрелял из такого ружья, — сказал он Акиму.

— Где же ты это сподобился, братка? Ты ведь не расстаёшься со своей «бабушкой» — берданкой, — изумился Аким.

— Ты мою кормилицу не обижай! А сподобился я стрелять

из ружья самого Михайло Ляксандрыча Шолохова, — ответил Корней.

И поведал нам старый казак строго по секрету, как государственную тайну, что Шолохов в районе Чапаева (бывшая станица Лбищенская) на Бухарской стороне строит дом с усадьбой, чтобы большие начальники работе, значит, не мешали. А сюда, на Кушумские разливы, он приезжал охотиться осенью на перелётных гусей. И было у него такое же ружьё, а Корнея, как сторожила, знатока этих мест и охотника, местное районное начальство попросило его сопровождать и охоту устроить по «первому разряду» почётному гостю. Мы засыпали казака вопросами, что да как? Корней отвечал сухо и неохотно:

— Росточком не велик, до добычи не жаден, а стрелок отменный — таких поискать. Как писатель, судить не могу — не читал. А вот, што он из коренных донцов (донских казаков) — сумлеваюсь я. Уж больно много пьёт и матерно ругается, опять же табашник заядлый, мы, уральские казаки, старой веры держимся и этого — не желам! Стрелок и я не плохой — в воробья влёт попадаю из моей берданы, вот он, когда мы с ним одни в старой скирде сидели и попросил показать, как я умею по гусям стрелять, я ему из своей старухи одного гусака и завалил. А он мне и гутарит, мол, кабы у тебя не идностволка была, а пятизарядка, как у меня, сколько гусей из стаи выбьешь? Я ему — так нету у меня пятизарядки, не знаю. Он тогда даёт мне свою — таку, как эта (Сашина), и гутарит — стреляй по стае, здесь пять патронов. Ну, выбрал я стайку из десятка голов и давай её поливать свинцом до пяти раз и выбил трёх. А он перезарядил и из очередной стаи, раз за разом четырёх гусей выбил, а пятый патрон осечку дал. Ништо не могу сказать — стрелок от Бога! А какой он казак — ня знай, ня знай...

Больше он нам ничего не сказал и мы, чтобы сменить тему, спросили у него, зачем он взял с собой собаку. Корней удивился нашему вопросу и ответил так:

— Так это у меня вторая кормилица на охоте апосля берданы. Вы вот скоко пороху сожгли и дроби, и пистонов потратили, а я сёдни ни разу не стрелял, а привезу домой пятнадцать уток и двух гусей — две полные перемётные сумы. И всё это принесла мне Найда из камышей. Народ пошёл ныне ленивый — подранков наделают, а искать по камышам — лень. А мы с Найдой — тут как тут. Мы сегодня километра три-четыре по берегу разливов сделали и пятнадцать уточек и двух гусей-подранков нашли уже после того, как охотнички-лентяи ушли после утрянй водку пьянствовать. И нам хорошо, и порядок навели — убил живую тварь Божию, так

с пользой употреби ея. А вы — зачем собачка?

Я спросил, зачем ему кинжал на утиной охоте? Он пояснил:

— Так тут не только утки водятся, вот нонче диких свиней развелось с избытком и сайга на водопой захаживает из степу, а где свиньи, да ещё и сайга — там и «серый супостат» (волк) тут как тут — как же тут без ножа?

На мою просьбу показать, как кинжал вынимается из ножен, спокойно, но твёрдо сказал:

— Сынок, запомни, кинжал — не игрушка, оружие — значит, и обнажать его можно, токмо тогда, когда кровь пущать надо, а за просто так обнажать клинок ни один настоящий казак не будет — баловство это.

Корней взглянул на солнце и заторопился с отъездом, взяв с нас слово, что мы завтра на обратном пути заедем к нему в гости в Янайкино. С тем и попрощались.

Мы с дядей Акимом собрались ехать за лодкой, остальные занялись приготовлением обеда. Я получил ключи и напутствие от дяди Саши:

— Ну, счастливой дороги! Смотри — не гони, поезжай аккуратно!

Тронулись и только тогда я заметил, что не обулся и еду босиком, но возвращаться было нельзя — дороги не будет. А ехать, босиком нажимая на тугие педали нашего «козлика» было, прямо скажем, не комфортно.

— Ну да ладно, тут близко — подумал я.

До места доехали быстро — без приключений. Я посмотрел на счётчик пройденного пути — два километра. Лодку дядя Аким, от греха подальше, спрятал в камышах, где мы её и нашли. Она была вся вымазана грязью от резиновых сапог. Дядя Аким недовольно буркнул:

— Эх, варка дырявая, запамятовал лодку помыть и перевернуть кверх дном, она бы уже на ветерке и провяла — скока времени зазря потерям.

Но делать нечего, принялись мыть лодку, потом отнесли её на бугор — на ветерок сушиться, дядя Аким начал мне показывать и рассказывать, где и как он ловил рыбу. Потом достал из машины с треть мешка загодя распаренной пшеницы, высыпал её в мелкую сетку, положил туда половинку кирпича (вместо груза). Привязал к сетке тонкую бечёвку и закинул далеко — под редкую колку рогоза на глубокое место, а другой конец бечёвки привязал за пучок камыша на берегу.

— Привада, завтрева поутру приду сюда сазанов ловить. За ночь их сплывётся — тьма, на бесплатное угощение, на дармовщину, значит, — пояснил он мне.

За делами время летело быстро, прошло уже не меньше полутора часов, когда мы, спустив воздух из просохшей лодки, свернули её и, погрузив в машину, отправились в обратный

путь. Степная дорога то спускалась в ложбинки, то поднималась на бугры, и мне всё время приходилось работать тугими педалями, а босыми ногами делать это было больно и неудобно. Но вот, въехав на очередной бугор, мы увидели наш стан. Обед был, видимо, готов, так как за расстеленным брезентом собрались четверо наших товарищей, уже севших обедать.

— Ах, они, такие-сякие, не дождавшись главного рыбака, мою рыбку начали исть! — воскликнул, шутя, дядя Аким.

— А давайте мы их пуганём! — предложил я и нажал на педаль газа, представляя, как удивятся моей лихости сидящие за трапезой, когда я со всего хода резко остановлю машину у самого брезента. И всё бы обошлось, если бы не мои босые ноги. Когда я захотел резко «ударить по тормозам», моя нога соскользнула с педали тормоза и со всего маха опустилась на педаль газа. Машина взревела, ведь сцепление было выжато, и под рёв мотора и нечленораздельные вопли четверых мужиков как ветром сдуло с брезента (так стая воробьёв с шумом и чириканьем, враз разлетается в разные стороны от бросившейся в середину кучи кошки). Отец мой далеко не воробей — чуть не центнер будет, а туда же, так и отлетел в сторону от брезента метра на два-три, с солёным огурцом, торчащим изо рта, которым не успел закусить выпитую чарку.

В общем, машина остановилась точно на центре «стола», к счастью, никого не задев. Даже уха в котле, закрытом крышкой, осталась целой под передним буфером машины и сковорода с жареной рыбой не пострадала, и даже початая бутылка с водкой была не задета.

Дядя Аким долго сидел и молчал. Лицо его было белым.

— Ну, ежели ты хотел их «пугануть», то это у тебя, по-моему, получилось лихо. Но я-то тут при чём? — сказал он грустно и вышел из машины.

Я остался сидеть в машине, вцепившись в руль. Лицо моё было пунцовым и горело от стыда. Я видел, что, поднявшись с земли, отец погрозил кулаком Саше и, передразнивая его, спросил:

— Справится! Гарантию даю! Где твоя гарантия? А вот тут — на столе стоит.

Но когда Саша сказал, что сейчас пойдёт и отгонит машину, неожиданно бросил ему:

— Нет уж! Кто её на стол поставил, тот пусть и убирает её со стола.

Саша подошёл к машине, открыл левую дверь и, увидев кровь на моей босой ноге, всё понял. И, принеся мои ботинки, сказал:

— Обуйся и аккуратно сдай машину с брезента назад.

Я по своему следу задним ходом съехал с брезента и, остановив машину метрах в пяти, выключил зажигание. Увидел, как

Саша подошёл к взрослым, снова окружившим брезент, и начал рассказывать им что-то, показывая рукой на меня.

Дядя Коля встал и пошёл было ко мне, но его остановил отец, и он снова сел в кружок, а одно место — моё — оставалось свободным. Я тогда понял, как я подвёл отца и Сашу, и горько заплакал, уткнувшись головой в баранку машины.

АРТЕЛЬ УРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ[8]

Все икру Урала знают
И уральских осетров,
Только знают очень мало
Про уральских казаков.

Из песни Уральского казачьего войска.

Уральный мост (деревянный, на сваях) каждый год ставился заново — весной его сносило ледоходом. Урал в пятидесятые годы разливался в районе города на семь километров. Ближайшие стационарные автомобильные мосты через него были на расстоянии 350 и 500 километров отсюда. Возникала острая необходимость налаживания переправ для людей и грузов, пока Урал не войдёт в свои привычные берега и не построят очередной деревянный мост. А до того времени проблему решали перевозчики, стихийно объединявшиеся в артели. В Уральске в районе пристани работали тогда уральские казаки, имевшие довольно большие лодки (будары[9]), вмещавшие до десятка пассажиров. Некоторые из них имели по две лодки, они обслуживались либо сыновьями, либо сдавались в аренду казакам, не имеющим лодок (но ответственность перед пассажирами нёс хозяин лодки). Были ли эти артели официально оформлены, я не знаю. Цена перевоза с одного берега на другой (когда река уже входила в привычные берега) человека без груза была или рубль, или три, точно не помню. А когда Урал в половодье разливался на семь километров, цена была договорная и могла доходить до двадцати пяти рублей и больше. В эту артель принимались далеко не все желающие, а только коренные уральские казаки (настоящие Горынычи) — рыбаки и охотники, знавшие Урал с детских лет, накопившие большой

[8] Группа лодочников (обычно на постоянной основе), которые занимались переправой людей и грузов с одного берега Урала на другой в период весенних месяцев от окончания ледохода до наведения нового моста.

[9] Казачья будара в старое время выдалбливалась из тополя, вербы или осокоря. В настоящее время бударой называется обыкновенная лодка-плоскодонка.

опыт плавания по реке в любое время и в любую погоду, имевшие свои будары и жившие недалеко от пристани. Таких было человек пять-семь пожилых, но ещё физически крепких казаков, занимавшихся перевозками много лет и пользующихся непререкаемым авторитетом в речных делах. Они и решали все важные в этом деле вопросы: приём новых членов в артель, распределение обязанностей внутри артели (ремонт и оборудование лодок, порядок и очерёдность работы, дежурство ночью), они же следили за тем, чтобы перевозом за деньги не занимались посторонние лодочники — с этим у них было строго. Это был уже знакомый читателям дед Митрич (Евстафий Дмитриевич), дядя Егор, всегда хмурый жилистый казак, ходивший на костылях (потерял на войне ногу), и дядя Ваня Бегунок. В отличие от двух первых он был малого роста, весёлый, никогда не унывающий, быстрый в движениях, вечно торопящийся куда-то, за что и получил прозвище, по фамилии его никто не называл — Бегунок, да и всё. Вокруг них всегда собирались люди, нуждающиеся в совете или в конкретной помощи.

Вообще, на берегу Урала, у пристани, особенно в весеннее тёплое время, всегда было людно и мы, пацаны, жившие неподалёку, всё свободное время проводили на берегу — «Айда на Урал!» или «Айда на Чаган!» часто звучало при сборе наших детских ватаг. Вскоре у нас в семье появилась лодка (подарок отцу на юбилей от работников Чапаевского затона). Новая, лёгкая на ходу и довольно вместительная (на 5-6 мест) плоскодонка, выкрашенная масляной краской в голубой цвет. С собственным именем «Чайка», красиво нарисованным на бортах красной краской. Восторгу моему и моих друзей не было предела. И жизнь моя ещё крепче стала привязана к Уралу. А что ещё нужно для счастья 11-летнему уральскому пацану? После того, как дед Митрич научил меня, как правильно с ней обращаться (грести вперёд и назад, маневрировать и т. д.), — она была передана отцом в моё полное распоряжение. У нашей ватаги появилась возможность неслыханно расширить географию наших вылазок на природу. Особенно это проявлялось весной, в половодье, когда Урал заливал лесную полосу и луговую пойму на Бухарской стороне. Мы плавали в этот мир воды, солнца и редких островов на рыбалку и охоту, с ночёвками и кострами, с печёной на углях картошкой, ухой и шулюмом под звёздным степным небом. Какими же мы были тогда счастливыми!

Мне нравилось учиться всему новому, я всегда внимательно слушал своих пожилых наставников, охотно выполнял их

маленькие просьбы (например, — сбегать в магазин) и вскоре стал своим человеком на стоянке уральных перевозчиков. И даже удостоился разрешения запирать свою лодку за их петлю стального троса, в руку толщиной, забетонированного на кромке берега, где они запирали на ночь свои будары, чего другим лодочникам не дозволялось делать. Нужно сказать, что общение с этими прошедшими «огонь, воду и медные трубы» коренными уральскими казаками меня обогатило знаниями, многие из которых мне пригодились бы и сейчас в мои семьдесят три года. А так как они были староверами и жили по совести и Божьим заповедям, плохому я у них научиться просто не мог.

К деду Митричу иногда приходил его старый друг Пётр, лет под восемьдесят, но ещё крепкий казак метра два ростом и богатырского телосложения. Крупная голова покрыта белыми как снег волосами, того же цвета окладистая борода и усы, в мочке одного уха «серебряна сярьга». Помню, пришёл он на берег на Пасху при полном параде: на голове форменная казачья фуражка с малиновым околышем, гимнастёрка навыпуск, синие шаровары, обут в хромые сапоги с голенищами «бутылкой». Дополняли этот наряд большой кинжал в ножнах, отделанных червлёным серебром, а на груди полный бант Георгиевских крестов[10] и боевые ордена и медали (свои «Георгии» он получил на Первой мировой войне, а советские ордена и медали в Великую Отечественную — воевал в разведке конницы Доватора). Похристосовался с дедом Митричем и другими пожилыми казаками.

Принесли на берег большой казан и полтуши барана, развели костёр и тут же на берегу стали готовить бесбармак[11]. Командовал «парадом» дед Митрич, а в «кухонных мужиках» у него были казаки помоложе. Пока готовили бесбармак, кто-то из молодых прикатил пустую, сбитую из досок, метра полтора-два в диаметре, катушку из-под кабеля. Получился импровизированный круглый стол с дыркой по центру. И начали выкладывать на стол принесённые вскладчину закуски — квашеную капусту, солёные огурцы и помидоры, сало, домашнего приготовления колбасу, брынзу, жареную и вяленую рыбу. А дедушка Пётр достал из своего вещмешка копчёный

---

[10] Полный бант Георгиевских крестов — награждённый четырьмя Георгиевскими крестами всех степеней.

[11] БЕСБАРМАК, бижбармак, бишмармак, -къ, ед., тюрк., буквально «пять пальцев», — национальное казахское кушанье из варёного мяса с репчатым луком и варёными же лепёшками, распространённое и среди уральских казаков. Название происходит от того, что едят это кушанье пятью пальцами.

балык из красной рыбы и литровую банку чёрной зернистой икры. А ещё у всех были варёные вкрутую, крашенные во все цвета радуги куриные яйца, куличи и домашней выпечки «аржаной» чёрный и «пеклеванный»[12] (ржаной — чёрный и белый) душистый хлеб, не обошлось и без картошки, которую запекали в углях костра. Прихромал и дядя Егор, надевший в честь праздника на свою культю новый деревянный протез. Его сопровождала жена Нюра, выложившая на стол ещё горячие лепёшки и миску с каймаком. Поздравила с праздником:

— Христос воскресе, казаки! — и, дождавшись ответа всех: «Воистину воскресе!», достала из кармана фартука бутылку «белоголовой» со словами:

— Гуляйте, казачки-горынычи! Сёдни не грех — праздник великий.

Казаки налили по первой чарке. Все ждали слова дедушки Петра, как старшего по возрасту. Он встал с табуретки и с поклоном обратился к собравшимся:

— Христос воскресе, казаки-уральцы!

— Воистину воскресе! — хором ответили все и наложили на себя двуперстный старообрядческий крест. В это время раздался первый удар колокола с колокольни Старого Михайловского собора, стоявшего на высоком яру в Куренях и хорошо видного всем нам с берега, казаки повернулись к нему лицом и, перекрестившись, отдали поклон.

— Во как угадали! — удивлённо произнёс дед Митрич — К добру енто!

Показался на реке пароход, идущий с низов, на палубу высыпало много пассажиров, видимо, вышедших из кают послушать праздничный малиновый перезвон колоколов. А послушать было что. Звонарь явно был «в ударе».

— Во наяривает, прости Господи! — сказал с улыбкой дедушка Пётр. — Хоть стяс в пляс пускаться впору.

Между тем пароход, приближаясь к пристани, пустил в ход свой ревун.

— Эх, каку колокольну музыку испоганил! Разбазлался тут, а то яво не видят! Ядрёна вошь! — раздались недовольные голоса казаков, показывающих пальцем на стоящего на верхней палубе капитана, одетого в честь праздника в парадную форму.

— Иш, вырядился голанским петушком (птица удод **— В.А.**) и изголяется тут! Обчеству празник

---

[12] В толковом словаре Владимира Даля (1882 г.) приводится следующее пояснение к слову «пеклевать»: «Пеклевать рожь, пшеницу, пск. молоть чисто, мелко и просевать. У нас пшеница пеклюется. Пеклеванный хлеб, пеклеванник м., испечённый из пеклеванки ж., из пеклеванной муки, ситной и чистой ржаной, из яровой ржи».

испаскудил! — сказал с возмущением пожилой казак и швырнул подвернувшимся под руку камнем в сторону проходящего мимо парохода.

Долго ещё возмущались казаки непотребным поступком капитана. А мы, пацаны, решили: «айда яйца катать!»

Выбрав на земле ровную площадку, прочертили две прямые линии шагах в десяти друг от друга — одна «кон» (где расставлялись «на попа» в рядок крашеные яйца играющих на расстоянии в полшага), а другая «заступ» — откуда катают резиновый мяч, стараясь попасть им в чужое яйцо. Кто попадал в чужое яйцо, забирал его и ещё два стоящих по обе стороны от него. При этом строго следили, чтобы ноги катающего мяч не наступали за черту «заступа». Если кто-то ошибочно попадал в своё яйцо — тот забирал только его — «Разуй зенки-то, в свой яйцо попал!»[13] Начали играть и, как всегда бывает в играх, возникли споры и шум, на который стали подходить взрослые казаки и давать нам советы. И постепенно они стали играть вместе с нами. Мы с удивлением смотрели, как из степенных пожилых казаков на наших глазах они превращались в седобородых пацанов, ни в чём не уступающих в азарте нам. Все крашеные пасхальные яйца со столов были изъяты и перекочевали на «кон». Нас, мальчишек, как-то незаметно вытеснили из игры и мы с нескрываемым интересом смотрели и слушали, как из уст разгорячённых казаков летело:

— Чё, забздел (испугался), Иван Прокопич?

— Ну и мухля (обманщик) ты, дядя Митрич!

Страсти накалялись и дедушка Пётр, который не принимал участия в играх, наконец сказал:

— Ну, шабаш, старики-казаки, а то вы ребят малых из игры потеснили, отдайте им крашены яйца и давай за столы — бесбармак вскоре будет готов.

Казаки, смущённо улыбаясь, отдали нам все выигранные яйца и разошлись по своим местам. Яиц было так много, что я, набрав полную шапку яиц, отнёс их к столу, где сидели дед Митрич и дедушка Пётр с перевозчиками и со словами — «Христос воскрес!» выложил им на стол. Казаки, улыбаясь, отвечали:

— Воистину воскресе! Дай тебе Господь здоровья, сынок!

Отрезали мне приличный шмат копчёного балыка и наложили в чашку зернистой икры.

— Это тебе и твоей ватаге — ешьте на здоровье, да оставьте место для мяса, стяс бисбармак подавать будут.

---

[13] У уральских казаков в разговорной речи очень редко встретишь слово среднего рода, чаще мужского: сено — он, яйцо — он, свой яйцо.

Из казана вынули всё варёное мясо в эмалированный тазик, а резаные на мелкие куски тонкие варёные лепёшки в другой, плеснув туда из казана две кружки сурпы (бульона), чтобы они не слиплись. Потом эти тазы пошли по столам. Каждый брал рукой кусочек мяса, кусочки варёной лепёшки и запивал горячей сурпой из кружек.

Встал с табуретки дедушка Пётр с чаркой в руке, все казаки примолкли, ждали слова старшего, и он произнёс:

— Што, казаки, ладно гулям — на вольном воздухе, на бярегу сядова Яика Горыныча — Золотова донышка нашева! Давайте же подымем эвту чарку за тех, кто не дожил до дня сего, кто пал смертью яройской на полях сраженьев за отчий курень и кровинушек своих — родителев, сестёр, брательников, родительниц и детишков со внуками, за Веру Православну и Честь свою казачью. За невинно убиенных и умерших от голодухи и лихоманок всяких в смутные годины. И давайте сёдни — в Празник Великий не будем их делить на красных и белых, своих и чужих. Я, как вы знаете, верой и правдой служил Царю-батюшке и Отечеству и отсидел за енто дело срок сполна, и с немцем воевал за Русь Святую и Веру нашу Православну, што и предки наши яицки казаки. И пусть земля им будет пухом, Царствие Небесное и Вечная Память. Аминь!

Все казаки перекрестились и молча, не чокаясь, выпили.

Тут один казак затянул «Полынушку», голоса сидящих смолкли и все заслушались протяжной — как сама степь, старинной песней, но вот на повторах стали вплетаться и другие голоса, и над берегом зазвучало уже хоровое многоголосое пение полутора-двух десятков голосов. Потом были спеты и «В степи широкой под Иканом» и «Конь мой верный, конь ретивый» и даже песню староверов — «Со святыми упокой».

Подошли в обнимку — уже навеселе, Анисимыч с молодым казаком — соседом, который просился в артель перевозчиков и сказал, что принял предложение соседа поработать вместе. Вдруг этот молодой казак запел сильным красивым баритоном — «На краю Руси обширной вдоль Урала берегов...» — и казаки дружно подхватили — «Проживают тихо-мирно войск уральских казаков...» и вот, уже набирая силу, мощно звучит над водой самая, пожалуй, популярная в Приуралье песня Уральского казачьего войска. Застыли в воздухе последние слова песни. Наступила тишина. Пауза длилась долго — казакам самим понравилось, как они спели. И тихо прозвучали слова дедушки Петра:

— Ай да молодцы уральцы! Добро поём! А посмотрите — каков запевала у нас объявился.

Недаром што из Свистуна! Што, в Свистуне все такие голосистые? Молодой казак смущённо отвечал:

— С таким голосистым хором грех плохо запевать!

Потом подошёл к дедушке Петру, который хорошо пел бархатным-глубоким басом и они о чём-то пошептались. И дед попросил общество:

— А теперь, казаки, нишкни — послухаем, парень петь будет.

Молодой казак встал у стола рядом с дедом. Все превратились вслух. И вдруг молодой казак тихо запел баритональным тенором:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он

— голос крепчал, звук лился свободно и просторно:

— О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом

— и вдруг как эхо мягко вторит бархатный и густой, тихий бас деда: «Бом, бом...»

Молодой казак пел вдохновенно и легко, без нажима, и песня лилась, светлым родником растекаясь по поверхности вод седого Урала. Все мы, затая дыхание, внимали этому чуду, звучащему не в музыкальном салоне, а на берегу Урала. И когда отзвучали последние слова песни:

И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!

и заключительное, переходящее в пианиссимо, бархатное, как бы далёкое — «Бом, бом, бом, бом...» — мастерски спетое басом деда Петра, — никто не шелохнулся. И только я громко, как мне показалось, вздохнул. Дедушка Пётр помолчал и со словами:

— Ну, уважил — так уважил! Аж слеза прошибила — обнял и расцеловал молодого казака. Между тем казаки спрашивали друг у друга:

— И хто знает — хто придумал эту душевную, но незнаёмую казакам песню? Наверняка — народная. Ты как думаш?

Никто не знал и тогда обратились к певцу — молодой казак сказал, что узнал эту песню, когда служил в армии в Ленинграде, а научил его петь руководитель военного хора, в котором он пел. Стихи ирландского поэта Томаса Мура, перевод на русский язык Ивана Козлова, музыка композитора Александра Алябьева. Казаки качали головами:

— А ты не путаш часом? Сумлеваемся мы, што таки душевные слова мог написать иноверец и не толмач (переводчик), ну, на худой конец, Ляксандр Сергеич Пушкин, он хуч и арапского происхождению, но коренной — наш, русский, значит, а штоб ирланец какой-то — сумлеваемся мы. — И никто их сомненье развеять не смог.

Вечерело, от воды потянуло холодом. Встал дедушка Пётр и произнёс:

— Ну вот, казаки-уральцы, похристосовались, праздник на берегу провели, попили, поели, погутарили и спели добры песни — пора и по куреням расходиться, а то родительницы ваши уже выглядывают вас из дворов и оконцев — ждут кормильцев. Пора и честь знать! Наливайте, кто хочет — по «стремянной» выпить, и айда по домам.

Появились у костра жёны казаков и стали собирать посуду и остатки еды. Пришла тётя Нюра и принесла дяде Егору костыли. А казаки тем временем налили по «стремянной», выпили и стали прощаться. Пора было идти домой и нам, пацанам, — завтра в школу.

На западе догорала заря и на её фоне, на высоком яру над домами Куреней высился, как часовой, Старый Михайловский собор с подсвеченной в честь праздника колокольней, а внизу широкой лентой текла и блестела серебром вода Урала, соединяющая Европу и Азию.

Антон ГОРЫНИН

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Антон Валерьевич Горынин родился в 1986 году в Оренбурге. Окончил Оренбургский государственный педагогический университет. Автор прозаических и драматургических произведений. Пьесы неоднократно становились финалистами международных драматургических конкурсов. Лирическая комедия «Серая пьеса» вошла в очередной номер электронного «Дайджеста лучших пьес России». Победитель регионального литературного конкурса «Оренбургский край. XXI век – 2015» в номинации «Новые имена». Лучший прозаик по итогам Межрегионального семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России» 2016 года. Автор двух книг, член Союза российских писателей.

Молодым везде у нас публикация...

В конце прошлого — начале текущего года свет увидели больше десяти авторских сборников, изданных силами оренбургского издательства «МВГ» при поддержке Союза российских писателей и Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Большинство авторов новых книг — дебютанты. О молодых авторах и их творчестве мы и расскажем в рубрике «Свиток». Для кого-то из них новая книга станет началом большого пути в профессиональной литературе, для кого-то продолжением, а для кого-то писательство останется любимым хобби. Но каждый из наших авторов, выпустив собственную книгу, сделал серьёзный шаг в творчестве и уже оставил след в литературе.

Оксана Васильева
«Песнь кулика о счастье»

Выпускница филологического факультета Орского государственного педагогического института, новотройчанка Оксана Васильева своей деятельностью подтверждает постулат о том, что талантливый человек талантлив во всём. Оксана — педагог дополнительного образования при Центре развития творчества детей и юношества города Новотроицка, руководитель клуба авторской песни «Васильевский остров», инициатор и организатор Межрегионального детско-юношеского фестиваля авторской песни и поэзии «Васильевка», лауреат многих фестивалей авторской песни, в том числе дипломант знаменитой «Грушинки».

Имеются в творческой биографии Оксаны Васильевой и литературные публикации в городской и областной периодической печати, в том числе и в альманахе «Гостиный двор».

В 2017 году Оксана Васильева выпустила свой первый прозаический сборник под названием «Песнь кулика о счастье». «Начать с книжки рассказов — это почётно. Совершенно не чеховские времена на дворе», — написала в предисловии к сборнику Вероника Долина — та самая, известный российский бард. Все шесть рассказов, вошедшие в книгу, можно объединить одним ёмким определением «женская проза». Да, определение это насколько ёмкое, настолько же и стереотипное. Здесь стоит уточнить, что рассказы Оксаны Васильевой — это не схематичные, однотипные опусы о тяжёлой женской доле, а цельные, глубокие, интересные и поистине трогательные произведения о людях и взаимоотношениях между людьми, написанные писателем-женщиной. И да, эти песни в прозе действительно, в конечном итоге, о счастье. «Можно рваться в Москву и Питер, а ночами мечтать о Париже. Но нельзя не любить место, где ты счастлив, даже если это провинциальный Новотроицк, маленький город в степи».

Катерина Ермолаева
«Зори бесслёзные»

Жительница села Благословенка Катерина Ермолаева, несмотря на молодой возраст, человек заслуженный и в литературном мире известный. Катерина — лауреат областного литературного конкурса имени С. Т. Аксакова за первое произведение (2003), лауреат Южно-Уральской литературной премии (2016) в номинации «Талантливая молодёжь», победитель литературного конкурса молодых писателей «Стилисты добра — 2016» (Челябинск). Катерина Ермолаева является руководителем секции «Юные поэты и прозаики» образовательного комплекса «Юные дарования» при Доме детского творчества Оренбургского района.

Произведения Катерины можно встретить в районных и областных газетах, в альманахе «Гостиный двор», журналах «Урал» и «Литогранка», в сборниках прозы и поэзии «Плавская осень — 2015», «Я научила женщин говорить» (Москва). Прозаический сборник «Зори бесслёзные» — вторая авторская книга Катерины Ермолаевой, в состав которой вошла повесть, давшая название сборнику, а также четыре рассказа.

Катерина Ермолаева пишет о простых людях, живущих в провинции, и делает это на серьёзном профессиональном уровне. Будучи учителем иностранных языков по профессии, Катерина в своих произведениях блестяще использует все возможности великого и могучего родного русского языка. Благодаря, видимо, не только привитому в университете, но и врождённому чувству слова, автор мгновенно втягивает читателя в мир своих произведений. Описанная словами природа в прозе автора имеет и яркие краски, и запах, и определённую температуру воздуха: «Земляную плешину по берегам покрыла уже кое-где трава, Урал дурел от солнца, вспененный, мутный, уже целый месяц, как без льда. Над деревней висел сладкий запах угара — сжигали прошлогоднюю листву и, как никогда, вволю топили бани».

Персонажи, написанные Катериной Ермолаевой, предстают в воображении читателя живыми людьми: «Тоня посмотрела на свои сильные, стройные ноги, чуть схваченные загаром, чуть дольше полюбовалась точёной, изящной, полной рукой: ей ли не плавать? Она была бы, наверное, лучшим пловцом в посёлке! Но у Тони с рождения не было одной руки». В общем, читателей, взявших в руки новую книгу Катерины Ермолаевой, ждёт погружение во всё-таки не бесслёзный, но бесконечно прекрасный мир русской провинции.

Владислав Наумов
«Жертвы»

Сборник рассказов Владислава Наумова, лучшего прозаика по итогам Межрегионального семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России — 2017», «Жертвы» — книга для подготовленного читателя. Владислав — приверженец жёсткого, бескомпромиссного повествования. Если разделить (условно) современную прозу на терапевтическую и хирургическую, то Владислав, безусловно, автор-хирург. (Хирург, но не патологоанатом). Как известно, первый шаг на пути к решению проблемы — это признание факта наличия проблемы. Проза Владислава Наумова — это своеобразная психохирургия: конкретного выхода из сложной ситуации автор, может быть, и не предложит, но будет подспудно вести читателя к свету через подробное, где-то весьма болезненное исследование жизни

и смерти: «Люди не пытались бежать, они только падали, словно домино. Пули вгрызались в тела с глухими хлопками. В воздух навстречу пулям вылетали облачка крови. Снег под толпой сначала порозовел, потом покраснел, а когда стал багровым и уже не впитывал кровь, она ручейками потекла в сторону стрелявших солдат».

Мрачная эстетика и жёсткий реализм, очевидно, берут начало в детстве автора, родившегося и выросшего в суровом рабочем уральском городе Магнитогорск Челябинской области. В Оренбург Владислав переехал после окончания школы, здесь он успел поработать грузчиком, промоутером и консультантом табачной продукции, а с 2014 года Владислав Наумов учится на факультете филологии и журналистики Оренбургского государственного университета. В качестве журналиста Владислав сотрудничал с молодёжным журналом «Акценты», радио «Эхо Москвы в Оренбурге», ныне работает на городском телеканале «UTV (Оренбуржье)». Однако, по собственному признанию, автор, в первую очередь, хотел бы быть писателем. В литературе Владислав выступает не только автором, но и организатором: несколько лет назад он основал литературный альманах под названием... «Декадент» и одноимённое литературное объединение.

Сегодня «декаденты» активно участвуют в литературной жизни города, а Владислав, не изменяя себе, продолжает писать тексты для тех, кто не боится взглянуть на себя в обычное зеркало, а не в отфильтрованную «себяшечку» — селфи. Наркоз при такой вот психохирургии, может, и не подействует, но сама словесная операция окажется эффективной наверняка.

Александр Абрамов «Неудержимость»

Неудержимый Александр Абрамов реализует себя в литературном мире, прежде всего, как организатор. Пожалуй, в городе Оренбурге (да и области) не осталось почти никого, кто бы не слышал что-нибудь о культурном проекте «Другая среда» — проекте, который всего за несколько лет обзавёлся собственной большой постоянной аудиторией, традициями, резидентами-звёздами. То, что в Оренбуржье много талантливой, литературно одарённой молодёжи, не секрет, но именно организаторский талант, энергия и опять же неудержимость Александра Абрамова и сотоварищей предали современной молодой оренбургской литературе оптимальную форму существования. При этом стоит отметить, что «Другая среда» открыта для сотрудничества и активно взаимодействует как с оренбургским Домом литераторов, так и со своим условным конкурентом — проектом «Декадент».

Поэтический сборник «Неудержимость» — первая книга Александра Абрамова. Сам Александр признаётся, что пишет редко и вообще поэтом себя не считает. Тем не менее, стихи, составившие сборник, отличает живость языка, реже — метафоричность. И, пожалуй, самое главное в лирике — искренность. Александр Абрамов не рисует картин, не стремится к обобщениям, не ставит диагнозы современному обществу. Александр с читателем разговаривает — не много, но и не мало. Рифмованный разговор Александра Абрамова с читателем может быть философичным или даже воодушевляющим:

Слышишь!
Оно стучится в груди!
Как молотом по наковальне!
Тебе никогда не бывать
впереди,
Сидя в быту, как в спальне.

Анастасия Уздяева
«Сахар»

Поэтический сборник «Сахар» соль-илечанки Анастасии Уздяевой — вещь, на самом деле, не приторная и диабетикам не противопоказана. Лирика Анастасии хоть и не переслащена, но вкусна, любителям эмоциональных, чувственных стихов о любви в жизни и жизни в любви тут есть чем полакомиться. Анастасия смело экспериментирует со словом, размером стиха и даже с тем, от чьего лица пишет. Автор может вести повествование как от лица женщины, так и от лица мужчины, либо вообще оставаться в стороне, рассказывая о своих героях в третьем лице:

Он говорит, что всё напрасно,
Она ему — что борщ остыл,
И, крася губы
тёмно-красным,
Уходит, раз он так решил.

Но от чьего лица не были бы написаны стихи Анастасии, цель у них одна — самое сердце читателя. И автор в данном случае на зависть меток, сопротивление бесполезно — победа останется за поэтом. Возможно, косвенная причина этому кроется в дате рождения поэтессы.

Родилась Анастасия Уздяева 9 мая 1990 года в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В поэзию Анастасия влюбилась ещё в раннем детстве, а её первые стихи были опубликованы в студенческой газете Оренбургского государственного аграрного университета «Профкомка». На популярном литературном портале Стихи.ру Анастасия Уздяева публикуется под псевдонимом Ерамели. Есть в творческой биографии автора и две номинации на премию «Поэт года» в 2015 и 2016 годах. А там, где номинация, там и до победы недалеко, главное — не сдаваться.

Ирина Лаврина
«Набросок»

Под скромным названием дебютной книги юриста из Оренбурга Ирины Лавриной

скрывается целый мир, мир поэта, полный светлой грусти:

Растворюсь в пелене
октября,
Что вздыхать о прошедшем —
весеннем?..
Не впервые мне юность
искать
В тусклом золоте листьев
осенних.
Всё прощу я — и морось,
и грязь —
За предчувствие первого
снега.
И, уже ничего не страшась,
Улечу в эту осень с разбега.

Определённое настроение пронизывает все произведения, составившие поэтический сборник «Набросок», но вместе с тем для лирики Ирины Лавриной характерны впечатляющие эмоциональные перепады. На первый взгляд, лирическая героиня может показаться слишком романтичной, если не сказать изнеженной, но при более близком знакомстве читатель поймёт, что всё не так просто...

Я — не Татьяна. Письма при
свечах
Во мраке ночи сочинять
не стану...
Не напишу при солнечных
лучах
Посланий для тебя... Я —
не Татьяна.

Не Татьяне, но Ирине Лавриной, как человеку пишущему, повезло попасть в правильные руки, а именно в областное литературное объединение им. С. Т. Аксакова под руководством известной российской поэтессы Дианы Кан. Уж кто-то, а Диана Елисеевна придать огранку драгоценным поэтическим дарованиям умеет. Являясь активной участницей литературного объединения, Ирина Лаврина часто выступает со своими стихами на различных культурных мероприятиях городского и областного значения. За несколько лет серьёзного отношения к своему творчеству Ирина стала лауреатом премии альманаха «Гостиный Двор» «Чаша бытия», публиковалась в нижегородском журнале «Голгофа» и, конечно, в альманахе, а с некоторых пор журнале «Гостиный Дворъ».

Виолетта Куделина «От соцветия до созвездия»

Девятнадцатилетняя Виолетта Куделина так же, как и Ирина Лаврина, состоит в областном литературном объединении им. С. Т. Аксакова. Параллельно с постижением метафизической науки быть поэтом, Виолетта учится в Оренбургском педагогическом колледже им. Н. К. Калугина на учителя начальных классов. Юная поэтесса со своими вполне зрелыми стихами принимала участие в городских литературных мероприятиях «Стихоборье», «Красная гора», семинаре-совещании молодых писателей «Мы выросли в России». Виолетта публиковалась в сборнике молодых писателей «Здравствуй! Это — я!»,

альманахах «Гостиный двор», «Русское эхо» (Самара), «Отчий дом» (Новокуйбышевск).

А стихи Виолетты Куделиной выглядят действительно зрелыми: здесь взвешено каждое слово и нет ни одной случайной рифмы. Даже названия «по первой строчке» в оглавлении дебютного сборника Виолетты порой складываются (случайно?) в строки, которые можно объединить одним смыслом, например: «Некому больше адресовать баллады...», «Наслаждайся спокойно своим величием...»

В названии поэтического сборника Виолетты Куделиной кроется целый путь «От соцветия до созвездия» — снизу-вверх, от простых вещей до высоких смыслов. При этом стихи автора — это не билет в один конец. Виолетта Куделина предлагает совершить поэтическое восхождение к звёздам и вернуться на землю — к привычным соцветиям, на которые слетавший туда и обратно читатель будет смотреть уже другим, возвышенным взглядом. Взгляд автора на мир и его обитателей предполагает, что нет здесь ничего случайного, а противоположности всегда взаимодействуют — неочевидно, но факт.

Придумали нас друг для друга
По лету, да по зиме...
Я — белая шумная вьюга,
Ты — дождь в затуманенной тьме.
Я — тусклый раскосый месяц,
Ты — взбалмошной отсвет луны,
Я — гостья раздетого леса,
Ты — мать молодой бузины.
<...>
Придумали нас друг для друга
Из «плохо» и «хорошо»...
Мы — дождь бесконечный и вьюга
С одной на двоих душой.

Василий Миронов
«Яблочный спас»

И ещё один участник литобъединения им. С. Т. Аксакова — оренбуржец Василий Миронов. Литературным творчеством кандидат юридических наук и отец троих детей Василий Миронов увлёкся в 2011 году. За несколько лет начинающий автор сумел стать полноценным участником литературной жизни региона. Василий — участник Межрегионального семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России» (2016 — 2017 гг.), победитель конкурса «Стилисты добра» (Челябинск, 2017 г.). Публикации Василия Миронова можно встретить в журнале «День и Ночь» (Красноярск) и альманахе «Гостиный двор». И вот теперь у Василия Миронова вышла дебютная авторская книга — поэтический сборник под чрезвычайно полезным и вкусным названием «Яблочный спас».

Василий Миронов щедро делится с нами урожаем своих стихов — добрых, печальных и радостных, больших и маленьких, простых и не очень. Лирика Василия отличается овеществлением, обращением к простым и понятным всем и каждому вещам. Вот подоконник, что «когда-то был высок»; мамина «волшебная» сумка, в которой «от вкусностей тесно», но «сладкого будет немного»; большое лоскутное одеяло, под которым Он обнимает Её... И ещё много-много всего материального, посредством чего раскрывается мир чувств, субъективное восприятие поэтом окружающего мира.

А подсолнух-лебедёнок
То ли в грусти, то ли без,
Стал согбенной шеей тонок,
Отвернулся от небес.

Не был мне подол пелёнкой,
Не была кукушкой мать,
Но с поникшим лебедёнком
Будем вместе горевать.

Но горевать с поэзией Василия Миронова одно удовольствие, ведь его лирика действительно похожа на свежие, созревшие (но не вызревшие) плоды, вкусив которые, читатель примет дозу витаминов счастья, счастья просто быть.

Ирина Киселёва
«Спиральная Немезида»

Основная часть творчества школьного учителя из Оренбурга, резидента творческого проекта «Другая среда» Ирины Киселёвой — проза. Ещё в школе Ирина сочиняла короткие рассказы о космических экспедициях, а иногда и стихи. К моменту издания дебютной книги стихов у Ирины накопилось много, так что сборник с астрономически спорным названием «Спиральная Немезида» получился поэтическим.

Но и в стихах Ирины Киселёвой чувствуется рука прозаика, к тому же Ирина явно не из тех авторов, кто всю жизнь, так или иначе, пишет одну книгу. Ирина Киселёва в своём творчестве затрагивает самые разные темы, все стороны жизни, от отстаивания мечты вопреки неминуемой гибели в «Спиральной Немезиде»:

Мы отстоим свою мечту.
Свою, твою и им поможем.
И Немезида не страшна:
Себя судить мы станем
строже!

...до веры в рождение лучшего мира в постановке «Всё во имя веры»:

Жрец:

Мир вечно обречён искать
Себе кумиров или божества.
Как прошлогодняя листва,
Спадает вниз в саду иллюзий
Очередное заблуждение.
На чистых идеалах тенью
Лежат тиранов имена.

Жрица:

Стекают реки в океан
Ничто:
Уносит Летой память,
Стиксом — души.

Мы верим — мир родится
лучший,
И рано подводить итог.

«Миром правят слова» — любит повторять Ирина Киселёва, и вдохновение автор находит, прежде всего, в словах и даже мечтает написать литературное произведение, которое, благодаря технике или психологическим приёмам, позволило бы создать у читателя ощущение, что именно он — главный герой или антигерой произведения. И несмотря на то, что порт подключения читателя к истории и героям через сопереживание изобретён давно, мы будем ждать от безусловно одарённого автора Ирины Киселёвой нового литературно-технического слова в искусстве!

Любовь Ки (Сухарева)
«Зазеркалье»

Хорошо, когда ты никто —
Никому не должен, ни с кем
не спишь,
Не последний грешник и
не святой.
Дышишь потихонечку и
творишь.

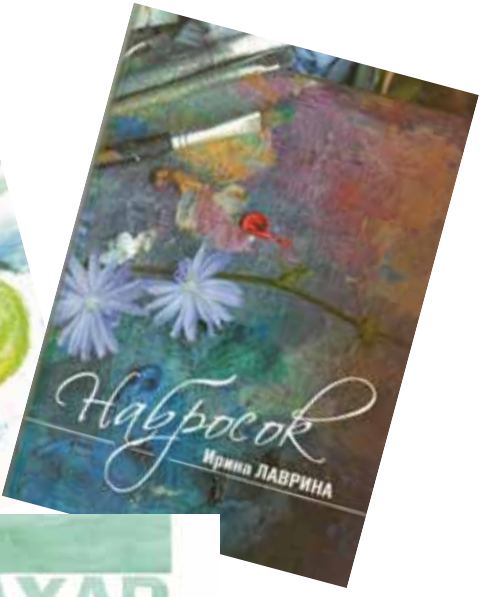
Лучший поэт по итогам Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России» 2017 года Любовь Ки (Сухарева) тоже принимает активное участие в донесении поэзии со сцены в проекте «Другая Среда». Её произведения вошли также в сборник «Другой Среды» «История вдохновений». Авторский поэтический сборник с притягательным названием «Зазеркалье» стал для Любови полноценным литературным дебютом. Свои стихи Любовь называет душевным стриптизом, и это красиво. Красоту лирики Любови Ки составляют нетривиальные рифмы, трогательные образы и, конечно, сама искренность лирической героини, пытаясь понять которую, вдруг понимаешь, что речь идёт о тебе самом:

А помнишь,
Помнишь,
Как мы боялись перестать
верить/
мечтать/говорить глупости/
думать истины,
Ловить ртом снежинки,
кидаться листьями?
Мы боялись,
Боялись вот этой осени —
когда станем взрослыми.

Однако, несмотря на пронизывающую все стихи автора первую «взрослую» осень, лирику Любови Ки нельзя назвать депрессивной. Как раз таки наоборот, Любовь призывает читателя радоваться всему, самой жизни во всех её проявлениях, будь то «солнца золотые лучи» или птицы, что «клюют в глаза и сбивают с ног»:

Ты не можешь знать,
для чего и кому всё это,
Но ты можешь влюбиться
в эту планету
И попробовать стать
поэтом.
Радуйся.

Василий Миронов
Яблочный Спас


Набросок
Ирина ЛАВРИНА

САХАР
Анастасия Уздяева

Александр Абрамов
НЕУДЕРЖИМОСТЬ

Любовь КИ
ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Зори бесслёзные

Василий Денисов
Разные взгляды

Оксана Васильева
Песнь кулика о счастье

ВЛАДИСЛАВ НАУМОВ
ЖЕРТВЫ

Спиральная Немезида
Ирина Киселёва

Василий Денисов
«Разные взгляды»

Для литературы оренбуржец Василий Денисов — пришелец из изобразительного искусства. Василий — выпускник Оренбургского художественного училища и Магнитогорского технического университета имени Г. И. Носова по специальности «Дизайн». Не изменяя своей основной профессии, он иногда откладывает художественные принадлежности в сторону и берёт на вооружение Слово. Василий Денисов пишет прозу — рассказы и эссе. Рассказ Василия «Вечерний променад» был опубликован в оренбургском альманахе «Башня» за 2015 год. В 2017 году вышел первый сборник литературных произведений молодого художника под названием «Разные взгляды». Художник один, а взгляды разные — по-своему, концептуально.

Истории (рассказы) и размышления (эссе) в книге Василия Денисова действительно разные: грустные и весёлые, о разных людях и разных явлениях жизни. Рассказывая частные истории, автор тяготеет к обобщениям; сколько героев, столько и историй, но все мы живём в одном мире и, так или иначе, подчиняемся общемировым законам. Точнее, подчиняемся мы одному закону, который условно можно назвать — тягой всего сущего к равновесию, если угодно к гармонии, такой вот метасюжет. Так, беспринципный хирург, не оказавший должного внимания бездомному с гангреной, волей судьбы, сам погибает, как бомж; щенок бультерьера по кличке Пупыч, случайно оказавшийся на улице без хозяина, находит чудесное спасение у незадачливого сторожа складов; попавшего из-за собственной беспечности в ДТП «любителя Германии» спасает на волжской трассе ветеран Великой Отечественной войны»...

В своих эссе Василий Денисов прибегает к обобщениям уже напрямую. Каждое эссе Василия — это один, написанный подробно, через определённую систему образов, вывод его размышлений на ту или иную тему. Например, в невесёлом эссе «Апокалипсис» автор делится с читателем своим предположением, что пресловутый конец света для нашей страны уже произошёл, и мы уже четверть века живём, по сути, в эпоху постапокалипсиса. Автор сравнивает человека-потребителя с зомби: «интернет-зависимость и сотовомобильное рабство», пришедшее к нам с Запада делает своё дело, отнимая у человека истинные ценности и настоящую жизнь. Хорошая новость, по мысли Василия Денисова, тут только одна: «Атомной войны в ближайшем будущем не будет», обходимся без неё. Насколько эта новость, ввиду выше сказанного, действительно хорошая, решайте сами. Но общемировой закон «тяготения к равновесию и гармонии» работает, и дело художника помочь Миру в соблюдении закона, придуманного не нами, но для нас.

Любовь КИ (СУХАРЕВА)

ПРОСЧЁТ

Мне не понять тех матерей,
Чьи дети плачут у дверей
Чужих домов.
Им поучиться б у зверей
Быть терпеливей и добрей,
Любить без слов.
Они украдкой по ночам,
Уподобляясь палачам,
Творят свой грех.
И я не верю их речам —
Даётся ноша по плечам
Всегда для всех.
Когда задумывал творец
Нас, как творения венец,
Там явно был просчёт:
Хватило не на всех сердец,
Душ не хватило наконец
И многого ещё…

К МОРЮ

Я больше не хочу никаких
историй,
Я хочу к морю,
Просто к морю.
Я больше не играю, давно не
спорю,
Мне надо к морю.
Ты слышишь? К морю.
И чтобы крики чаек, и всё
такое.
Хочу покоя,
Внутри покоя.
Хочу, чтоб тело млело в тени
от зноя,
А дух оставил мысли: зачем и
кто я.
Из звуков — лишь шуршащие
сны прибоя.
Сдаюсь без боя,
Сдаюсь
Без
boy
я.

СНЕЖИНКИ

Позвольте человеку быть собой,
Не прятаться под маскою успеха.
Смотрите, как он светится от
смеха,
Когда в его душе царит покой.
Позвольте человеку быть
смешным,
Ему простите страхи и чудинки.
По сути, все мы Божии снежинки,
Столь филигранно созданные Им.
Как мы жестоки и строги порой
К тем, кто от нас отличен лишь
на вид.
Позвольте человеку быть собой —
Поверьте, он ещё вас удивит!

РИСУЮ

Я закрываю глаза — зима,
Я подставляю ладони — снег.
Так вот обычно сходят с ума —
Вечный холод и вечный бег.
Мой покой расклевали вороны,
Мои башни сорваны.
Я с ладоней кормлю шакалов,

Я устала.
В голове имена и даты —
Не об этом взахлёб когда-то.

Я брожу среди улиц блёклых
И рисую стихи на стёклах.

И МОРЕ...

Не надо бояться, мама,
Что я окажусь одна.
Мои заживают раны,
Не надо о них стенать.
Не надо бояться света,
Что я не гашу всю ночь.
Оставь мне мою планету
И просто прими. Как дочь.
И просто приди и слушай,
Пока я тебе молчу.
Пусть сядут в обнимку души,
Как сёстры — плечом к плечу.
Не надо бояться, слышишь —
Всё страшное позади.

И звёздами вечер вышит,
И море шумит в груди...

Василий МИРОНОВ

* * *

Льва игрушечного грива
Истрепалась, хвост повис.
Смотрит царь зверей тоскливо
Из-за мусорных кулис.

Время содранных коленей
Отжурчало. В детской вдруг
Лучшим другом за мгновенье
Стал мальчишке ноутбук.

Лев скучал на пыльной полке,
Вспоминал ребячий гам,
И сбежал он втихомолку,
Шерсть роняя по следам.

Приютился на помойке,
Словно жизни лишний груз.
Смотрит грустно: «Вы со мной-то
Поиграйте, я сгожусь!»

* * *

Я не люблю семейных
фотографий
И собственные тоже не люблю.
Они напоминают мёртвый
кафель,
В котором жизнь приравнена к
нулю.

И прожитое, словно неживое,
Надгробьями уложено в альбом.
На снимках я навеки успокоен
И меж страниц альбома погребён.

Правдивый на мгновенье
фотослепок
Стареет в быстротечности минут.
Я изменился, а в альбомном
склепе
Меня юнцом и правнуки найдут.

Я жив и счастлив! Где
фотограф, где же?!
Спеши меня таким запечатлеть!
Но звук затвора снова безутешно,
Как выстрел, обратит живое в
смерть.

* * *

Небесный кочегар изжарил
город,
Но от жары испёкся даже он.
Померкло солнце, туч ползучих
ворох
Укрыл вдруг раскалённый
небосклон.

Ударил гром — загрохотали
бубны
И молния разлапистость антенн
Хлестнула с треском. Капли
смачно, трудно
Упали, словно в пекло падать
лень.

Вскипел асфальт — дождь
пузырился с жаром,
Хлебал в три горла жадно
водосток.
А крыши хохотали с кочегаром
Над теми, кто пустился наутёк.

Ирина ЛАВРИНА

* * *

В безликом промозглом городе Н.
Ты пишешь ей письма и ждёшь
перемен…
Остыл чёрный кофе. За окнами
мрак.
Ты снова онлайн… что-то
пишешь… простак…

Посланья растают, как лёд
жарким днём,
Ты грезишь о том, как
мечталось вдвоём.
Ты рад бы с привычной дороги
уйти…
Но так опрометчивы смены пути.

Привычнее в призрачном
городе Н.
Онлайн её видеть и ждать
перемен,
Писать до утра… И пусть ей всё
равно
В далёком заснеженном городе О.

* * *

Я пишу. Весенняя прохлада
Заключила в плен своих оков.
Мой клубок из мыслей, чувств
и слов
Расплести давно уже бы надо.
В этих строчках — вся моя душа,
Её голос. Сердца тихий трепет,
Губ моих ещё наивный лепет…
Я прошу читать их не спеша.

* * *

Есть вспышка в угасании костра,
Есть красота во мраке тёмной
ночи,
Есть искра в каждом «завтра»
и «вчера».
Быть может, что-то есть и в
этих строчках.

И даже в льдинке — капелька
тепла,
И даже в крике — тихое шептанье.
Есть правда в той мечте, что нас
влекла,
Намёк на встречу — в каждом
расставанье.

И утренний рассвет не скроет мгла,
И в тишине есть лёгкий листьев
шелест.
Сквозь зимний плен
прозрачного стекла
Я вижу бури ласковую прелесть.

Анастасия УЗДЯЕВА

* * *

Песня перестанет быть стихами —
Я тебя любить не перестану.
Разбросав мечты свои словами,
Ждать тебя готова неустанно,
Посвящать тебе свои молитвы,
Никогда не забывать о боли.
Нет на свете тяжелее битвы —
Той, что называется любовью.

так выходит

так выходит, что кто-то
становится дорог —
без причин, запятых, мелочей,
недомолвок.
он придёт и потреплет тебя по
плечу:
«без тебя не смогу, без тебя не
хочу».

так выходит, что кто-то
становится близок —
без условностей, правил,
попыток, приписок,
и неважно, когда и зачем он
пришёл —
ведь остался, и это уже хорошо.

так выходит, что кто-то
становится важен —
без вранья, пересудов, придумок,
бумажек.
в мире вздора, хлопот, суеты
так выходит, что для меня этот
кто-то — ты.

как зовут её

Я что звоню-то —
Ты скажи, как зовут её,
И какие она выкидывает номера,
Чтобы ты от неё не удрал?
Почему её лодыжки тебе милей?
Как твой голос сливается в гул
от её дыханья,
И какие шепчешь ты ей
признанья,
Провожая босой по утрам у
дверей?
Как ты расползаешься по ней,
словно сажа?
Что ты мне, без сомненья,
ничем не обязан,
Покрутив пару раз у виска,
И как жрёт тебя без неё тоска.

Александр АБРАМОВ

ПАПА

Скажи мне, папа, где ты есть?
Когда ты будешь рядом?
За что же эта Божья месть
досталась мне в награду?

А может, вовсе и не месть,
а просто испытание?
Узнав в пять лет такую весть,
найти бы оправдание.

Ну что за жалкий промысел
с детьми — как в лотерее:
без мамы иль без папы ты?
Без выбора, скорее.

Нет-нет, вы не подумайте —
не жалуюсь сейчас.
Оно, наверно, к лучшему,
что Бог от папы спас.

А сколько же подобных
спасённых сыновей
рвут головы раздумьями
про мысли матерей?

О том, что мамы милые,
увы, не спят ночами,
мы лица их унылые
порой не замечаем.

И только верить хочется,
что папа будет рядом.
«Не в радость одиночество!» —
кричу бессловно, взглядом.

Скажу, может, это стон лишь:
«Привет. Я твой сын. Как дела?
Ты маму вообще-то помнишь?
А мне уже двадцать два».

На этом, пожалуй, закончился б
наш с отцом разговор.
Не знаю, насколько правдивым
окажется этот вздор.

И есть вообще-то смысл
встречаться с ним тет-а-тет?
Сердце шепчет: «Конечно»,
а разум твердит, что нет.

Поэтому точно не властен
над ходом судьбы своей,
тревогой она украсит
обыденность серых дней.

И в миг предельного бедствия
созреет во мне ответ:
«Плевать я хотел на последствия,
Пойду покупать билет».

Ирина КИСЕЛЁВА

ЛЮБИМОЙ И НЕНАВИСТНОЙ «ДРУГОЙ СРЕДЕ»

I

Скорей! Ослаблена удавка! В стаю
крылатых тварей неземных!

До полнолуния осталась
бесчисленных мгновений малость,
но невозможно улизнуть от них.
Раскрыв глаза и крылья
расправляя,
хватая воздух воспалённым зобом,
стремишься за пределы рамы,
за окно,
с трудом удерживая крик, и
в незнакомом
месте держишься едва.
Принадлежат полёту оба
ободранных, потасканных крыла.

II

Скорее! Прочь из рамок! Ну же...
Но новые вы строите границы.
И восприятие шире,
Восприятие уже...
Какой породы вы, подруги-птицы?
Какой летун для ВАШИХ рамок
нужен?
Вы птицы дивны, птицы чудно
горды.
Но крыльев нет у гордых птиц.
И в подтверждение вашему
позору
Я слышу шелест тоненьких
страниц.
Красивая идея стала ложью,
А сокол обернулся вдруг
павлином.
Вот только в дружной стае куриц
и пингвинов
Услышать пение прекрасное так
сложно!

III

А ты? Чего же хочешь ты,
Мой разноглазый сокол?
Показывать свой хвост? Красиво
шаркать лапкой?
Без этого тебя ведь не услышат.
Что делать, если петь ты не
умеешь громко?
И кто из нас на самом деле
жалкий?..

Я — кит, и я ныряю глубоко,
И слов моих вам ни за что не
разобрать.
На дне так тихо, сыро и темно.
Но победите всё же вы
желавшего летать!
Скорей! Ослаблена удавка! В стаю
Крылатых тварей неземных...

ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ КАЯ

Заболела внезапно в мае
безнадёжно, неизлечимо.
И причину я понимаю —
очень хочется быть любимой.
Потому не ищу лекарства
и от жара внутри сгораю.
Обещала судьба полцарства
за осколок из сердца Кая...
Потому я, ломая ногти,
на скалу надежды взбираюсь.
Сбив до крови босые ноги
и стегая злодейку-жалость,
всё бреду. Небо близко-близко —
я рукою его касаюсь.
Ветер холоден и неистов,
но до цели осталась малость.
И сгорает дотла, и пышет
сердце бедное на ладони.
Дождь горячий стучит по крышам,
ночь мятежная грозно стонет.
Но дойду, донесу до Кая
свет души моей в полной мере.
И осколок внутри растает,
если оба мы в это верим.

Оксана ВАСИЛЬЕВА

ДЕСЯТОЕ МАЯ, ИЛИ ПЕСНЬ КУЛИКА О СЧАСТЬЕ

К большому городу с многовековой историей просто испытывать сильные чувства. Можно любить или ненавидеть Москву и Питер, можно мечтать поселиться в них или, демонстративно закатывая глаза, произносить: «Да чтобы я жила там?! Никогда! Только Париж!»

Что же касается Новотроицка, маленького, провинциального, далёкого от центров и морей, весьма молодого и потому ещё очень скромного в своих проявлениях города, можно прожить жизнь, не догадываясь о его существовании.

Откуда же возникает эта болезненная привязанность и нежность к месту, прочно утвердившемуся в сознании как «мой город»?

Десятого мая мы с сыном Федькой, одуревшие от целого дня ничегонеделания, выходим на улицу в девять вечера. Нет никакой определённой цели, мы просто проветриваемся.

Уже стемнело, и небо ярко-синее, как детская иллюстрация к гоголевской ночи, чуть светлее на западе и темнее на востоке. Горят фонари. В их свете молодые листья на тополях кажутся покрытыми лаком. Людей на улице почти нет. Город старательно отгулял праздники и теперь, словно прилежная ученица, с вечера собирает свою жизнь в будничный портфель. Неторопливо проезжают редкие машины. Стучит по рельсам пустой трамвай.

Федька вырывает руку и бежит вперёд, дикими прыжками изображая всех Черепашек-ниндзя сразу. Его невидимые враги, не выдержав натиска, валятся по обе стороны тротуара, и Федька скачет дальше. Он счастлив.

Я смотрю на него и, как обычно, раздумываю о многом одновременно. О том, что за зиму Федькины джинсы стали коротки и нужно покупать новые. И о том, что ему сейчас это совершенно не важно. И о том, что он счастлив просто так, без объяснения причин. И о том, что я всё реже бываю счастлива просто так. И чтобы почувствовать себя счастливой, должна для начала напомнить себе об этом и объяснить, почему я имею право так себя чувствовать, и почему... Да к чёрту объяснения!

Я иду с ребёнком по городу, который ощущаю и знаю своим до каждой малой трещины в асфальте. Я здороваюсь с листьями и похлопываю по

бокам дома. Я смотрю, как развеваются на балконах полосатые банные полотенца, словно флаги, вывешенные на центральной улице города. А знакомая дворняга тычет холодный шершавый нос в опущенную мною ладонь. И ещё я знаю, что скоро нам надоест гулять, и мы с Федькой вернёмся к дому. И над нашим ясенем будут светить три окна, за которыми нас любят и ждут.

И если это не счастье, тогда я ничего не знаю о счастье!

Можно рваться в Москву и Питер, а ночами мечтать о Париже. Но нельзя не любить место, где ты счастлив, даже если это провинциальный Новотроицк, маленький город в степи.

Катерина ЕРМОЛАЕВА

МАТЬ И МАЧЕХА

Отрывок из рассказа

Над Уралом поднимался густой пар, казалось, ещё немного, и вскипит мутная, осевшая с весны река. По берегам взлохматилась сочная зелень, на мокрой склизкой земле виднелся глубокий отпечаток ступни. Это она, Софья, сбежала вчера с крутого яра босиком, остановилась у воды, замерла словно. А потом, тяжело дыша, раскрыв широко бешеные глаза, в каких томились ледяной ужас и боль, бросилась в реку, заплыла в самую кипень, а в голове её гремело: «Утопиться! Уйти! Насовсем!»

Ногу разом свело судорогой, Софью потянуло ко дну, но, хлебнув воды, осознав, что в омуте речном ей никто не поможет, она испугалась. Выныривала, бултыхала руками и здоровой, сильной ногой, как могла. Заорала что есть мочи:

— Тону-у! Спасите!

Из двора, крайнего от Урала, выбежала перепуганная Анна. В платье, как была, кинулась спасать Софью. Волокла её из воды, хватая за длинные космы. Свежи в памяти были недавние, в горячности сказанные слова Софьи, и Анна, сразу смекнув о затее молодой соседки, заругалась:

— Дура, Сонька, дура! Последние мозги выветрились, поди, у тебя! И почто ж тебя твой Роман держит, не знаю. Давно бы бросил дурёху!

Софья сидела на траве, подобрав длинные ноги под себя, и мелко сотрясалась всем телом. Намокшая бретель цветастого сарафана спала с хрупкого плеча, и на нём показалась незагорелая полоска кожи.

— Легко ть-тебе, Анна Дмитриевна, гов-ворить. У тебя детей целый выводок. А мне бы хоть одного родить, и то не мог-гу-у.

— Да не топиться же тебе из-за этого! Тьфу, бестолковая ты баба!..

Теперь же Софья стояла на берегу и вдыхала сырой, пресный у реки воздух. Сильной точёной ногой ступила в воду, что обволокла теплотой и мокротой своей, заколыхалась-забилась у щиколотки. В горле щекотнуло и сдавило ещё страшнее, чем накануне, рука поползла к лицу, растёрла горячую, с утра просившуюся слезу.

В ногу ударялась рыбная мелочь, но Софья не чувствовала и этого. Осторожно и второй ногой ступила в воду. «Топиться?» В ответ на мысли гулко грохнуло сердце. «Даже и утонуть не могу, сил нету!»

Содрогнувшись, Софья опустилась на склизкий берег, оставляя ноги в воде. Вспомнилась вчерашняя передача, которую включил, собираясь на работу, Роман. «Дитё — это благословение Божие». Софья тогда уронила заварной чайник. Роман, беспокойно скользнув по ней взглядом, молча выключил телевизор. Ничего не сказал он, не знающий уже, как утешать Софью. Обнял крепко, что даже косточки хрустнули, поцеловал и ушёл.

А ей эти слова поперёк изболевшейся души. Что она — проклятая, что ли, раз ей не дал Господь такого благословения? Или брак их проклятый? Но в семье у них нет разлада. Роман, переживая не меньше Софьи из-за бездетности, всё же находил в себе силы не отчаиваться, относился к ней по-прежнему тепло. И она грелась около огонька этого, находила силы и сама, чтобы бороться. Но время гнуло своё: вот уже шестой год пошёл, а детей у них не было.

Платье отяжелело от влаги и перепачкалось. Софья подняла с земли камешек, сжала в ладошке. Нет благословения! Зачем тогда ей жить? Год назад они продали машину ради последней надежды — ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. Но ничего не прижилось в ней, пустобрюхой, даже за такие деньги. На вторую попытку денег не было. Там, в больнице, Софья познакомилась с семьями, кто и после второй, третьей попытки не сдавались. Люди лезли в долги, лишались жилья. Нагляделась Софья на таких. У неё, бессильной, воли-то уже осталось на донышке самом.

Медленно встала, одёрнула прилипший к телу подол. Сжав руки в кулачки, быстрым шагом пошла домой. Надела длинную юбку, отыскала в закромах неношеный платок. Глянула на себя, другую, в зеркало: лицо, обрамлённое белым платком, стало строгим. Но не старил её, на удивление самой Софье, непривычный платок. Длинная юбка нарядно легла на стройный стан, обхватив крепкие ноги светлым кружевом.

Софья направилась к храму.

В церковном дворе наткнулась на Анну с ребятнёй. Та чуть заметно улыбнулась Софье, в

глазах теплилась радость, что увиделись здесь, у церкви, а не у речного омута. Анна, взяв Софью под локоть, отвела её в сторону, оставила детей играть чуть поодаль.

— Сонечка, хорошо, что пришла, милая! Только надо было пораньше. Перед праздником крест выносили. — Анна отодвинула кудрявую прядку с лица и опустила глаза. — Ты уж прости меня, что я на тебя так… наругалась тогда. Но дурь свою выкинь из головы! И у меня, подумай, Соня, жизнь не мёд. Про меня знаешь, что люди говорят? Баб Веру помнишь Ерёмину? Ну вот, та мне ещё, когда я третьим беременная была, высказывала: куда тебе, мол, рожать, не хватит ли уже? А как Федюня, четвёртый, родился, так вообще люди отворачиваться стали. Сейчас же в моде — не более двух детей. Ну молодёжь, какая на третьего решается, это подвигом считают. А меня поносят: куда, мол, нищету плодишь? Так что ты не больно-то мечтай. Да и у Бога, Соня, на нас на всех свои планы. А вот ты правильно в церковь собралась, ты подойди к отцу Сергию, он тебе всё расскажет, по-мудрому объяснит.

Анна, подбадривающе прихлопнув её по руке, пошла, позвала свою детвору и тут же потерялась в разноцветье ярких детских панамок, а её самая младшая, пятая, Варюша, протянула ручки и уселась на руках Анны, сладко зевнула. Софья загляделась на детей, на прямую, решительную во всём Анну и, пятясь, почти уткнулась затылком в плечо седовласого батюшки.

— Извините, — растерянно пробормотала. И уже посмелее добавила: — Здравствуйте, отец Сергий.

Батюшка из-под лохматых бровей поглядел на незнакомую молодую женщину. Вытер носовым платком бисерины пота на изрезанном морщинами лбу, провёл по широкому носу, сужающемуся в переносице в тонкую полоску, почти ниточку.

— Здравствуй, здравствуй, доченька. Хотела чего?

Софья несколько секунд молчала, пустой взгляд её направился на взрыхлённую клумбу. Потом подняла на отца Сергия глаза, в каких тлела столь невыносимая тоска, что батюшка вздохнул и в ожидании свёл брови.

— Да я, отец Сергий, уже не знаю, что делать, куда деть себя. Пыталась вчера топиться, — Софья шмыгнула носом, подбородок её мелко затрясся.

— А, вон чего, — выдохнул батюшка. — Такая молодая, красивая, а мысли-то откуда такие, девонька? Пойдём-ка, пойдём, расскажешь всё подробнее.

Отец Сергий повёл Софью в деревянную беседку, построенную рядом с храмом. Там Софья, рыдая и сотрясаясь, с надрывом, какой копился у неё много лет, рассказала батюшке всё. И про бездетность, про попытки ЭКО,

отчаяние и, наконец, про вчерашний её поступок.

Батюшка слушал молча, опустив голову, чуть заметно лишь кивая Софье, а она не останавливалась и всё говорила, говорила. Наконец спросила, глядя беспомощно в добрые глаза отца Сергия:

— Батюшка, вот скажите, говорят, что ребёнок — это благословение Божие. Почему меня Господь не благословляет, я что, порченая какая-то? Наказывает меня Господь?

Белёсая борода отца Сергия колыхнулась, в глазах — беспокойство:

— Что ты, доченька, что ты! Господь никогда не наказывает. И не отдаляет нас от себя. Отдаляемся мы сами. А всё, что делается вокруг нас, делается во благо нам.

Софья распрямилась, утёрла слёзы. Только изредка всхлипывала, как ребёнок, неглубоко вдыхала и замирала, словно боясь чего-то. Но от батюшки отходила такая тёплая волна доброты, что Софья, присмирев, спросила:

— А в чём тогда проблема, батюшка? Отчего же так?

Отец Сергий улыбнулся:

— А это лишь Господь знает. Но ты, Сонечка, не отчаивайся. Я же тебе говорю: во благо всё нам даётся. Ты не забывай, что этой нашей жизнью мир Божий не ограничивается. И Господь всё так устроил, что мы через страдания наши спасаемся. У кого-то иной путь, не родительский. Нам же главное — спастись, то есть не попасть в ад. Спастись можно в браке. Получается, что цель брака — это не рождение детей, а спасение. А кому-то если и суждено иметь детей, то, бывает, не сразу: ну тут со смирением подождать надо, и всё будет ему. Вот так одна супружеская пара долго не имела детей. Женщина часто молилась у иконы Иоанна Русского, но Господь не давал её семье ребёнка. Тогда однажды, впав в печаль, женщина вскричала перед иконой святого: «Святый Иоанне, что я сделала такого, что ты возненавидел меня?» Тогда ночью к ним явился сам Святой Иоанн и сказал ей, что святые никогда никого не ненавидят, а что у неё нет ещё дитя — так это нет ещё на то Божьей воли. Ещё добавил, что через два года эта радость её посетит. Так оно и вышло через два года. Вот какая история, Сонечка! А ты отчаиваешься, самоубийство хотела над собой учинить. А это грех како-ой! Ты знаешь, дитя, что таких самоубийц на том свете ждёт? Ох, врагу не пожелаешь! А ты вон чего задумала…

Плечи Софьи снова дёрнулись, из скорбно сомкнутых губ вырвался стон.

— Ну-ну, не плачь. Уберёг тебя Господь руками твоей соседки. Теперь на исповеди только сказать бы тебе… Ну это по желанию, конечно. А бездетность, Сонечка, может быть и даром даже. Да-да! Ведь ты можешь проявлять материнские качества

к другим детям. Сироткам помогать, например. Те, у кого свои дети есть, не задумываются об этом. А ты вот можешь. Так что не плачь, Сонечка. Не отчаивайся. Уповай на Бога, и всё тебе будет.

Софья, до этого сложившая руки на столе, уронившая голову свою в раскрытые ладони, вдруг приподнялась. Взор её просветлел, и мысли стали чёткими, словно их дождём весенним промыли.

— Батюшка, а может быть, у меня это по грехам?

— Это, девонька, только Богу и тебе известно. Если есть за тобой какой грех, может, и по грехам, — тихо и смиренно ответил он.

— Аборт, батюшка, это грех? — помявшись, решила спросить Софья.

Отец Сергий даже переменился в лице:

— Страшный. Это, доченька, убийство.

Глаза Софьи ширились от ужаса, рот искривился. А батюшка продолжал:

— Сейчас принято называть аборты так мягко, завуалированно: «Искусственное прерывание беременности». И никто не называет это смертоубийством, а ведь если бы называли, то всё бы стало на свои места. И, глядишь, поубавилось бы число абортов… Женщина, которая идёт на аборт, по сути, считает, что распоряжается просто своим телом. Но это ведь не так. Ребёнок, растущий в утробе матери, — это не часть тела матери, а уже отдельная, самостоятельная человеческая сущность. А за убийство человека — собственного дитя — на мытарствах, а тем более на Страшном суде, с нас, грешных, спросится.

Софье вмиг вспомнился тот день, когда она, юная и бестолковая, решилась на эту операцию. С Романом они тогда ещё только встречались, оба — студенты. О свадьбе, детях ещё и не думали, нужно было сначала диплом получить. А тут вдруг нежеланная беременность. И родители настаивали на аборте, вот Софья, не долго думая, и собралась. Врачи предупреждали, что может быть после этого бездетность, проблемы со здоровьем. Но им, молодым, до того ли было тогда? А здесь вон как всё вывернулось: не телесные недуги хуже всего, а духовные ошибки. Она, Софья, оказывается, убийца!

Как на духу рассказала батюшке Софья и об этом. Отец Сергий, смиренно опустив голову, тихо подсказал:

— Это, доченька, не только твой теперь грех. Но и супруга твоего. Да ещё ко всему — связь до священного, благословлённого Богом брака. Скажи мужу об этом. И если будет на то ваша воля, приходите на исповедь.

Софья, спотыкаясь о гальку, медленно шла домой. Волосы выбились у неё из-под платка, но она не замечала этого. Почему-то, пока шла, вспомнились Софье церковные песнопения, вернее,

не слова, а одна лишь только мелодия, которую слышала в далёком детстве, с бабушкой. Мелодия вдруг ворохнулась в голове и тихо, нежно заволновала исстрадавшуюся Софьину душу, что только сейчас получила словно свежий глоток из источника истины. Этого-то источника Софья сторонилась больше десяти лет, и всё равно Он воззвал к ней, и она, истерзанная, жадно приникла к Нему из последних сил.

Василий ДЕНИСОВ

АПОКАЛИПСИС

Отрывок из рассказа

Как вы представляете конец света? Ну, не стесняйтесь…

Вариант первый: смертоносный вирус, убивающий всё, что дышит. Люди в ужасе, к тому же мрут, как тараканы, и в итоге остаётся маленькая группа, борющаяся за выживание.

Вариант второй: огромный метеорит летит к земле. Бац! Все люди узнают, каково быть задыхающимся от дыма и пепла динозавром не в теории, а на практике.

Вариант третий: опять-таки вирус, но этот превращает всё живое в ходячих мертвецов, которые жрут остальных, периодически мутируя.

Вариант четвёртый: атомная война со всеми вытекающими. Группа выживших опять же борется за свои жизни. Дополнительным испытанием становится борьба ещё и с окружающей средой.

Вариант пятый: таинственные пришельцы устраивают человечеству исполинскую душераздиралку путём нанотехнологий.

Вроде, все основные варианты того, как можно массово склеить ласты человечеству, я перечислил. Остальное Голливуд пока ещё не придумал. Я вот думаю, что апокалипсис уже пришёл, но за окном только своеобразный, наш апокалипсис! И ведь нет ни войны, ни вирусов, ни пришельцев, да и метеоритов тоже не наблюдается пока что. И это не бред, а вполне нормальная оценка происходящего, но во всём этом есть все упомянутые варианты Голливуда. Но они о-о-очень хорошо замаскированы под обыденную жизнь.

Пункт первый: мы думаем, смертельный вирус, наверное, в виде штамма в секретной лаборатории разрабатывается или из космоса к нам прилетает? Фигня! Все ведь живы, работают, едят, смеются, ходят по улицам, притом, не разлагаясь. А если представить, что вирус электронный, и этот вирус — Интернет, то что выходит? Толпы людей сидят у монитора и пялятся в экран, а тем временем их

жизнь проходит — час, два, три, неделя, месяц, год. Таким способом человек теряет лет двадцать. Чем вам не вирус? Да и последствия есть: не только человек время теряет, но и мозг у него загнивать понемногу начинает от того, что этот Интернет несёт, и в итоге через годик-другой у нас появляется вариант с зомбиапокалипсисом.

Заражённый зомби (назовём его Зомби Гражданский), у которого в голове плавает несколько идей, скидки на шмотки, ржака, которую даёт Интернет, приколы, мемы, несколько треков попсы и два инстинкта — размножательный и жевательный, а в качестве вишенки на торте — Есенина и Бродского он может вам промычать. Всё это он подхватил через Интернет, ибо телевизор большинство зомби не смотрят. Места обитания таких существ — кафе, подъезды, парки и клубы. Возраст их — примерно от пятнадцати до двадцати трёх лет, однако после данной возрастной ступени они мутируют в три новых вида.

Вид первый: Зомби Рабочий. Он трудится на заводе, автомойке или в больнице и всю свою жизнь передвигается по одному и тому же маршруту — от дома до работы. Работает этот вид, выполняя простейшие манипуляции, после чего идёт домой, по дороге покупая пиво или водку, чтобы прочистить ту штуку, которая обеспечивает продвижение пищи в организм. Для полного умиротворения зомби-раб сытно наедается, а затем идёт спать. Утром происходит «воскрешение» и очередной поход до точки «Б». Как ни странно, но этот тип имеет ещё подразделы, в которых можно выделить подвид, который иногда ездит на рыбалку или охоту, переходя на месяц в совершенно новую локацию.

Вид второй: Зомби Рабочий — Кибернетический Модификатор. Существа эти отличаются от обычного рабочего варианта тем, что ищут высокооплачиваемую работу по тому критерию, который гласит, что в их голове есть цель, возможно, даже несколько. Ради этого они работают больше, потому более агрессивны. Цели ЗРКМ просты: дом, машина, квартира, ремонт. Чаще всего они себя мотивируют ипотечными стимуляторами и кредитными эйфоретиками. Срок жизни таких экземпляров значительно меньше из-за большого процента износа и составляет от двадцати трёх до пятидесяти лет.

Вид третий: Зомби Производитель. Они в основном женского пола. Производят потомство, чередуя сеансы Интернета с телевизором, часто собираются в стаи по три-четыре штуки, основная их задача — пополнение рядов своих сородичей. Особенность: самый малый коэффициент развития среди остальных групп и наибольший размер и весовая категория, агрессия по отношению к

иному уровню развития, а также не более трёх целей в жизни, сильная тяга к алкоголю, отсутствие воли и культуры. Итог: зомби, заражённые вирусом, не понимают искусства, не принимают иного мнения, если оно не было найдено на просторах Интернета, и не развиваются. Естественно, правительство, видя такую ситуацию, стало применять кардинальные меры по борьбе с заражёнными: были созданы социальные сети, где зомби собираются в огромные группы, затем — интернет-магазины, чтобы не тревожить больных разного рода похождениями, и вдобавок — массовые праздники, на которых зомби может расслабиться и вдоволь потрясти конечностями, находясь в кругу своих единомышленников.

Для борьбы с распространением и расширением разных видов зомбяков были созданы Диванные войска. Это народное ополчение все указания получает из телевизора, после чего и ведёт ожесточённую борьбу с зомбированными, сидя за столами, либо лёжа на диванах. Это была и есть самая гуманная война за всю историю человечества. Ни одного убитого или раненого ни с той, ни с другой стороны.

Вот вам и апокалипсис, прямо как в фильмах, только реальный, и происходит он у вас дома. За окном нет никакой паники, воплей, крови и насилия. Всё тихо, будто и вправду миру — мир.

Владислав НАУМОВ

НА ПАМЯТЬ

Отрывок из рассказа

Дождь размеренно барабанил по тенту палатки, заглушая все остальные звуки. Я приподнялся на локтях и посмотрел на Юлю. Она, свернувшись калачиком, лежала лицом к тенту. Между нами можно было уместить ещё как минимум двух человек. Я выбрался из спального мешка, накинул куртку, взял из рюкзака сигареты и фляжку с коньяком. Свой спальник набросил на Юлю. Когда я застёгивал палатку снаружи, мне показалось, что она его сбросила.

Под тентом посреди лагеря негромко трещал костёр, возле которого в одиночестве сидела Мария Сергеевна. Я сел напротив неё и закурил.

— Не спится? — спросила она.

— А вам?

— Всю жизнь проспать можно, — она улыбнулась.

Я тоже. Потом достал фляжку и сделал глоток.

— Будете?

Она взяла фляжку и выпила.

— Последний раз я была в этих местах, когда училась в институте. Мы пошли сюда группой, ровно в этот самый лес, на эти скалы.

Всё вокруг меняется, а они такие же, как и тогда. Людей, которые так же, как ты, сидели напротив меня, уже в живых нет, а речка всё бежит, деревья стоят себе и стоят... Ты меня извини, но я тут сидела и поджидала, кому бы всё рассказать.

— Рассказывайте, — сказал я.

Мария Сергеевна была чуть ли не самым симпатичным мне членом группы. В этой милой стареющей женщине чувствовался гигантский багаж памяти, опыта и — обаяние.

— Когда мы были здесь, казалось, что впереди такая необъятная и длинная жизнь. Мы тут строили планы, парочки разбегались по палаткам. Много пили, — она подмигнула мне, улыбаясь. — Казалось, что весь мир у наших ног. А потом прошла буквально секунда, и молодость кончилась, началась старость, раньше часто праздновали дни рождения, теперь чаще случаются поминки. Я долго думала, на кой чёрт я снова сюда попёрлась. Решила, что из мазохизма. По-другому никак не назовёшь. Сижу, как дура, вспоминаю людей, которые сидели рядом со мной и рассказывали, как они будут покорять мир. А потом мы их хоронили. Тогда смерть была чудовищно далеко. А сейчас она уже такая привычная. И такая навязчивая, словно намекает: и тебе, старуха, осталось недолго.

— Ну вы бросьте. Люди и до ста лет доживают, рано вы что-то...

— Я думала об этом. И поняла, что в детстве ты живёшь ради молодости. Ты хочешь вырасти. В молодости короткий период ты живёшь ради неё самой, а потом начинаешь готовить себя к старости, обрастать имуществом, связями, чтобы было комфортно. В какой-то момент ты понимаешь, что молодость прошла, и с наступлением той самой старости начинаешь готовить себя уже к смерти. Это приходит не сразу. Но приходит. Ко мне, к сожалению, пришло. И когда говорят, что молодость в душе, это неправда. Если у старика в душе молодость, он кажется смешным и нелепым. Нет ничего хуже, чем быть смешным. Чем умереть смешным. И вот, когда я пришла сюда, записалась, заплатила деньги, собрала рюкзак, я поняла, что это такая дань молодости и людям, которые тут со мной были.

Дождь барабанил по тенту. Вокруг была непроглядная темнота. Неподалёку журчала горная речка.

— Когда кончается молодость?

— Мне кажется, что лет в тридцать. И получается, что на настоящую жизнь, без сумасшедшей оглядки на будущее, нам отведено десять-двенадцать лет. Когда тебе двадцать, эта цифра ужасает. Но это очень мало. Потому что молодость нужно уметь организовать. Это тоже огромный труд.

— У вас есть муж? Дети?

— Тридцать пять лет назад муж сидел на твоём месте. Его я уже похоронила. Дети взрослые, живут далеко.

— Извините, — я засмущался.

— Ничего-ничего, — сказала она распевно. — Он бы ещё над этим как-нибудь пошутил. Был большой любитель чёрного юмора. А с детьми мы иногда созваниваемся, но в последнее время редко. Потому что у них появились свои дети, и они теперь больше заняты ими. Многие говорят, что дети не влияют на молодость, а только переводят её в новое качество. Я думаю, нет. Как только в твоей жизни появляется кто-то, кто важнее, чем ты сам, молодость кончается. Молодость — это эгоизм.

Продолжать разговор было неловко, поэтому я выпил ещё, закурил и протянул фляжку Марии Сергеевне. В этот раз она отказалась.

— Выходит, любовь — это не молодость?

— Это смотря как любить. Когда мы с мужем только познакомились, мы скорее использовали ресурсы двух людей, чтобы получать ещё больше удовольствия. Это была молодость. А потом началась подготовка к старости. Только поняли мы это позже, — она договорила и теперь отрешённо смотрела на угольки в костре. Несколько минут мы молчали.

— Скажите, раньше, правда, было так хорошо? — я неловко попытался сменить тему.

— Миш, ты знаешь, сейчас мне кажется, что при Брежневе был чуть ли не рай на земле. Но если быть честной, то в девяносто первом году я, как только узнала о путче, так сразу всё бросила и поехала в Москву бороться за свободу. Сейчас кажется, это была моя дурость. Но тогда я была в своей правоте уверена, я очень хорошо это помню. Это она и есть, молодость: менять мир, воевать, за что-то бороться. А сейчас, кажется, да и пусть не будет кока-колы и ста сортов сыра, зато стабильная зарплата, затем пенсия, и хлеб копейки стоил. Понимаешь? Хотя и это не главное. Мне тогда было как тебе, и сейчас мне кажется, что я была так счастлива, так счастлива! Хотя тогда я так не думала. Счастье всегда в прошедшем времени. Мы всегда о нём только вспоминаем. И конкретно сейчас кажется, что тогда мне было лучше. Но я всё-таки образованный человек, педагог, поэтому понимаю, что это психологическая ловушка. Ты, как мужчина, не дашь соврать: вы с упоением и удовольствием вспоминаете драки, даже те, в которых сильно избили вас. Поэтому сейчас я не хожу на выборы совсем, чтобы не голосовать за своих фантомов. Пусть молодые решают, как им жить.

Когда она это рассказала, мне почему-то тоже показалось, что самое счастливое время я уже прожил. Меня одолевало стыдливое чувство потерянной юности, молодости. Смотреть с высоты, так сказать, прожитых лет было проще. И мне казалось, что было много важных вещей, которые я не сделал и даже не попытался сделать. И была Юля, обиженно свернувшаяся калачиком в палатке, винящая меня в потерянном времени.

И были воспоминания о том, как я, ещё школьник, несколько лет назад ходил по тем же тропинкам в том же лесу где-то на границе Башкортостана и Челябинской области. В этом что-то роднило меня с Марией Сергеевной. Это тоже была своего рода дань, и мне тоже казалось, что тогда, раньше, жизнь была устроена правильнее, чем сейчас. Но я уверен, что тогда, в том самом октябре, когда я месил походными берцами грязь этих тропинок, мир казался мне ровным счётом таким же несправедливым, а может, даже более несправедливым из-за приближающегося ЕГЭ, поступления в вуз, военкомата, чем сейчас. Но это лишь игры сознания. Всё плохое забывается. В памяти остаются лишь счастье и великое горе. И тут было как раз счастье, и сидя у потрескивающего костра в ноябре в забытом богом лесу, я вспоминал, как был счастлив именно здесь, а не где-нибудь ещё.

Мы с Марией Сергеевной сидели молча, словно всё уже было сказано. Я чувствовал по ней, что она высказалась. О молодости, о старости. А я думал о своей молодости: кончилась она или только началась, и никак не мог понять, на каком отрезке жизни я нахожусь. Я мог бы обвинить Юлю в потерянном времени, в ограничениях, рамках и запретах. Но и я ограничивал её, и по-другому никак. Нет, мне некого было винить. Мне казалось, что мы априори счастливы только в прошлом, а счастье в настоящем невозможно. Счастливое время, подумал я, всегда потеряно.

Я сидел, курил одну за другой, выпивал. Мария Сергеевна пристально посмотрела на меня и спросила:

— Тяжело?

— Как-то по-особенному пусто, знаете.

— Понимаю. Меня это чувство не покидает уже полжизни.

— Вот и скажите мне, как опытный человек, делать-то что? — мне казалось, за два дня похода она без слов поняла, что происходит между мной и Юлей.

— Всё когда-нибудь кончается, это вопрос времени, — она пожала плечами. — Когда мы куда-нибудь приезжаем, то просим прохожих сфотографировать нас на память. Потому что всё самое лучшее хранится только там.

— Мне иногда кажется, что настоящего вообще не существует, есть только будущее и прошлое. Ведь настоящее — это доля секунды, и оно сразу становится прошлым, и дальше... и дальше, даже начало этой фразы уже прошлое.

— Пора спать, Миша, завтра много ходить. А то нечего будет вспомнить, — она улыбнулась и встала с бревна. Она не хотела выслушивать, хотела только говорить. Я сделал ещё глоток из фляги, выбросил окурок в костёр и тоже встал. Когда я вернулся в палатку и влез в спальный мешок, мне показалось, что Юля не спала, а слушала весь наш разговор. Но я очень быстро провалился в сон, стоило только закрыть глаза.

Ольга ВОНСОВИЧ

В МУЗЕЙ, КАК НА ПРАЗДНИК!

Ольга Викторовна Вонсович родилась в селе Кардаилове Илекского района Оренбургской области. Окончила исторический факультет Оренбургского педагогического университета. Работала экскурсоводом, научным сотрудником, ныне заведующая научно-просветительским отделом музея истории Оренбурга. Победитель Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» (номинация – экскурсовод-гид). Лауреат Всероссийской историко-литературной премии «А.Невский» (2017).

Музею истории Оренбурга — 35 лет... Много это или мало? Конечно, в масштабах общемировой истории такая дата — лишь микроскопическая песчинка, и в связи с этим кто-то её посчитает смешной и незначительной. Но для людей, которые к музею имеют непосредственное отношение, это дата крайне важная и знаменательная. И разговор сейчас идёт не только о сотрудниках, которые верой и правдой служили, служат музею и его музам, но и о его посетителях — о тех первых мальчишках и девчонках, которые в далёком апреле 1983 года со своими учителями приходили на экскурсии в новые, ещё пахнущие краской музейные залы; о молодых людях, назначавших свидания у стен музея, и о тысячах других посетителей, побывавших в музее истории Оренбурга за эти годы...

Немного о личном...

Я сама оказалась в первый раз в этом музее школьницей, ученицей 10 класса. Было это, страшно представить, больше 15 лет назад. Всё тогда мне казалось каким-то волшебным: и девушка-экскурсовод, которая тихим, чарующим голосом погрузила в «дела давно минувших лет», и какой-то таинственный свет музейных залов, атмосфера торжественности и парадности.

Через годы я пришла в музей истории Оренбурга уже не как посетитель, а как молодой специалист, выпускница исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета. Теперь уже мне предстояло дарить посетителям музея то волшебное ощущение праздника, которое чувствовала когда-то сама.

В музей, как на праздник!

Можно много спорить о функциях и задачах музейной деятельности, но оставим это на совести специалистов по музейной педагогике. Бесспорно то, что посещение музея практически всегда должно вызывать у человека ощущение праздника или, по крайней мере, «необыденности». Эта «необыденность» складывается из многих факторов — человек вырывается из рутинности и монотонности повседневной жизни, по-новому планирует свой день, подбирает даже внешний образ для выхода «в свет»... И, наконец, он приходит в музей, каждый из сотрудников которого старается сделать так, чтобы ожидания посетителя оправдались. Создание для посетителей этого праздника — большая и кропотливая ежедневная работа, зачастую невидимая гостями музея.

За прошедшие со дня открытия музея 35 лет изменился и сам посетитель, и форма работы с ним. Наша жизнь настолько наполнена яркими впечатлениями, что сейчас практически никого не удивишь обычной классической экскурсией, когда посетителя встречает научный сотрудник и монотонным голосом рассказывает об основных вехах в истории Оренбурга. Это особенно заметно по работе с самыми маленькими посетителями — детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Психологи и раньше говорили о том, что ребёнок воспринимает информацию только первые 15 минут рассказа. Но в настоящее время и эти 15 минут нужно наполнить яркими и запоминающимися моментами, так как современные гаджеты очень повлияли на психоэмоциональное восприятие мира детьми.

Необходимость вырвать маленьких посетителей из виртуальной реальности заставила музей истории Оренбурга предложить новые формы подачи материала экскурсоводом. Например,

костюмированные экскурсии. Во время такой экскурсии детей в залах музея ждёт встреча не со скучной «тётенькой», а с одной из исторических личностей, напрямую связанной с Оренбургом. Так, об основании нашего города и освоении края в XVIII веке, о развитии торговли расскажет восточный купец, который приехал в Оренбург из Хивинского или Бухарского ханства. О событиях Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва не менее интересно поведает офицер Оренбургского гарнизона, стоявший на защите Оренбургской крепости во время её осады пугачёвцами. Ещё два персонажа в «арсенале» музейных работников — образы самого Александра Сергеевича Пушкина и его друга, чиновника по особым поручениям при губернаторе Василии Алексеевиче Перовском, Владимира Ивановича Даля. Они позволяют ребятам «перенестись» в те сентябрьские дни 1833 года, когда великий писатель приезжал в Оренбургскую губернию для сбора сведений о пугачёвском движении.

Созданные самими сотрудниками музея яркие костюмы персонажей моментально привлекают внимание посетителей, а эмоциональный рассказ «от первого лица» позволяет погрузить детей в историю, делает их участниками событий, о которых идёт речь в экскурсии. А какие актёрские таланты открывают в себе научные сотрудники музея, чтобы ребята не заметили подвоха! И эта удивительная «машина времени» работает! В какой-то момент маленькие экскурсанты вообще теряются во времени и пространстве и искренне начинают верить в то, что попали в прошлое.

Не менее чудесное и увлекательное путешествие в прошлое совершают в музее ребята во время участия в исторических квестах. В подготовке такого мероприятия задействованы практически все сотрудники музея, потому что квест — это действительно масштабное действо со звуковыми и визуальными спецэффектами, специально подготовленными ребусами и загадками, помогающими посетителям раскрыть тайные страницы из истории Оренбурга. И сколько искренней радости в глазах у маленьких посетителей, когда очередной этап игры пройден и можно переходить к следующему!

«А знаете ли вы, что удивительные вещи случаются накануне самого волшебного праздника — Нового года… Даже музей превращается в сказочное царство-государство с добрыми героями и злым разбойником» — именно этими словами встречали маленьких гостей в музее истории Оренбурга накануне новогодних праздников. В декабре 2017 года музей впервые

предложил вниманию посетителей специальную новогоднюю программу «Сказка о потерянном времени», которая включала в себя историческую игру и новогодний утренник с участием Деда Мороза и Снегурочки. Вместе со сказочными героями ребята совершали путешествие во времени в поисках пропавших курантов, играли, участвовали в мастер-классах, пели и танцевали.

Примечательно, что все сценарии, по которым проводятся эти и другие мероприятия в музее, — авторские и основаны на коллекциях из фондов МБУ «Музей истории Оренбурга». Научные сотрудники выверяют достоверность каждого факта, адаптируют все программы под возрастные особенности группы, вкладывают во все мероприятия частичку себя. И как приятно потом слышать благодарности от детей, родителей! Это очень важно, ведь только так мы понимаем, что наш труд не напрасен и приносит свои плоды.

К счастью, таких моментов, когда гости музея искренне благодарят его сотрудников за труд и гостеприимство, очень много. И здесь совсем неважно, от кого идут эти слова благодарности — от самых именитых посетителей или детишек из детских домов. С последними, если говорить откровенно, работать всегда очень просто и приятно — такие посетители не избалованы вниманием, их сердца легко открываются в ответ на каждое доброе слово.

От сердца к сердцу...

Музей истории Оренбурга постоянно ведёт работу с детьми-сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей. Уже традиционными стали «Рождественские встречи», которые проводятся в музее в дни зимних каникул. Последние два года музей приглашает на такие праздники воспитанников оренбургского санаторного «Дома детства», специально для них разрабатываются программы мероприятий, которые включают в себя концерты, экскурсии, мастер-классы.

В 2017 году, например, основной темой такой встречи стали традиции празднования Нового года и Рождества в дореволюционной России. Особенным подарком для детей стало выступление хора Оренбургской духовной семинарии, исполнившего рождественские псалмы и праздничные песнопения. Под сводами музейных залов эта музыка, разливаясь яркими переливами, проникала в самые закрытые уголки детских сердец.

В дни январских каникул в этом году ребята из «Дома детства» вновь посетили музей. Состоялась даже не одна, а две встречи — на рождественском утреннике в мемориальном музее-квартире Л. и М. Ростроповичей (одном из структурных подразделений музея истории

Оренбурга) и на мероприятии «Те звёзды в небе не погасли» в музее. Как и год назад, сотрудники музея постарались создать для ребят тёплую атмосферу домашнего праздника. Красивая ёлка, старинные игрушки и сладкие подарки — главные символы Рождества стали в этом негласными помощниками.

Музей имени Пушкина?

«— Скажите, а где вы находитесь? На бульваре? Где Пушкин «сидит»?

— Да!

— Так что вы мне голову морочите! Так бы и сказали, что музей Пушкина!»

Примерно такой телефонный разговор происходит практически ежедневно между сотрудниками музея и оренбуржцами или гостями нашего города, которые хотят посетить музей истории Оренбурга. Так прочно закрепилась в умах связь нашего музея с памятником великому поэту, что впору называться «музеем имени А.С. Пушкина», пусть официально такого статуса музей, конечно, не имеет. Но не это главное, а то, что уже 35 лет музей посещают тысячи школьников, чтобы познакомиться с экспозициями, посвящёнными пребыванию Александра Сергеевича в Оренбуржье. К нам приезжают гости со всей страны, из дальнего и ближнего зарубежья, и с огромным интересом узнают об истории Емельки Пугачёва, которую в своё время описал Пушкин. В музее посетители могут увидеть уникальные экспонаты времён Крестьянской войны 1773—1775 годов.

Доброй традицией для музея стало проведение ежегодных «Пушкинских дней» в феврале и июне. Дни памяти поэта ознаменовываются литературными вечерами, тематическими лекциями и театрализованными постановками. Например, в 2017 году, в год 180-летия со дня смерти Александра Сергеевича, в музее состоялось большое мероприятие, посвящённое истории посмертной маски писателя. Тема была выбрана не случайно, так как в музее истории Оренбурга хранится посмертная маска, выполненная знаменитым оренбургским скульптором Н.Г. Петиной.

В 2018 году исполняется 185 лет со дня приезда А.С. Пушкина в наш край. В Оренбурге состоялась встреча писателя с В.И. Далем и В.А. Перовским, поэтому в феврале сотрудниками музея был подготовлен спектакль «Друзья мои, прекрасен наш союз!», посвящённый теме дружбы между тремя выдающимися личностями. Главными гостями мероприятия вновь стали дети, а помощь в его проведении оказали друзья музея — клуб исторического танца «Амьен» и детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского.

Мы приглашаем вас в музей!

Ежегодно музей истории Оренбурга посещает около 40 тысяч человек. Несложные арифметические подсчёты позволяют понять, что за 35 лет в музее побывало более 1 миллиона посетителей... Среди них было немало людей, имеющих не только всероссийскую, но и мировую известность. Чего только стоят имена выдающегося музыканта и композитора Мстислава Ростроповича, солистки Мариинского театра оренбурженки Людмилы Филатовой, поэтов Евгения Евтушенко и Юрия Энтина, сценариста и поэта Юрия Рященцева и многих-многих других не менее уважаемых деятелей культуры, науки, искусства! Совсем недавно музей посетила известный российский дизайнер, входящий в топ-10 лучших декораторов России, Диана Балашова. Как приятно было слышать от всех них тёплые слова благодарности в адрес музея и его сотрудников.

Главное, что многие из этих встреч не прошли бесследно, а позволили музею установить интересные дружественные связи, дали начало созданию в фондах музея нескольких личных коллекций.

Через призму человеческих судеб...

Вообще, работа по составлению личных коллекций в музее — дело достаточно кропотливое и хлопотное. С одной стороны, важно определить, достоин ли человек того, чтобы предметы из его домашнего архива сохранялись государством и передавались потомкам как часть наследия прошлого, а с другой — важно не упустить действительно ценную информацию о, быть может, не признанном в наши дни гении.

Сотрудники фондов музея истории Оренбурга ежедневно ведут такую сложную и часто мало заметную простым посетителям работу. Только за последнее время в музее был создан личный фонд председателя исполкома Оренбургского городского Совета в 1977—1985 гг. Юрия Дмитриевича Гаранькина, фонд семьи скульпторов Петиных, фонд начальника Оренбургского лётного училища в 1949—1959 гг., генерал-майора Василия Харитоновича Макарова.

Важно, что экспонаты из таких коллекций не лежат «мёртвым грузом» на полках фондохранилища, а практически сразу становятся основой новых выставок и экспозиций, позволяют посмотреть на историю родного города через призму человеческих судеб...

«История Оренбурга в лицах. Век XX»

Выставочная работа в музее — один из основных видов его деятельности. В этом отношении

музей истории Оренбурга не является исключением. Ежегодно сотрудники проводят реэкспозиции и обновление залов, готовят выездные выставки для общегородских мероприятий, разрабатывают и реализуют крупные выставочные проекты.

Если говорить о последних выставках, подготовленных музеем истории Оренбурга, то, конечно, стоит рассказать о проекте, реализованном сотрудниками музея в 2016—2017 гг. Это большой выставочный проект «История Оренбурга в лицах. Век XX». Целью проекта стало сохранение и популяризация культурного и исторического наследия прошлого Оренбурга; формирование ценностных ориентиров у молодёжи в современной России; популяризация музея как места духовного и эстетического воспитания.

В рамках данного проекта сотрудниками музея было построено четыре выставки, каждая из которых, в свою очередь, стала большой площадкой для проведения научно-просветительских мероприятий.

25 августа 2016 года в музее истории города открылась выставка «Духовные наставники Оренбуржья. Митрополит Леонтий и схиархимандрит Серафим», посвящённая двум удивительным людям, являвшимся одновременно и духовными наставниками Оренбуржья, и жителями города.

Имя Владыки Леонтия хорошо известно горожанам, ведь именно этот человек помогал их изнемогающей душе и больному телу, давал советы в сложные для страны 90-е годы.

А вот имя второго духовника, жившего в нашем городе, известно немногим. Именно он, схиархимандрит Серафим (Томин) — основатель и первый духовник Свято-Андреевского мужского монастыря в селе Андреевка Саракташского района. С именем схиархимандрита Серафима, без преувеличения, связана целая эпоха, характеризующая не только жизнь нашей епархии. В его судьбе прослеживается судьба Русской Православной Церкви в целом — это и годы гонений, и возрождение веры, восстановление монастырей, воспитание нового поколения монашествующих.

Тяжело пришлось этим двум священникам в годы гонений. Если первый приехал в оренбургскую епархию с самым малым количеством церквей, то второй в своём доме на улице Красноармейской тайно постригал в монахи и монахини, а затем на улице Сызранской организовал молельный дом. В этом доме до сих пор находятся святыни схиархимандрита Серафима.

Так случилось, что после ухода из жизни Владыки Леонтия и схиархимандрита Серафима их духовное наследие сохраняется в умах и сердцах оренбуржцев, а вот материальное (такое, как

личные вещи, книги, богослужебные облачения) частично было утеряно или разошлось по личным коллекциям. Чтобы построить выставку, сотрудникам пришлось обратиться за помощью и консультациями к людям, хорошо знавшим Владыку Леонтия и схиархимандрита Серафима, к тем, кто сохранил личные вещи оренбургских духовников. Совместно с Оренбургской духовной семинарией во главе с ректором — игуменом Никодимом (Шушмарченко), монашеской братией Андреевского мужского монастыря во главе с о. Евлогием и о. Андреем получилась эта удивительная экспозиция.

Уникальность данной выставки состояла в том, что в её экспозиции впервые были собраны и представлены вниманию широкой общественности не только редчайшие экспонаты из фондов музея истории Оренбурга, но и личные вещи духовников, хранящихся в частных коллекциях оренбуржцев: церковное облачение Владыки Леонтия: в будни и в праздники, великая схима — облачение схиархимандрита Серафима, их рукописи — личные дневники и проповеди. В экспозиции были представлены не только высокие награды священников, но и подарки, вручённые от первых лиц РПЦ (Русской Православной Церкви). Среди уникальных экспонатов — книги, переплетённые руками схиархимандрита, его плотницкие инструменты, благодаря умению пользоваться которыми отец Серафим выживал в годы гонений, и многое-многое другое.

Выставка позволила оренбуржцам и гостям города по-новому взглянуть на двух действительно высоконравственных людей, оценить их вклад в возрождение Русской Православной Церкви в России, в духовное и культурное развитие региона.

Говоря о духовном наследии прошлого века при разработке проекта «История Оренбурга в лицах. Век XX», мы не могли не рассказать о ещё одном выдающемся оренбуржце, который в советские годы был забыт. Это имя Александра Шмореля — одного из основателей немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе. Благодаря новому взгляду на исторические процессы в 90-е годы оренбургский краевед И.В. Храмов «открыл» для нас эту легендарную личность, выяснил, что он родился в Оренбурге в сентябре 1917 года. Но никаких документальных подтверждений этому факту в российских архивах тогда найдено не было. Несмотря на это, в рамках проекта было решено подготовить выставку «Александр Шморель. Немецкое сопротивление с русской душой», посвящённую оренбуржцу и приуроченную к 100-летию со дня его рождения.

В рамках реализации проекта сотрудники музея истории Оренбурга привлекли к сотрудничеству Оренбургский благотворительный фонд «Евразия», который передал материалы, связанные с жизнью семьи Шморелей в Германии. Областные музеи (Оренбургский музей изобразительных искусств и губернаторский историко-краеведческий музей) также любезно предоставили музею экспонаты по теме для выставки. Все эти предметы, а также уникальные документы, фотографии, вещи из фондов музея истории Оренбурга впервые были объединены в одной экспозиции и раскрыли оренбургский период жизни семьи Шморелей и других оренбургских немцев — Гофманов, Фокеродтов, Фишеров.

Но научных сотрудников музея истории Оренбурга не оставляла мысль о документальном подтверждении рождения А. Шмореля. Факт этот был известен из анкетных данных и протоколов допросов гестапо, где Александр сам указывал местом своего рождения город Оренбург. Сотрудники музея пересмотрели все метрические книги, находящиеся в фондах. Потом был сделан запрос в управление записи актов гражданского состояния администрации г. Оренбурга, на который был дан положительный ответ. Были обнаружены метрические книги с записью акта бракосочетания родителей Александра — Гуго Шмореля и Наталии Введенской, а также книга с записью акта рождения в Оренбурге 17 сентября 1917 года в семье Шморелей мальчика Саши. В книге с записью о браке был обнаружен ещё один интересный документ — записка Г.К. Шмореля, в которой он, будучи лютеранином, обещал воспитывать детей, родившихся в браке с православной Н.П. Введенской, по православным традициям. Все эти уникальные документы были представлены на выставке.

25 февраля 2017 года исполнилось бы 85 лет Почётному гражданину г. Оренбурга, председателю исполкома городского Совета депутатов трудящихся, первому секретарю Оренбургского горкома КПСС Юрию Дмитриевичу Гаранькину.

Деятельность Ю.Д. Гаранькина прочно связана с Оренбургом. Им сделано много для его благоустройства: останется в истории города капитальный пешеходный мост через Урал, который не могли воздвигнуть до него в течение 240 лет, музей истории Оренбурга и музей изобразительных искусств, музей-гауптвахта Т. Шевченко, как структурное подразделение музея истории Оренбурга, интересные здания, украшающие город, а также скульптурные памятники, в установке которых он принимал участие. При его непосредственном участии

велось строительство объездной кольцевой дороги вокруг Оренбурга, путепроводов и мостов, позволивших убрать из центра города большегрузный транспорт; при нём первые угольные котельные были переведены на природный газ.

Со смертью Юрия Дмитриевича ушла целая эпоха, окунуться в которую можно, если прийти на новую выставку «Мечты, ставшие судьбой», организованную в музее истории Оренбурга. В преддверии юбилея музей истории Оренбурга сформировал фонд Ю. Д. Гаранькина, в который вошли личные вещи градостроителя, фотографии и документы из архива семьи Гаранькиных. Эти предметы составили основу выставки.

Интересно, что, несмотря на то, что личность Юрия Дмитриевича очень известна даже за пределами Оренбургской области, музей истории Оренбурга стал первым и единственным, кто объединил в одной сложнейшей и многодельной экспозиции и представил вниманию широкого круга посетителей материал, помогающий уже сейчас в полной мере оценить все заслуги градоправителя перед Оренбургом, областью и страной в целом.

Участие Ю. Д. Гаранькина в создании скульптурного облика Оренбурга тесно связало его имя и имя Надежды Гавриловны Петиной — советского и российского скульптора, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР, Почётного гражданина города Оренбурга.

В конце 2016 года Надежда Гавриловна передала в фонды музея большую коллекцию уникальных личных вещей, документов и скульптур, которые принадлежали ей, её отцу — выдающемуся оренбургскому скульптору Гавриилу Алексеевичу Петину, маме Марии Петровне и сестре Идее Гавриловне Петиной (Демидовой). Это позволило наконец создать в музее истории Оренбурга фонд семьи Петиных. Предметы из переданной коллекции составили основу новой выставки, подготовленной в музее в рамках программы «История Оренбурга в лицах. Век XX» и приуроченной к юбилею скульптора, который отмечался в сентябре 2017 года.

Имя самой Надежды Гавриловны и её отца достаточно хорошо известны в Оренбурге, в то же время о маме и сестре известно крайне мало. А ведь младшая дочь Петиных с необычным именем Идея — человек известный в музыкальных кругах Великого Новгорода, заслуженный работник культуры России. Она часто аккомпанировала ещё одной нашей знаменитой землячке — народной артистке, советской и российской оперной певице (меццо-сопрано) Филатовой Людмиле Павловне.

Мама — Мария Петровна — всю свою жизнь посвятила семье и дому, поддерживала мужа во всех его начинаниях: помогала

в его оформительских работах, была его советчиком в создании того или иного образа, над которым работал муж. На её хрупкие женские плечи легла забота о дочерях после трагической смерти супруга в 1947 году.

Поэтому выставка «Линии Петиных...» познакомила оренбуржцев не только с творчеством скульпторов Петиных, но и осветила малоизвестные страницы из жизни всех членов этой удивительной семьи. В экспозиции музея истории Оренбурга вниманию посетителей впервые были представлены уникальные семейные фотографии и документы, многие из которых ранее не публиковались, личные вещи, скульптуры, переданные Н.Г. Петиной в музей г. Оренбурга.

Для более полного освещения этой темы при создании выставки использовались материалы из фондов Государственного архива Оренбургской области и Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

«Сообщество» городских музеев

Именно так можно в трёх словах описать структуру музея истории Оренбурга простому обывателю. Как так получилось? Процесс был долгим и сложным, потому что одни музеи создавались научными сотрудниками буквально «с ноля», другие включались в структуру, будучи уже известными оренбуржцам. Но давайте обо всём по порядку.

В 1989 году, к 175-летию со дня рождения Тараса Шевченко, был открыт мемориальный музей-гауптвахта Т. Шевченко. Его концепция была разработана сотрудниками музея, помощь в оформлении оказали киевский поэт В. Яцюк и художник А. Гайдамака, оренбургские художники В. М. Ерёменко, В. Бобров, Ф. Щукин, В. Мальцев. Сейчас этот музей стал одним из центров украинской культуры в Оренбуржье. Здесь постоянно проводятся экскурсии, музыкальные и поэтические вечера, концерты в рамках традиционного фестиваля «Шевченковский март».

При поддержке Ю. Н. Мищерякова (глава городской администрации в 2000—2015 гг.) в апреле 2001 года, к 40-летию первого полёта человека в космос был открыт мемориальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. Этот музей действительно уникальный — его экспозиции рассказывают не только об «оренбургском» периоде жизни космонавта № 1, но и ярко демонстрируют особенности быта конца 50-х — начала 60-х годов XX века. За годы работы музей посетили десятки тысяч человек. Среди почётных гостей — лётчики-космонавты Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт — и Юрий Лончаков — космонавт, окончивший то же училище, что и Юрий

Гагарин, а ныне возглавляющий Центр подготовки космонавтов в Звёздном городке. Весной 2016 года музей посетил сын нашего космонавта-земляка Юрия Романенко — тоже космонавт — Роман Романенко.

В ноябре 2001 года распахнул свои двери для посетителей мемориальный музей-квартира Леопольда и Мстислава Ростроповичей, на открытии которого присутствовал сам Мстислав Ростропович. Выдающийся музыкант, дирижёр, Мстислав Леопольдович с большой теплотой вспоминал свои детские годы, проведённые в Оренбурге в доме на улице Зиминской, 25. Сейчас, как и завещал маэстро, в музее постоянно звучит музыка — в гостиной проводятся литературно-музыкальные вечера, на которых оттачивают своё мастерство молодые дарования, а также выступают уже маститые музыканты.

Совершенно особое место среди структурных подразделений музея истории Оренбурга занимает Дом Памяти, открытый в 2003 году. Это вообще уникальный музей, аналогов которого в нашей стране просто нет. Сотрудниками Дома Памяти проводится огромная работа по сохранению данных обо всех ушедших из жизни горожанах, начиная с 1900 года. Здесь же идёт сбор сведений об оренбуржцах — участниках локальных войн на Кавказе и войны в Афганистане, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, жертвах сталинских репрессий. Особая задача — сохранение информации об участниках Великой Отечественной войны, призванных на фронт из г. Оренбурга или умерших в оренбургских госпиталях в 1941—1945 годах. Кроме того, сотрудники музея проводят большую просветительскую работу со школьниками, студентами вузов и сузов города.

Достаточно сложная судьба у ещё одного структурного подразделения — музея космонавтики. Он создавался в 1961 году как музей истории и боевой славы Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков им. И.С. Полбина на основании приказа министра обороны СССР о создании комнат боевой славы и музеев при воинских частях. К 1971 году музей имел полноценных 3 зала экспозиций. В 1986 году музей начал перестраиваться, и 10 августа 1991 года был открыт вновь в том виде, в каком находится и в настоящее время. 1 ноября 2007 года на основании постановления главы города Оренбурга музей космонавтики включён в состав МБУ «Музей истории Оренбурга» как его структурное подразделение. Сейчас, как и много лет назад, основное направление работы музея — это патриотическое воспитание детей и молодёжи на примере подвигов, совершённых выпускниками оренбургской

«лётки» в разные исторические периоды. Коллекция музея включает уникальнейшие экспонаты, среди которых особое место занимают личные вещи Ю. А. Гагарина. Сюда приезжает большое количество иностранных делегаций с целью познакомиться с историей училища, давшего миру космонавта № 1.

Хранящие память…

Отдельную главу в рассказе о музее истории Оренбурга необходимо посвятить его издательской деятельности.

С 1999 года сотрудники музея занимаются изданием ежегодной «Книги Памяти». Первая часть книги содержит информацию об умерших в прошедшем году жителях города, вторая её часть посвящена горожанам, чья деятельность заслуживает особого внимания и оценки. На данный момент готовятся материалы для издания «Книги Памяти» за 2017 год. Идёт сбор данных, поэтому оренбуржцы ещё имеют возможность обратиться в музей истории Оренбурга или Дом Памяти и передать сведения о своих родственниках, ушедших из жизни в 2017 году.

Огромную по своему объёму и крайне важную по своей исторической и моральной ценности работу провели научные сотрудники при подготовке и издании «Книг Памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области». В разные годы в свет вышло несколько книг, последняя — в 2015 году. Она содержит сведения о более чем 18 000 оренбуржцев, прошедших сталинские лагеря, расстрелянных или замученных в застенках ГУЛАГа.

Музей приглашает друзей!

Рассказ о музее истории Оренбурга и его работе был бы неполным без упоминания о друзьях музея. Наши друзья — это отдельные люди и целые организации, которые помогают в работе и отзываются на любой призыв о помощи, поддерживают нас в наших начинаниях, помогают в организации и проведении мероприятий и выставок, в реализации новых проектов.

Побоявшись упустить кого-то из виду, и тем самым ненароком обидеть, автор статьи не возьмёт на себя ответственность перечислить всех друзей музея истории Оренбурга поимённо. Мы просто приглашаем всех в эти прекрасные весенние дни посетить музей истории Оренбурга, чтобы разделить с нами наш праздник!

Научный сотрудник музея Т.Н. Меркулова возле уникального экспоната – граммофона американской фирмы «Starkton»

Костюмированная экскурсия «Крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва»

Новогодний исторический квест «Сказка о потерянном времени»

Традиционная рождественская встреча со школьниками

Научный сотрудник Ярослав Гайдукевич в образе Пушкина

Роли Пушкина, Даля и Перовского исполняют сотрудники музея

Участники клуба исторического танца «Амьен»

После костюмированного спектакля, посвящённого 185-летию приезда Пушкина, Даля и Перовского в Оренбург

Е. Бояринцев. Портрет Емельяна Пугачёва

Клетка, в которой содержался Емельян Пугачёв в Москве (копия художника А.В. Попова)

Диарама «Штурм г. Оренбурга армией Е. Пугачёва в 1774 году»

План города Оренбурга второй половины XVIII века

Интерьер комнаты жителя г. Оренбурга конца XIX – начала XX века